



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

ШАРАФ
РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

ШАРАФ РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОБЕДИТЕЛИ

РОМАН

Авторизованный
перевод с узбекского
Ю. КАРАСЕВА и А. УДАЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вступительная статья
ВИТАЛИЯ ОЗЕРОВА

Оформление
М. ШЕВЦОВА

Иллюстрации
П. ПИНКИСЕВИЧА

Рашидов Шараф Рашидович.

Р 28 Собрание сочинений в 5-ти т.— М.: Худож.
лит., 1979—

Т. 1. Победители: Роман/Авториз. пер. с
узб. Ю. Карасева и А. Удалова; Вступ. статья
В. Озерова. 1979. 352 с.

Роман «Победители» — первая часть задуманной трилогии выдающегося узбекского писателя Шарафа Рашидовича Рашидова, эпическое полотно, связавшее в единое целое военные и послевоенные события. Герои романа — Айкиз, ее любимый Алимджап, секретарь райкома Джурабаев, русский инженер Смирнов... — вошли в галерею типических образов советской литературы. Благодаря мастерству писателя предгорный кишлак Алтынсай, где преимущественно происходит действие «Победителей», стал неотъемлемой частью понятия Советская Родина для миллионов читателей во всех братских республиках нашей великой страны.

Р $\frac{70303-179}{028(01)-79}$ подписное

С (Узб) 2

Р $\frac{70303-179}{028(01)-79}$ подписное

© Вступительная статья, иллюстрация. Издательство «Художественная литература», 1979 г.

ЖИВЫЕ ТОКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Органической близостью к народной жизни рождена каждая строка Шарафа Рашидовича Рашидова. Ровесник Октября, он рос в кипучей атмосфере социалистических преобразований. В годы его детства в Узбекистане гремели битвы гражданской войны, полыхали жаркие классовые схватки. Он формировался в бурные последующие десятилетия, когда партия осуществляла курс на индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства. «Восстанавливая в памяти важнейшие моменты собственной биографии,— писал Ш. Рашидов в 1978 году, отвечая на анкету одного журнала,— я обращаюсь к героическим страницам истории моего поколения, прошедшего суровую и поучительную школу жизни. Я не только наблюдал, как преображалась республика, но и сам участвовал в общенародном деле». Действительно, пафосом социалистического созидания сформирован характер активного строителя нового, своеобразный художнический талант.

Этот пафос не мог не ощущать сын бедных крестьян, получивший при Советской власти возможность закончить педагогический техникум, молодой школьный преподаватель, потом студент Государственного университета в Самарканде. Расширился круг знаний, жизненных наблюдений. Назревало стремление выразить вслух увиденное и прочувствованное — Ш. Рашидов стал писать стихи. В них заметны традиции фольклора, гражданской лирики Хамида Алимджана. Автор славит красоту родной земли, труд советских людей. Эпиграфом к творчеству Ш. Рашидова могут быть поставлены его строки:

Мы подняли бунт против пустынь,
Обуздаем плотинами быстрые, дикие реки,
Создадим великие рукотворные моря,
И в бескрайние степи придет весна.
Расцветут там сады, зацветут цветники
И долина предстанет бескрайним хлопковым полем!

(Подстрочный перевод)

Это мироощущение борцов, созидателей, в рядах которых навсегда нашел свое место Ш. Рашидов. Учебу в университете он сочетал с работой в областной газете «Лесин юлы» («Ленинский путь»).

Затем был фронт, тяжелое ранение; в Самарканд довелось вернуться в середине 1943 года. Вернуться, чтобы с головой уйти в общественно-политическую деятельность: редактор «Ленин юлы» (1943—1944 гг.), секретарь Самаркандского обкома партии (1944—1947 гг.), редактор республиканской газеты «Кзыл Узбекистон» (1947—1949 гг.), председатель Правления Союза писателей Узбекистана (1949—1950 гг.). В течение девяти лет Ш. Рашидов занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета республики, а с 1959 года является первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Ш. Рашидов — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Он дважды Герой Социалистического Труда.

Героические события эпохи, партийный взгляд на них оплодотворили творчество Ш. Рашидова как писателя. Находясь в гуще жизни, он умеет обнаружить в ней ростки нового, активно поддержать их. Его произведения отличает четкость социального анализа, страстность, партийность позиции.

Рядом со стихами о колхозном труде, созданными в 30-х годах, стоят стихи последующего десятилетия — о Великой Отечественной войне. Широкою популярностью получали такие, как «Боец», «Месть», «Воспоминания героя», «Наставления матери», «Письмо другу», «Девушка из Белграда» и другие. Стихи военных лет собраны в книге «Мой гнев», увидевшей свет в 1945 году.

Все чаще пробует себя Ш. Рашидов в прозе. Помимо пятидесяти с лишним стихотворений, его перу принадлежит много статей, в том числе литературно-критических, свыше двадцати очерков и рассказов. В последних тоже преобладает тема современности. Мечта о цветущем саде ведет вперед тех, кто создает «рукотворные моря». В первых опытах молодому прозаику не всегда удавалось избежать описательности и риторики. Но все больше его внимание привлекает многообразный мир чувств и страстей человеческих. И раскрывает он этот мир в жизненной конкретике, зорко подмечая перипетии не прекращающейся битвы за хлопок и воду, которую ведут передовые люди республики. Накал битвы передан уже в очерках и рассказах, которыми датируется начало писательской биографии Ш. Рашидова («На целине», «Смерть Халимы», «Трудолюбивые девушки»). Их герои живут мыслью о том, чтобы напоить досыта поля, добиться высоких урожаев хлопка.

Связанные с этой благородной целью социальные и нравственные коллизии — в основе повести «Победители», опубликованной

в 1951 году. Повесть, поделился позднее своими соображениями Ш. Рашидов, «не могла бы появиться без тех стихотворений и очерков, которые писал я еще на фронте и в первые послевоенные годы. В них я пытался выразить свое отношение ко всему, чем жили народ и страна, что волновало моих сверстников, что вдохновляло на героические подвиги на фронте и в тылу моих земляков. Так выявлялось внутреннее единство ранних сборников стихотворений «Мой гнев», публицистических статей «Приговор истории», а также очерков, публиковавшихся в периодической печати, с повестью «Победители».

Повесть тепло встретили читатели. Однако писатель перегрузил ее второстепенными эпизодами, иногда не показывая события, а только сообщал о них, не все персонажи были одинаково выразительными. И, к чести автора, он вернулся к работе над повестью, развил отдельные линии, заново написал некоторые главы. Вышедший спустя двадцать с лишним лет роман под тем же названием «Победители» — фактически самостоятельное произведение, отмеченное зрелым мастерством.

Проникнутая духом современности книга воспроизводит самое главное, чем жил узбекский народ: борьба за большой хлопок, за воду, за освоение новых земель. Рассказ о том, как колхозники предгорного кишлака Алтынсай сумели построить ирригационную систему, получил горячий отклик у читателей, потому что на страницах романа они увидели людей живых, полнокровных, яркого индивидуализированных. В том числе узбекскую женщину, поднятую социализмом к вершинам исторического творчества. Женские образы были в центре внимания поэтов, прозаиков, драматургов Средней Азии, начиная с первых послеоктябрьских лет. Писатели показали раскрепощение нищей батрачки, жестокие схватки с пережитками феодализма, трагические иной раз финалы этих схваток. Ш. Рашидов совершил важный шаг в художественной разработке темы, создав образ умной, обаятельной Айкиз. Это женщина уже наших дней, она не просто полноправный член общества; для нее показательны неуемная инициатива, энергия. Дело за тем, чтобы направить эти качества в правильное русло.

В завершенном виде диалог «Победители» и «Сильнее бури» (1958) явилась значительным эпическим повествованием о военной и послевоенной поре. О том, как доблестно проявили себя в эту тяжелую пору сыны и дочери Узбекистана. И на войне, где погибли оба брата Айкиз (в романе, в отличие от повести, о них рассказано более подробно). И в солнечной республике, где стар и млад думал прежде всего о своем долге перед воинами, о том, чтобы обеспечить нужды фронта. Айкиз и другие школьники за-

менили ушедших на войну односельчан, взялись самостоятельно обработать участок земли.

Романы Ш. Рашидова — многогеройные произведения, художественно воссоздающие наше интернационалистское братство. Среди самых запоминающихся персонажей рядом с секретарем райкома Джурабаевым русский инженер Смирнов. Он давно прикипел сердцем к республике, знает узбекский язык, в Алтынасе у него немало друзей.

Колхозники трудятся самозабвенно. И все-таки их далеко не все удовлетворяет. Пока что кишлак сеет лишь пшеницу на богаре, из-за отсутствия воды не выращивается хлопок. Автор живописует природу, потрясающие ее контрасты. Мы видим буйно расцветающую после весенних дождей степь, а затем ее же спустя несколько недель — выжженную безжалостным солнцем. Вернуть ей жизнь задумала Айкиз, избранная председателем сельсовета. Вода здесь когда-то была, старики помнят об оросительных каналах, разрушенных баями, о роднике, который засыпали басмачи. Значит, нельзя мириться с нынешним положением, твердо решает Айкиз, надо освободить из-под скалы воду, собрать ее в водохранилище, пустить на поля.

Молодая девушка смогла увлечь колхозников своими смелыми планами, потому что пылкость, женственность сочетаются у нее с глубокой убежденностью и точными расчетами.

В обрисовке образа преобладают лирические краски. Роман открывается сценой на перевале. Величествен горный пейзаж. Восход солнца первыми видят орлы. Золотое сияние растекается по краю неба, солнечные лучи словно тысячи блеснувших молний. Зрелище волшебное, жизнеутверждающее, созвучное тому, что делается в душе героини.

Вместе с тем писатель впечатляюще показал неоднозначность богатой натуры Айкиз. Она в непрерывных исканиях; в душе ее бушевали вихри, «то томил ее ноющая боль, то испытывала она непонятный восторг... то охватывала ее жажда действия». Взволнованно читала о Гастелло, Матросове, мечтала о подвиге. И все больше убеждалась, что к подвигу надо быть подготовленным всей своей жизнью, надо суметь выработать в себе такие качества, как стойкость, выдержка, упорство. *Воспитание характера* — вот что писатель считает центральным для нынешнего момента. Та же Айкиз лучше свои качества приобретает, втягиваясь в борьбу с рутинерами, противниками ирригации, бездельниками, расхитителями общественного добра. И, что столь же существенно, ей приходится шлифовать собственный характер — этот психологиче-

ски сложный процесс исследован автором разнообразными изобразительными средствами.

Кульминация «Победителей» — сцена, в которой проверяется «на излом» характер девушки. Она росла стремительно, совсем юной стала заместителем начальника строительства плотины и водохранилища. И сама не заметила, как уверенность в себе начала перерастать в излишнюю самонадеянность. Торопясь завершить стройку, Айкиз отдает приказ: досрочно приступить к закладке плотины без предусмотренной проектом вырубки выемок в скалах. Это чуть было не привело к аварии, катастрофическим последствиям.

Читая Ш. Рашидова, вновь задумываешься о такой чудесной силе социалистического общества, как чувство коллективизма, товарищеская взаимоподдержка. Исправить ошибки помогли Айкиз — прямым и откровенным словом — Смирнов и Джурабаев. И этот урок не пройдет зря, и впереди ее ждут успехи и радости, свадьба с Алимджаном, фронтовиком, человеком светлым и чистым. Однако в произведении не ослабевают драматические ситуации. Ш. Рашидов идет в глубь изображаемых конфликтов, людских переживаний и столкновений.

В романе «Сильнее бури» по сравнению с «Победителями» почти не увеличился круг действующих лиц, но борьба, в которую они вовлечены, оказывается еще напряженнее. Айкиз и ее единомышленники предпринимают смелое наступление на целину. Замечательный почин вызывает противодействие тех, кто, как председатель колхоза Кадыров, вполне удовлетворен достигнутым, не собирается рисковать. Его тупой консерватизм показан и в «Победителях». В романе «Сильнее бури» заострена критика подобных типов. Это косный, опьяненный тщеславием Кадыров, который окружил себя жуликами и подхалимами вроде бывшего купчика Аликула и вернувшегося из заключения Гафура. Это вконец бюрократившийся Султанов, который примазался к партии, пролез в руководство райисполкома. Темная шайка организует подлую кампанию против Айкиз, инспирирует клеветнический фельетон некоего Юсуфия. Происки интриганов принесли много горьких минут Айкиз, хотя с ней коллектив колхоза, ее поддержали райком партии, республиканские организации.

Для творческого почерка Ш. Рашидова показательны обилие реалий, свидетельствующее о доскональном знании действительности. Ничего надуманного, никакой искусственности. Глаз художника узнается в точном описании обстоятельств. Узнается в склонности к философски осмысленным обобщениям. В словесной живописи. Романиста заботит выразительность нарисованных

портретов. Как и в «Победителях», он повторяет характерные для персонажей детали внешности. Айкиз хмурит пушистые брови, лицо Гадырова наливается кровью, Джурабаева отличает ухрюгий шаг бызшего кошника, Смирнова — родинка у подбородка, Султавова — белозубая начальственная улыбка и т. д. Авторское мастерство — в умении проследить «диалектику чувств» изображенных людей, подчеркнуть происходящее в их сознании внешними зарисовками. Писатель заботится о психологической емкости портретных деталей, они оттеняют смену настроений героев. После потери любимого отца Айкиз «стала серьезней, сдержанней, меж бровями появилась глубокая резкая морщина — след недавнего горя. Когда Айкиз задумывалась, морщина становилась особенно заметной».

Лиризм естественно уживается в писательской манере Ш. Рашидова с объективированными описаниями. Художник со страстным восприятием окружающего, с обостренным чувством гражданской ответственности, он сознает себя участником всего изображаемого, не может и не хочет сдерживать владеющие им и его героями чувства. Отсюда лирическая окрашенность многих эпизодов, их публицистичность. Мысли Айкиз об отце, о себе перерастают в раздумья о партии, которая сплотила миллионы таких, как она. Преданность народу — высший измеритель достоинств человека. «Кто борется за новое, — говорит Джурабаев, — тот заботится об общем благе! Кому новое не по нутру, кто видит в нем угрозу своему спокойствию, тот думает только о себе, о том, как бы сбечь свои привилегии».

На те же категории делит людей и романист. Он не скрывает своих симпатий и антипатий. Любуется бескорыстным трудом дехкан. Бескомпромиссно развенчивает эгоцентристов, накопителей, интриганов, пользуясь для этого сатирическими красками (портрет Юсуфия: клеветник был длинный, тощий и серый, как червь, глаза его ничего не выражали, тонкие бескровные губы не знали, что такое улыбка).

От автора не скрыта многосложность жизни, судеб, характеров. Он берет для изображения и противоречивые натуры. Вскрывающая стоящие порой за ними противоречия самой эпохи, Ш. Рашидов придает таким фигурам символическое звучание. Для старого Муратали весь свет — в его жалком домике в горах, в одиноком урюковом дереве, к которому привык с детства и без которого жизнь кажется «неуютной, оскудевшей». Типичная для крестьянина прошлого проблема выбора между единоличным укладом и сплоченным артельным коллективом выражена через метафорический образ. Во время заморозков урюковые деревья в колхозном саду выстояли — «их было много, они прикрывали друг друга от рез-

кого, ледяного ветра, делились друг с другом теплом, помогали друг другу. Мороз оказался не страшен для них, дружных и сильных, им не страшны были никакие напасти. А его дерево, одинокое и беззащитное, стоит с голыми ветвями, почерпелое, словно обуглившееся, покрытое сухими, свернувшимися в трубочку, листьями».

Рашидов-художник целостно воспринимает мир; освоение, облагораживание природы — одна из главных забот его героев. Природа у романиста одухотворена и активизирована присутствием людей, близка их думам и поступкам. Пейзажи щедры и многокрасочны. Следом за автором мы проходим бескрайней степью — она покрыта цветами, сияет под лучами солнца, а стоит начаться ненастью — становится похожей на мрачный океан. Писатель не только видит, но и слышит степь. Современную степь, обживаемую тружениками. С гулом ветра, говором ручья перекликаются рокот моторов тракторов и стук кетменей, отблески луны — частица световой симфонии, которую создают огни работающих ночью машин. И это именно узбекские пейзажи. В осеннем убранстве красуется Алтынсай. «Деревья пылали буйными красками увядания. Листья стройноствольных тополей обрела оранжево-красный оттенок. Куполообразные, словно обстриженные, кроны деревьев «сада» как рыжий лисий мех. Урюковые сады отливали золотом, кучи карагачей папомнили своей окраской огненно-алый закат. Алтынсай утопал в многоцветной кипени рыжих, желтых, золотых, алых листьев, которые ослепительно вспыхнули перед тем, как сгореть».

Проза Ш. Рашидова полифонична: удары кетменей, доносящаяся издалека песня погонщиков каравана, мерное журчанье ручья, перекличка людских голосов. Нередко с голосом персонажей сливается авторский. Писатель, никогда не забывающий о воспитательной миссии литературы, он охотно вступает в доверительный разговор со своими героями, в чем-то поддерживает, от чего-то предостерегает, комментирует и обобщает их поступки.

Любовь к Айкиз не заслоняет от автора ее слабостей — они зачастую продолжение достоинств. Твердость и решительность уживаются у молодой женщины с запальчивостью в проведении своих начинаний, с излишней доверчивостью в отношении к людям. Айкиз не сразу поняла низость Кадырова, считает добросовестным работником коварного Аликула. Но ведь руководитель обязан хорошо знать окружающих, понимать движущие ими мотивы, отличать единомышленников от противников. Писатель считает нужным сказать обо всем этом; среди многочисленных авторских обращений заочинвается следующее:

«А ты знаешь, что такое борьба, Айкиз? Это ведь не только стычка различных идей, различных точек зрения. В борьбу неодолимо вовлекаются человеческие судьбы, и линия фронта проходит через наши сердца. Сражаются армии, сражаются противоборствующие идейные лагеря, сражаются несогласные одна с другой группы, а гибнут, страдают, мужают и торжествуют люди, у каждого из которых лишь одно, и не железное, а живое сердце, больно откликающееся на все, что происходит вокруг».

Борьба. Без нее, подтверждает все созданное Ш. Рашидовым, движение вперед невозможно. Да, она трудна, требует жертв, но если ведется во имя человеческого счастья, оправданы и тяготы, и лишения. Гуманистической заботой о людях проникнуто творчество писателя.

Отношением к человеку труда, заботой о его свободе измеряет он истинную ценность исторических лиц, персонажей поэтических сказаний. Так, в повести-легенде «Кашмирская песня» (1956) воскрешены сюжеты индийского фольклора, опоэтизирована любовь богатыря Бамбура и прекрасной Наргиз. Борцы за свободу завоеют победу, если добьются единения народа. Призыв к людской солидарности — лейтмотив также кинофильма «Книга двух сердец» (1959), в основу которого легла поэма Мирза Абдулкадыра Бедия «Комде и Модав» — о жизни, о чаяниях народов Индии и Средней Азии.

Стократ возросшую силу действенного гуманизма демонстрируют произведения Ш. Рашидова о современности. Заботой о настоящем и будущем продиктована деятельность партии по освоению целины. Этой теме была посвящена киноповесть «Зрелость» (1960). Заметное событие в советской многонациональной литературе — роман «Могучая волна» (1964). В нем раскрыт гуманистический, творческий смысл нашей эпохи.

Общенародные стремления с особой силой воплощает молодой рабочий класс республики, любовно отображенный писателем.

Рядом со строителями, бетонщиками, монтажниками самоотверженно выполняют свои обязанности хлопкоробы, мелиораторы — духовные братья и сестры Айкиз, Алимджана, Джурабаева, Смирнова, Погодина и других персонажей романов. Пулат Садыков, отправляясь на строительство гидростанции, убежден: «Галабагэс для людей. У нас все для людей, люди — самое дорогое... Вот и надо о них заботиться». Счастью народному посвятили себя и старый большевик, секретарь обкома партии, и молодой комсомольский работник Анвар. Они не намерены мириться с теми, кому безразличны интересы общества, вроде бездушного карьериста третьего секретаря райкома Тураханова. Как и Кадыров,

Турахапов стоит над людьми, возмущается тем, что «распустили народ». Разоткровенничавшись, заявляет, будто в жизни «все относительно — низкие и высокие понятия». Он особенно опасен потому, что демагогически спекулирует высокими словами о государственном благе, о партийности. Метко подмеченный тип двурушника и перерожденца! Партия, народ сметают его со своего пути.

Оставаясь верен себе, художник и в «Могучей волне» стремится показать, что характер настоящего человека закаляется в сопротивлении обстоятельствам, в непримиримости к любым проявлениям зла. Активность жизненной позиции, которую утверждают произведения Ш. Рашидова, предполагает не только нравственную порядочность, но и готовность, умение бороться с фальшивыми людьми. Кристально честный Пулат растерянно признавался матери, что в школе учили многому, но не этому. Фронтовые же письма отца-комиссара о погибшем друге, который «думал о пылающем сердце Данко и стальной воле Павки Корчагина», зовут никогда не соглашаться с произволом, и этот зов оказывается сильнее всего. «Мальчишеская категоричность» Пулата дорога автору, но все же, считает он, одни эмоции — не оружие против зла. В «Могучей волне» воспроизведены этапы мужания героя как гражданина, патриота. Главную школу он проходит в увлеченной работе, в трудовом коллективе. В передовой бригаде бетонщика Рустама Пулат обрел чувство коллективизма. Общение с Анваром и Никитиным научило не замыкаться в себе, не отходить в сторону под влиянием обид, а «быть нетерпимым к недостаткам». «Звездным часом» Пулата стало выступление на собрании партийно-хозяйственного актива с острой критикой положения дел на строительстве гидростанции. Горячий, легко ранимый юноша постепенно становится тверже, увереннее в себе. «Могучая волна народного энтузиазма подняла его и понесла на высоком гребне вперед». Оправившись от тяжелой болезни, перед отъездом на фронт Пулат «припоминал тот путь, который прошел сам. Не гладкий это был путь, нелегкие испытания выпали на его долю, но они словно очистили, отграничили, обновили его душу... Слабость еще сковывала его движения, но никогда еще он не ощущал в себе такой внутренней зрелой силы...».

Герои романа становятся внутренне значительнее благодаря тому, что проявляют социальную активность. Добрая и мягкая Бахор расстается с детски-наивным отношением к людям, которое подвело ее еще чаще, чем Айкиз. Учительница Хайри, мать Пулата, и раньше не боялась спорить с Турахановым. Узнав, как он издевается над женой, Хайри повяла: зря «щепетильничала», давно следовало до конца разоблачить закоренелого бюрократа.

Есть о чем подумать и отцу Бахор — кузнецу Халилу-ата. Отважный человек, бывший в свое время грозой для басмачей, поразительно легковерен, совсем не умеет отражать предательские удары из-за угла.

Показательны аспекты, в которых даны подобные повороты сюжета. Они опять-таки подсказаны позицией писателя-воспитателя, вдумчиво осмысливающего сегодняшний день. Доброжелательные и благородные люди вовсе не от недомыслия или робости не сразу могут разгадать своих моральных антиподов, тем более что последние хитро маскируются. Так нередко бывает в действительности, и романы Ш. Рашидова помогают нам лучше понять ее, себя, свой долг.

Самое прекрасное наше достояние, не устает повторять писатель, это люди — подлинные патриоты, сознательные труженики, верные друзья. Обращаясь к Пулату, он признается: «Я все равно люблю тебя, славный мой мальчик, люблю таким, какой ты есть... Пулат, я верю, что на доброй почве зазолотится настоящий характер!»

Это не слепая любовь. Ш. Рашидов думает не только о том, каков его персонаж, но и о том, каким он станет. Любуясь своими героями, автор не намерен изображать их «готовыми», всего достигшими. К тому же он знает: отдельная вспышка, декларация — не путь к стойким успехам. Необходимо настойчиво и каждодневно решать и большие и малые задачи, которые ставит жизнь. Это и есть тот самый героизм на всю жизнь, о котором говорил Горький, то самое корчагинское негасимое горение, которое Ш. Рашидов считает характерной чертой современника, воспреемника славных революционных традиций. Эта черта явственна у Анвара. Он мягок, тактичен, в нем живет поэт (не случайно Анвар тайком пишет стихи), но чуткость к товарищам неотделима от требовательности к себе и другим. Ему понятно желание Пулата попасть на фронт, однако, раз этого не позволяет болезнь, нужно, заявляет он своему юному другу, полностью отдавать себя порученному здесь делу, принять партийную дисциплину «не только умом, но и сердцем».

За этой заповедью — биография бывшего солдата, теперешнего комсомольского работника, секретаря райкома, агитатора обкома комсомола на Галабастрое. Ш. Рашидов адресует ему проникновенные слова:

«...Все, что ты сам делаешь, ты не считаешь подвигом, не ждешь ни похвал, ни наград. Лучшая награда для тебя — сознание, что ты живешь, как надо, и воевал, как положено, и есть от тебя польза и стране твоей, и твоим друзьям. Грудь твою не украшают боевые

ордена, о тебе не писали в газетах, и поэты не сложили о тебе вдохновенных песен. Но сама твоя жизнь — это песня, каждый твой день — это подвиг, подвиг скромности, чуткости и отваги, и пусть он не всем бросается в глаза — пламя ведь тоже бывает ровным, но это все-таки пламя, жаркое, согревающее людей... Ты — рядовой великой армии героев. Простой парень, храбрый солдат, задушевный друг, скромно делающий свое дело коммунист».

Пламя, которое светит ровно; рядовой великой армии героев; скромно делающий свое дело коммунист — с этими понятиями ассоциируется представление писателя о подлинной романтике. О героике нашей повседневности, в которой обыкновенные люди обретают необыкновенные чувства, а текущие дела наполняются всемирно-историческим содержанием. Романтическое начало заявляет о себе в торжественно-приподнятых пейзажных зарисовках, в изображении бурных страстей, владеющих персонажами. То и другое находим и в «Могучей волне».

Особо впечатляют здесь эпизоды, раскрывающие возвышенный строй дум и чувствований героев — новых людей, возвращенных социализмом.

С каким лиризмом повествуется о молодости, дружбе, любви! Полудетская привязанность Бахор и Пулата. Растущая нежность. Преодоление аскетической сдержанности Пулата: до цветов ли сейчас, в тяжкую годину? Бурная, все заполняющая страсть. Самозабвенность Бахор, завоевывающей того, кто ей «нужнее солнца, воздуха, воды», с кем она жаждет быть рядом «в бою и в труде, в борьбе за счастье народа, в беде и радости, в солнце и в грозу». Единение любящих, — восклицает писатель, — высокая радость, «огромная, как мир, яркая, как солнце», когда работа горит в руках, и горы можешь свернуть, и реки остановить, и убежден, что нет на свете человека сильнее тебя и прекраснее твоей любимой. С таким гордым сознанием с первой минуты жили Айкиз и Алимджан, его приобрели после нелегких испытаний Бахор и Пулат. Как тут не вспомнить, да это и делают рашидовские персонажи, легендарных Фархада и Ширин, Лейли и Меджнува.

Поэтизация автором красоты человеческих дел и чувств, героики и благородства вызывают в памяти не только древние сказания. Естественна параллель между «Могучей волной» Ш. Рашидова и «Молодой гвардией» А. Фадеева. Ш. Рашидов признавал, что рядом с таким наставником, каким был для него Горький, «другим вдохновляющим примером и подлинным учителем явился... Александр Фадеев».

Не случайно в ответе Ш. Рашидова на журнальную анкету прозвучало имя автора «Разгрома» и «Молодой гвардии». Фадеев сразу

приметил одаренного узбекского писателя. На приеме после состоявшейся в 1949 году в Москве Первой Всесоюзной конференции сторонников мира Фадеев провозгласил тост за главу делегации Узбекистана: «Горжусь моим братом Рашидовым, партийным работником, талантливым художником слова». Затем они вместе с Александром Твардовским и Константином Симоновым почти до утра проговорили в номере гостиницы, где жил гость столицы. Словно заглядывая в будущее, Фадеев повторял: «Знаю, что тебя ждет большая партийная, государственная деятельность, и как родной брат советую — никогда не оставляй творчество». Тот же совет услышал от него Ш. Рашидов год спустя, когда они, выступив на пленуме Правления СП СССР, долго ходили по ночным московским улицам и когда Фадеев вдруг стал доверительно рассказывать младшему соратнику и о своих планах, и о достигнутом, и о сложностях, тревогах. И, наконец, последняя встреча, уже в больнице. Опять та же мысль: «Дорогой Шараф Рашидович, у тебя удивительный талант, ни за что не бросай писать. Главный мой наказ тебе — пиши!»

Это была дружба людей сходных биографий — крупных общественных и литературных деятелей, близких характерами, даже внешне чем-то похожих друг на друга. Вспоминая об их встречах, сопоставляя их жизнь и творчество, по-новому воспринимаешь книги Ш. Рашидова, его высказывания о старшем друге. Еще лучше понимаешь, что не подражанием, а близостью мироощущения объясняется сходство художественных решений у обоих писателей: светлые краски, лирические интонации (их Ш. Рашидов воспринимает и у Тургенева), душевное богатство главных героев, благоговейное отношение к матери, другу, возлюбленной, тонкое ощущение красоты природы. Кто не помнит страниц «Молодой гвардии»: девушки купаются в реке, собирают лилии, любят ими. Сходная сцена: рашидовская Бахор с ужасом смотрела на придавленные камнем «снежные голубые цветы», и Пулат, вдохновленный ее молящими глазами, сделал невозможное — напряг мускулы, оторвал глыбу от земли. Бахор бережно выпрямила поврежденные цветы, восторженно говорила любимому, что он настоящий богатырь, а в его груди пела радость, он готов был скинуть в воду сотню громадин-камней, «только бы вызволить из неволи красоту природы, так восхищавшую Бахор».

В этом своеобразии Ш. Рашидова-художника: он погружен в гущу жизни, мастерски ведет социально-психологический анализ ее развития, на его палитре преобладают строго реалистические краски, и в то же время, раскрывая движущие пружины этого развития, он художественными средствами акцентирует мораль-

пые, эмоциональные побуждения людей. Сердечным волнением рожден монолог Никитина о матери, о том, как надо ее любить и беречь, помнить, что, сколько бы ни сделал, «все равно в долгу перед ней, все равно она больше для тебя сделала, больше тебя любила, больше о тебе заботилась...».

Как уже отмечалось, в художественную ткань романов их создатель непринужденно вводит публицистическое начало.

С начала литературной деятельности Ш. Рашидов регулярно публикует статьи и очерки в периодической печати. Некоторые из них были включены в сборник «Приговор истории» (1950). Позднее вышел еще ряд книг публицистики, в их числе «Знамя дружбы» (1967), «Язык дружбы и братства» (1977), «Советский Узбекистан» (1978) и другие.

Отличительная черта публицистики Ш. Рашидова — масштабность воззрений на ход жизни, ее закономерности и перспективы. В его статьях — широкий взгляд на эпоху, постановка крупных идейно-политических, хозяйственных, нравственных проблем современности, тех самых, которые волнуют и персонажей художественных произведений.

Автор выступает пламенным пропагандистом исторических решений XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС, величайшего значения новой Конституции СССР, трудов товарища Л. И. Брежнева. Раскрывая идейное богатство партийных документов, он рисует впечатляющую картину победоносного движения к коммунизму под водительством КПСС. Каждая избранная им тема — повод для размышлений о нашем социальном устройстве, преимуществах советского образа жизни, славном пути, который прошли отсталые прежде национальные окраины, превратившиеся при Советской власти в цветущие республики. Идеино-теоретическая глубина, отточенность формулировок, оснащенность богатейшим фактическим материалом от статистических данных до личных впечатлений, образный строй речи, пользование народными ее оборотами, афоризмами — отличительные приметы публицистики Ш. Рашидова. Как пример научной основательности и художественной выразительности можно назвать статьи общественно-политического характера «Под знаменем Ленина», «Единая семья», «Социалистический образ жизни и национальное самосознание», «60 лет Великого Октября и торжество пролетарского интернационализма в СССР». И не только их.

Основной мотив публицистического творчества Ш. Рашидова — сила социалистического интернационализма. Перу художника принадлежат вдохновенные строки: «Народная мудрость гласит: «Сила птицы — в крыльях, сила человека — в дружбе».

Как солнечные лучи согревают землю, так и дружба согревает наши сердца». Поэта дополняет ученый-марксист, исследующий природу высшего человеческого братства в его историческом и современном аспектах.

Много значит историческая память. В статьях «Под знаменем интернационализма», «По пути расцвета и сближения» и других рассказано о помощи Средней Азии со стороны передовых людей России в прошлом, о совместной борьбе за революционное освобождение родины, за ее социалистическое преобразование. В ореоле бескорыстного подвижничества выступают замечательные сыны русского и других народов Советского Союза, связавшие свою судьбу с судьбой свободолюбивого узбекского народа. Руку дружбы Ташкент вновь почувствовал в дни землетрясения 1966 года. Вся страна восстанавливала и отстраивала столицу Узбекистана. Последнее десятилетие особенно богато примерами интернационалистского братства, прочнее цемента скрепляющего советское общество.

Важно осветить объективный процесс развития и сближения наций, и Ш. Рашидов делает это, раскрывая диалектическое единство интернационального и национального в нынешних условиях, ведущую роль интернационального. Приводя факты социального, экономического сотрудничества и взаимопомощи всех народов СССР, публицист неизменно обращается к сфере культуры. Достигнутое в ней каждой нацией становится драгоценным вкладом в общесоциалистическую сокровищницу. С одинаковой теплотой написаны лаконичные и очень точные литературные портреты, скажем, узбека Г. Гуляма и русских писателей Ф. Панферова, В. Овечкина, Н. Бирюкова.

Не менее существенна теоретическая разработка марксистско-ленинского учения об интернациональном и национальном, которой постоянно занимается Ш. Рашидов. В первую очередь он подчеркивает значение обмена культурными ценностями: то, что происходит в социалистическом обществе, уже больше, чем просто обмен. Как отметил писатель, «литературы народов СССР, единым творческим методом которых стал социалистический реализм, развиваются, учась друг у друга, взаимно обогащаясь».

Многообразны способы духовного взаимообогащения наций; огромную роль в интернационализации культуры, справедливо пишет Ш. Рашидов, имеет русский язык, эффективно служащий взаимосвязи и сплочению советских народов, приобщению их к лучшим достижениям отечественной и мировой культуры. Книга «Язык дружбы и братства» — образец подлинно художественной публицистики. Точность политической терминологии, деловые

сообщения о мероприятиях по интернациональному воспитанию, подготовке педагогических кадров, резкий отпор националистам, другим идеологическим диверсантам, постановка специально лингвистических проблем, включая такую сложную, как двуязычие, историко-литературные экскурсии, — и тут же поэтический гимн во славу русского языка.

«Русский язык, исключительно гибкий и насыщенный яркими красками, — это язык всеобъемлющего художественного диапазона. В нем органически сочетаются и как бы сливаются воедино могучая сила и нежность, выразительность и меткость, твердость и певучесть, живость и образность, крепость и мелодичность, гибкость и мягкость, красочность и сочность, изящество и простота, лаконичность и распространенность, пленительная красота слова и его доступность, народность».

Литература для Ш. Рашидова — действенное орудие познания и преобразования мира, воспитания нового человека. Он раскрывает суть нашего творческого метода, принципа коммунистической партийности, литературной политики КПСС, указаний товарища Л. И. Брежнева о поддержке и развитии талантов. О направленности его литературно-критических работ дают представление уже названия некоторых из них: «Рождено Октябрем», «Под знаменем дружбы народов», «Современность — душа литературы и искусства», «За идейность и высокую художественность литературы», «Могучие истоки социалистического реализма», «Знамение времени».

Эстетическая система Ш. Рашидова ясна и целенаправленна: «обновление, творческое начало» людям, как бурные реки, несет именно жизнь, писатель должен неутомимо изучать ее; литература — великая нравственная сила, которая «обогатила знание природы человеческих чувств, открыла в них новые удивительные грани»; «это служение народу, а значит, и служение делу мира», ибо «почва, опаленная атомным дыханием, непригодна для произрастания такого нежного цветка, как человеческое счастье». Интернационализм — знамя искусства. Без «кровообращения» между вашими литературами невозможен художественный прогресс; «мно уже просто трудно представить, как бы я мог писать, не зная творчества Якуба Коласа, Вилиса Лациса, Андрея Упита, Мухтара Ауэзова, Гумера Баширова».

Высказываясь о многонациональной советской литературе, Ш. Рашидов, разумеется, наиболее обстоятельно разбирает родную, узбекскую. Оценивает он ее мерками высокой идейности и художественности. С гордостью пишет о совершенствовании прозы, поэзии, драматургии, критики; о верности узбекских писателей марксистско-ленинской идеологии, о воинственном неприятии ими

аполитичности, формализма, буржуазного национализма, о вкладе в общее дело борьбы за мир. Называет имена творцов художественных шедевров: Хамзы Хаким-заде, Гафура Гуляма, Хамида Алимджана. Заботливо и взыскательно разбирает творчество современников: Айбека, К. Яшена, Уйгуна, Н. Сафарова, Зульфии, Мирмухсина и других. Поддерживаются удачи, тематические искания, художественные новации. Подмечается своеобычность дарований. Одновременно Ш. Рашидов нелестно указывает на недостатки иных сочинений, неумение их авторов создавать образы-типы, индивидуализировать характеры, на поверхностность и описательность, сюжетные трафареты, языковые сорняки. Статьи Ш. Рашидова воплощают призыв, обращенный партией к критике: сочетать заботу о таланте с идейной и художественной требовательностью.

Этим принципом руководствуется сам Ш. Рашидов, создавая новые книги, возвращаясь для доработки к ранее написанному. Его произведения принадлежат к серьезным достижениям многонационального советского искусства. Тиражи книг Ш. Рашидова, изданных на русском и узбекском языках, — несколько миллионов экземпляров. Они вышли во многих странах — на английском, французском, немецком, испанском, польском, румынском, монгольском, арабском, персидском, бенгали, урду и других языках. Ш. Рашидовым, отмечает зарубежная печать, нарисована яркая картина социалистического общества, привлекательная для всего трудового человечества. Вот лишь несколько примечательных высказываний: «В романе показано процветание социалистической экономики, которая является будущей экономикой каждой страны и каждого народа. Это произведение как зеркало отображает будущее всего человечества»; «Социалистическое общество породило нового человека. Читая этот роман («Победители». — *В. О.*), я впервые познакомился с этим новым человеком»; «Общество победившего социализма, так ярко изображаемое Шарафом Рашидовым, — маяк для людей доброй воли во всех частях земного шара».

Ш. Рашидов является одним из виднейших советских писателей, которые с большим художественным мастерством раскрывают славные свершения творцов коммунистической нови. Образы, подобные Айкиз и Пулату, занимают почетное место в галерее ведущих типов нашей эпохи. Такие образы под силу лишь яркому таланту, питающемуся живыми токами народной жизни, вдохновленному великими идеями ленинской партии.

Виталий ОЗЕРОВ

ПОБЕДИТЕЛИ

РОМАН



Удивителен восход солнца в горах.

В Алтынсайской долине еще разлит предутренний сумрак, теснины и ущелья заполнены черной, сырой мглой, спят ветры, спят травы и цветы, зазябшие за ночь, — кажется, и солнце еще спит где-то за горизонтом, но его уже видят орлы, парящие в рассветной, начавшей золотиться вышине, они первыми встречают солнце, первыми плещутся в его лучах, в его сиянье, вечно молодом, торжествующем, как сама жизнь.

Золотое сиянье все уверенней растекается по краю неба, которое словно опирается на горы.

Орлов, летающих над горами, издали трудно разглядеть, их крылья то вспыхивают в лучах солнца, то гаснут; порой величественные птицы обращаются в еле заметные точки: чудится, будто их поглощает небо, но тут же они вновь появляются, прынув вверх из ущелья

или низринувшись с головокружительной высоты, и опять принимаются выписывать круги над вершиной Коктау, поднимаясь все выше и выше. И крылья их, подсвеченные солнцем, отливают золотом...

Внезапно небо над горами становится искристо-алым, будто бьют оттуда тысячи молний.

И долина преобразается. Все живое стряхивает с себя сон: на траве загораются капли росы — синими, фиолетовыми, красными огоньками; трава тянется к свету, колокольчики, тюльпаны, желтые купальницы обретают яркие, нежные краски, кажется — они смеются, радуясь солнцу, радуясь новому наступающему дню; одетые в белое, умытые росой кусты шиповника выглядят празднично принаряженными, будто собрались в гости...

В каменных ущельях, где еще недавно было черным-черно, покачивается, жемчужно переливаясь, светясь на солнце, утренний туман.

Удивительное это зрелище — восход солнца в здешних горах! Есть в нем что-то волшебное, жизнеутверждающее, торжественное, — может быть, потому, что солнце здесь особенно щедрое, особенно ослепительное и в час восхода лучи его брызжут неиссякаемыми золотыми фонтанами.

Так, во всяком случае, кажется жителям Алтыңсае. Так кажется и Айкиз Умурзаковой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Айкиз любила наблюдать за восходом солнца в Алтыңсае, когда все вокруг сказочно преображалось за какое-то мгновенье.

В это утро она тоже поспешила в горы. Она ехала верхом на коне, и, когда достигла перевала, конь, привыкший к тому, что здесь хозяйка обычно задерживается, остановился и, зафыркав, наклонил голову и потянулся губами к траве.

Нетерпеливость его почему-то рассердила девушку, она туго натянула маленькую, но сильной рукой новые ременные поводья.

— Байчибар! Ты не можешь постоять смирно?

Байчибар нехотя оторвался от травы. Она манила своей свежестью, медовым запахом, но конь, видно, хо-

рошо знал характер своей хозяйки и помнил, что в правой руке у нее камча, а потому независимо вскинул голову, притворяясь, что трава его вовсе не интересует.

Айкиз, не слезая с седла, смотрела на вершину Коктау, искрящуюся под солнцем. На лице ее блуждала улыбка. Глубоко вздохнув, она негромко проговорила:

— До чего же тут хорошо, Байчибар!

Запрокинув голову, она заворуженно следила за полетом орлов.

Еще в детстве она готова была часами смотреть, как гордые птицы медленно кружат в небе, то снижаясь, то снова устремляясь вверх. И когда она представляла себе, как далеко им видна земля оттуда, с крутой высоты, ее брала зависть. Ей по душе была высота. Потому-то она, еще босоногой девчонкой, так часто прибегала на перевал вместе со своими подругами. Перевал тоже был расположен достаточно высоко, и у девочек захватывало дух, когда они, стоя на краю обрыва, оглядывали родной кишлак и его окрестности. Какие необозримые просторы открывались с перевала!.. У Айкиз кружилась голова, а сердцу было сладко и тревожно...

Постепенно девочки привыкли к горной крутизне, чувствовали себя на перевале свободно, затевали там веселую беготню, валялись на траве, рвали ромашки и колокольчики.

Мать, Халбиби, ласково бранила Айкиз:

— Ну, что вы туда повадились? Не дай бог, еще сорветесь с такой кручи. Горы все ж таки, снизу глядеть — и то жутко. Я вот за всю свою жизнь ни разу не отважилась подняться на перевал. Ишь, нашли место для забав!.. А ежели вас унесет орел?

— Куда унесет, в гнездо?

— Может, и в гнездо.

— Как интересно-то! — звонко смеялась Айкиз. — Я бы там стала играть с орлятами!

— Ох, горе мое! — Мать сокрушенно качала головой. — Нашла чему радоваться! А если орел заклюет тебя или в пропасть сбросит!.. Не смей больше ходить туда!

Но чем сердитей предостерегала мать от опасности, которая могла ей грозить в горах, тем сильнее тянуло туда Айкиз.

Ночью, лежа во дворе на широкой сури под теплым одеялом, она смотрела в небо, усеянное звездами, а мысля-

ми была в горах, лицом к лицу с голубой заоблачной далью, и гордые, смелые птицы вязали над ней тугие петли... Да, возможно, мать и права и там опасно, но опасность как раз влекла к себе Айкиз. Ей хотелось испытать себя, узнать, хватит ли у нее сил и храбрости противостоять опасности.

И как-то ранним утром, когда мать доила корову, Айкиз украдкой покинула теплую постель и побежала в горы.

Сам подъем на перевал требовал немалых усилий, ловкости и мужества, но Айкиз это не пугало. Легкая, как мотылек, верткая, как ящерица, она то мчалась вскачь — будто летела по воздуху, то сноровисто пробиралась меж камней.

Внезапно какая-то тень пронеслась над ней, по ей некогда было поднять голову, она карабкалась на четвереньках по каменистому склону; при каждом ее движении шуршал и осыпался щебень, и вся ее энергия уходила на то, чтобы самой не сползти вниз.

Опять на нее словно ветром повеяло... Айкиз заторопилась. Ей не терпелось поскорей выбраться на горную лужайку и посмотреть, кто же это мечется над ней. Может, орел?.. Вот интересно-то! Надо спешить, а то он еще испугается и улетит.

Почти уже достигнув лужайки, она повернула голову — и обомлела от страха. Прямо перед собой, на расстоянии вытянутой руки, она увидела орла. Глаза его, круглые, желтые, с черными зрачками, смотрели на нее с угрозой, острые, крючковатые когти готовы были вот-вот вцепиться в Айкиз...

— Эй! — крикнула она. — Ты что? Гляди у меня!

Слова эти вырвались у нее бессознательно, и так же инстинктивно она перевернулась на спину — чтобы вступить в борьбу с орлом.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но Айкиз не удержалась на крутом склоне и покатилась вниз. Она судорожно хваталась руками за чахлые кустики тамариска, за камни, и камни, сорвавшись, тоже летели вниз, обгоняя девочку...

Она не помнила, как очутилась в цепких зарослях арчи. Плотная тень от кустов падала на Айкиз, и ей показалось, будто она попала в темную, прохладную пещеру.

Вокруг было тихо, лишь где-то неподалеку попискивала малиновка.

Все тело Айкиз было в ушибах и ссадинах, они ныли, по девочке было не до них, в эту минуту одно ее беспокоило — как скрыть эти синяки и царапины от матери и от старших братьев, Алишера и Тимура. Она не боялась трепки — просто ей не хотелось волновать их.

Согнувшись, Айкиз выбралась из арчевника, оглядела себя и безнадежно вздохнула: платье на ней висело ключьями. Ничего ей не удастся утаить от своих родных...

И они больше не пустят ее на перевал...

Орлы все кружили в небе, один парил так высоко, что Айкиз все время теряла его из виду, а другой, матерый, могучий, скользил на широких крыльях по воздуху совсем близко от девушки.

— Эй! — озорно окликнула его Айкиз. — Это не ты па меня тогда напал?

Что ж, вполне возможно, что именно он так напугал ее в детстве, в ту памятную прогулку. Но Айкиз на него не сердилась. И, как это с ней часто случалось, позавидовала гордой, сильной, бесстрашной птице. Ведь каждое утро орел первым встречает солнце...

Как это прекрасно — увидеть солнце, когда для других оно еще скрыто горами!..

Погрозив орлу пальцем, Айкиз ловко спрыгнула с коня, ослабила подпругу, разнуздала Байчибара, закинула поводья на луку седла. Погладив спутанную ветром гриву, сказала:

— Ну, иди гуляй. Что стоишь? Обиделся, да? Нет, вы посмотрите, какой неженка, слова ему нельзя сказать!

Байчибар не двигался с места. Мягкими губами он тербил рукав ее платья, а потом прикусил его и подергал. Айкиз наблюдала с веселым интересом. Розовые ноздри коня широко раздувались, и, чувствуя на руке его влажное, горячее дыхание, девушка проговорила с ласковой укоризной:

— Ах, вот в чем дело!.. Лакомка!.. Сахару захотел?

Достав из кармана жакетки кусок сахара, Айкиз протянула его Байчибару:

— На, баловник!

Сахар белел на ее смуглой ладони, как крохотный снежок. Конь осторожно взял его губами, помотал головой,

словно благодарил хозяйку, и, похрустывая рафинадом пошел на лужайку с зеленой травой.

Айкиз направилась к большому красному камню, вросшему в землю у самого края тропы. Прислонилась к нему плечом, задумчиво похлопывая плеткой по своим маленьким желтым сапожкам.

Солнце стояло уже довольно высоко над вершиной Коктау, лаская своими лучами арчу, листву ореховых, миндальных и фисташковых деревьев, устлавших темно-зеленым одеялом склоны гор. Казалось, оно расшивало это одеяло золотыми нитями...

Природа ликовала.

Птицы заливались вовсю, от высокой травы и цветов, успевших согреться, шел медовый запах, серебряно звенели, сверкали на солнце горные ручьи, они стремительно мчались вниз по склонам, будто наперегонки, сплетались друг с другом, задорно перепрыгивали с камня на камень.

Айкиз, залюбовавшись окружающим пейзажем, опять вздохнула глубоко и свободно, всей грудью; потянулась, разведя руки в стороны, а потом быстро и решительно взобралась на валун. «Посижу немного,— сказала она себе, словно оправдываясь,— уж очень тут хорошо думается».

А ей было над чем подумать...

Только сначала надо было найти ответ на вопросы, которые беспокоили ее с самого утра. Утром ей никак не удавалось привести свои мысли в порядок, они то текли медленно и спокойно, словно равнинная речка, то неслись, обгоняя друг друга, наподобие горных ручьев.

Айкиз надеялась, что в горах, в тишине и одиночестве, она сможет поразмышлять обо всем неторопливо, обстоятельно... Но только она поудобней пристроилась на валуне, где отдыхала всякий раз, когда сжала через перевал, как взгляд ее упал на рукоятку камчи, которую она сжимала в ладони, и мысль побежала по неожиданному руслу...

Когда-то рукоятку смастерил ее отец, Умурзак-ата, из горного гребенщика. Она получилась прочной, твердой, как железо. Древесные волокна — мускулы ствола — упруго переплетались, как нити в стальном тросе.

«Какое крепкое это дерево,— подумала Айкиз.— Наверно, потому, что горное. В горах все прочно и сильно: скалы, орлы, деревья, люди... А я — сильная? — спросила себя девушка и понурилась: — Наверное, нет!» Ведь в детстве она подчас не могла сдержать слезы. Да и теперь

не всегда способна была справиться с чувствами восторга и жалости, нежности и беспомощности. Совсем, совсем она обыкновенная!

И почему это именно ее выбрали председателем сельсовета? Ведь она так молода, и плечи у нее хрупкие. А на них воп какой груз взвалили! Но что поделаешь! Первые годы после войны. Трудно с кадрами... А Айкиз недавно приехали в партию. Коммунисты оказали ей доверие, которое она должна теперь оправдать. Она просто обязана совершить что-то особенное, необыкновенное!

Айкиз еще девчонкой, в дни войны, мечтала о подвиге. Она и сейчас, в мирное время, готова была на подвиг. Правда, она не знала, каким образом здесь, в глухом кишлаке, можно было проявить героизм. Задумываясь об этом, Айкиз тут же себя и обрывала: что это за подвиг, если заранее о нем размышляешь? У тех, кто идет на героические дела, и в мыслях нет, что вот сейчас, через минуту они навек прославят свои имена. Подвиг — это неожиданная вспышка!

Погоди, Айкиз! Не хочешь ли ты сказать, что подвиг бессознателен? Но разве внезапный бездумный порыв заставил Матросова грудью закрыть амбразуру вражеского дота, а Гастелло — пойти на гибель во имя победы? У их героизма была высокая, священная цель, и всей своей жизнью они были подготовлены к подвигу. Ты в одном права: они не ставили перед собой задачи — совершить подвиг. В душе они, верно, и не считали то, на что решились, чем-то исключительным. Просто они, верные сыны родины, воспитанные партией, комсомолом, не могли поступить иначе. А народ назвал их героями и содеянное ими — подвигом.

Живи, как живешь, Айкиз. Трудись не покладая рук. Отдавай все силы порученному тебе делу. Это и есть подвиг, естественный и каждодневный.

Ты ведь сознаешь: чтобы достичь общей великой цели, каждый должен видеть перед собой свою, конкретную цель. Вот ты и думаешь над тем, к чему же должна призвать и повести земляков — во имя счастья народного.

Разве нельзя сделать что-то сверх того, чем ты занимаешься постоянно, хотя и сейчас хватает у тебя забот?

Вон он, твой кишлак Алтынсай, широко и зелено раскинулся вгору, у подошвы Коктау. Он весь утопает в садах. Под свежим ветром, который сбегает тугими волнами

со склона горы, изумрудная листва деревьев колыхается, трепещет, кипит, и кажется, будто это и не сады вовсе, а зеленые, с бурлящей водой, озера. И маленькими парусами белеют среди этой кипени дома колхозников.

Там, дальше, за центральной площадью кишлака, и твой дом, скрытый сейчас от тебя стеной тополей. Если бы не тополя, ты увидела бы родную крышу из красного железа и небольшой дворик, где в эту минуту наверняка хлопочет над самоваром старый Умурзак-ата...

Он ждет дочь. Только долго придется ему ждать. Ей над многим надо еще подумать... Ведь он сам предупреждал ее: «Ты, дочка, совсем еще молодая, гляди, не сделай какой промашки, тебе народ большой пост доверил, не обмани его доверия, тщательно обдумывай каждый свой шаг». Это он сказал, когда Айкиз выбрали председателем сельсовета.

Впервые такой высокий пост в Алтынсае занял не бело-бородый старец, умудренный жизненным опытом, а девушка, еще даже не получившая диплома агронома.

Умурзак-ата гордился этим и тревожился за дочь.

Его, конечно, можно было понять, ведь за его плечами — три четверти века. Многое видно с этой высоты, и он вправе и беспокоиться, и советовать, и наставлять.

А у нее и правда еще молоко на губах не обсохло. Давно ли она, напуганная орлом, катилась вот по этому откосу вниз, угодив в зеленую пещеру, образованную ветвями арчи? Давно ли вприпрыжку бегала к чабанам, принося с собой газеты со свежими фронтовыми сводками, лепешки и сладкую толченую кукурузу? И старый Бабакул угощал ее таким вкусным курутом, какого не было ни у одного из чабанов.

Бабакулу, ее дяде, брату отца, было на четыре года меньше, чем Умурзаку-ата. Ему шел семьдесят второй... И чуть ли не все свое время он проводил в горах, бывало — годами не спускался в долину. Да и что ему было делать в кишлаке? Он давно потерял жену, тетушку Кундуз, и сынишку, Юнуса, — они погибли от рук басмачей. Самой близкой родней ему стали горы, среди них он не так чувствовал неизбывную горечь утраты, как в кишлаке. Правда, оставались еще у него брат и племянники, которых он очень любил. И Айкиз была к нему привязана. В детстве она часто навещала в горы к дядюшке Бабакулу, и он весь сиял от радости, когда видел ее.

Так ли уж давно это было?

Давно ли вообще кончилось детство? Айкиз казалось — оно совсем рядом, как вот эти огненно-алые тюльпаны, которые ей так нравилось собирать — она приносила их домой целыми охапками.

Детство... Золотая, незабвенная пора!

Ты пока отдохни, Айкиз, поразмышляй, а я расскажу тебе много о твоём детстве и юности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Узкая тропинка змеилась по холмам, то круто взбираясь вверх, то легко, как мячик, скатываясь в ложину и прячась там ненадолго в густой траве, а потом вновь вползая на склон юркой ящерицей и опять стекая в траву и петляя там между больших валунов. А по тропинке весело семенила маленькая Айкиз, напевая песенку без слов. В руках у нее узелок. Платице, когда-то ярко-малиновое, а теперь совсем выцветшее, развевалось на ветру, а загорелые ноги так и мелькали в траве, которой заросла тропка.

Впереди резво бежала собака, которую неизвестно почему Тимур, брат Айкиз, надумал назвать по-русски — Пиратом. Ничего пиратского не было в этой добродушной дворняге, к тому же и не слишком крупной, — если не считать того, что Пират был черный, как галка; правда, не сплошь черный — у него белел кончик хвоста и два пятна желтели над бровями. В общем, грозная кличка никак не соответствовала ни внешнему виду, ни характеру собачонки.

Время от времени Пират останавливался и оглядывался, чтобы убедиться, поспекает ли за ним хозяйка. Подождав, пока она нагонит его, Пират продолжал свой путь.

Задерживался он порой еще и потому, что его что-то привлекало в густой траве. Собака окунала в нее морду, прищупывалась, скребла землю лапой, и Айкиз замедляла шаг: ей интересно было, что там нашел Пират, она обшаривала взглядом траву, в которой он копался, но ничего любопытного не обнаруживала. Пират, чихнув, поднимал морду, принимался обнюхивать узелок, который несла Айкиз. Та толкала его босой ногой в черный мохнатый бок.

— Эй, отвяжись, это не для тебя. Пошли дальше, нам надо торопиться.

И они опять устремлялись вперед.

Но вот Айкиз замерла, осторожно положила узелок на землю и, крадучись, высоко поднимая ноги, чтобы не запутаться в траве, направилась к желтой купальнице, на которой примостилась большая бабочка с красными пятнышками на черных крыльях. Такой красивой бабочки Айкиз еще не доводилось видеть, ей ужасно захотелось поймать ее, но только она подобралась к цветку и протянула руку, как бабочка вспорхнула и перелетела на другой цветок. Долго охотилась Айкиз за бабочкой, несколько раз уже касалась пальцами крыльев, но в последний момент черная красавица ускользала от нее. И не то чтобы пыталась совсем улететь, нет, она просто перепархивала с цветка на цветок, словно поддразнивая девочку. Айкиз, однако, не занимать было упрямства, она начала злиться и решила во что бы то ни стало добиться своего. И добилась: поймала не только черную бабочку, но еще и зеленую и желтую. Потом, раскрыв тюбетейку, куда она прятала бабочек, Айкиз полюбовалась ими и выпустила всех на волю: «Летайте себе на здоровье, я добрая».

Она возвратилась на тропку, к тому месту, где оставила узелок, и растерянно заморгала ресницами: узелка не было. Беспомощно оглянувшись, она всхлипнула, дрожащим голосом позвала:

— Пират, Пират!

Айкиз надеялась, что Пират поможет ей найти узелок. Но и собаки нигде не было видно. Сопоставив обе пропажи, Айкиз догадалась, в чем дело, и крикнула уже строже:

— Пират! Ко мне!

Шагах в трех от нее из травы высунулась черная собачья морда с желтыми подпалинами над бровями. И тут же снова исчезла.

Девочка шагнула к Пирату и увидела возле него, в густой высокой траве, растерзанный узелок. Она всплеснула руками:

— Пират! Что же ты наделал? Где хасип? Съел, паршивец? Что же я теперь скажу чабанам?

Пират встал, виновато моргая и виляя хвостом. Убегать он и не думал: знал, что хозяйка скоро сменит гнев на милость и отдаст ему остатки лакомства. Айкиз не умела долго сердиться.

Пират даже облизнулся с некоторой долей нахальства.

Айкиз улыбнулась сквозь слезы, вытерла кулаком глаза, вздохнула.

— Ладно уж, доедай. Что с тебя взять. Ты глупый пес, ты наглый пес!..

Через минуту от ее недавней досады не осталось и следа.

Но на этом злоключения, связанные с Пиратом, не закончились. Вскоре Айкиз пришлось плакать уже навзрыд...

Взобравшись на холм, за которым паслась отара, Айкиз остановилась, любуясь открывшейся перед ней картиной. Овцы сбились в кучу, и казалось, луг был накрыт огромной каракулевой буркой, перламутрово переливавшейся на солнце.

На другой стороне лощины, на склоне большого холма, стоял дядюшка Бабакул. Он смотрел из-под ладони на Айкиз и, хотя их разделяло солидное расстояние, девочке почудилось, будто лицо старика, худощавое, дочерна обожженное ветрами и солнцем, обрамленное белой бородой, осветилось радостной улыбкой. Он помахал ей длинным пастушеским посохом: мол, беги сюда.

Айкиз хотела уже припуститься вниз, но в это время внимание ее привлек Пират, который вел себя как-то странно. Покинув хозяйку, он устремился в лощину и помчался, петляя меж кустов и камней, за большой серой собакой, удалявшейся от него с наглой ленцой. Девочка не поняла, почему вдруг переполошились овцы: в испуге шарахнулись к склону холма, где стоял Бабакул.

Пират и серая собака скрылись за кустами цветущего боярышника.

Чабаны кричали что-то, к кустам боярышника песся огромный белый волкодав.

Неожиданно из-за кустов послышался истошный визг Пирата, тут же оборвавшийся.

И старый Бабакул и молодой чабан Хасан уже бежали к боярышнику, за которым произошло что-то непонятное для Айкиз. Нагнав их, девочка крикнула:

— Что случилось, дядюшка Бабакул?

Тот на бегу коротко бросил:

— Волк.

— Волк? Где волк?

Бабакул не успел ответить: они уже достигли кустов, за которыми было тихо-тихо.

Зрелище, свидетелями которого все они стали, заставило Айкиз оцепенеть от недоумения и горя. Пират лежал на боку возле камня, на траве, с наискось распоротым

брюхом... Желтые его глаза уже остекленели. И на камне и на траве темнела кровь, всюду виднелись клочья шерсти, черной и серой.

Айкиз спросила сквозь слезы:

— Кто это его, дядюшка Бабакул?

— Волк. Он, видно, к отаре подкрадывался, мы-то его даже не заметили, а твой пес увидел и погнался за ним. Храбрый пес!..

Айкиз уже не сдерживала рыданий.

— Не плачь,— сказал Хасан,— слезами горю не поможешь.

— Жа... жалко...

— И нам жалко твою собаку. Вон, даже волка не испугалась!.. Только что толку от слез-то?

— Как звали твоего пса? — спросил Бабакул.

— Пиратом...

— Хм... Что это за слово такое — пират?

— Это... были такие разбойники... морские...

— Вон оно что!.. Тогда зря ты так назвала свою собаку.

Айкиз все размазывала кулаками слезы по лицу, но глаза ее обидчиво сверкнули:

— Почему же зря? Сами сказали: он храбрый!

— Так-то оно так. Только какой же он разбойник? Вот волк — тот правда разбойник. Вот уж кто пират так пират. И напрасно твой пес за ним погнался. Видать, до сих пор просто не видел волков, не знал, какие это дусегубы.

— Ведь ваш Куват тоже за волком бросился.

— Так для того его мы при отаре и держим. Он недаром зовется волкодав. Видала, какой он большой, могучий? Он сторожит отару от волков, и они его боятся.

— Так волк и от Пирата удирал. Тоже, значит, испугался?

— Ну да. А потом заманил его в кусты да там с ним и справился. С волками шутки плохи...

— Нет, дядюшка Бабакул,— вмешался Хасан,— он все-таки молодец, этот Пират. Помешал бандюге украсть овду. Давайте похороним его с почестями.

— Разве собак так хоронят? — спросила Айкиз.

— Пират отогнал от отары серого разбойника. Почему ж нам не почтить его? Вот закопаем в землю, камень на могилу положим. Все честь по чести.

Когда, зарыв Пирата, они поднимались на холм, Айкиз сокрушенно проговорила:

— А я-то его ругала сегодня.

— За что это?

— Да я вам хасип несла в узелке. А он съел. Я и оглянуться не успела...

— Ничего, дочка,— сказал Бабакул,— хоть полакомился перед смертью.

Замедлив шаг, он достал из-под бельбога тыквенную табакерку, кинул под язык щепоть жгучего зеленого табака — насвая, подержав во рту, сплюнул, строго и наставительно произнес:

— А ты, дочка, больше не ходи сюда одна. А то, не дай бог, и на тебя волки нападут.

— Не боюсь я их вовсе!

— А ты не храбрись понапрасну-то.— И Бабакул повторил: — С волками шутки плохи. Ты свою смелость прибереги для других дел.

Домой Айкиз вернулась лишь к вечеру. Братья налетели на нее, как коршуны, особенно негодовал Тимур, он готов был даже пустить в ход кулаки:

— Где ты была? Где пропадала весь день? Ну, что молчишь? Мы тут переволновались...

Айкиз, глядя в пол, тихо, но твердо попросила:

— Не кричи на меня, пожалуйста.

— Ишь, она еще командует! — Тимур размахивал кулаком, в котором был зажат грецкий орех.— Куда тебя носило, говори?

— Да, сестренка, ты все-таки скажи, где была,— строго проговорил старший брат Алишер.— Ну?

— Если будете кричать... ни словечка не скажу! — Голос у Айкиз дрожал, но в нем слышалось и упрямство.

Братья переглянулись, Тимур пригрозил:

— Вот как стукну сейчас орехом по лбу! Сразу заговоришь.

Алишер остановил его руку, отобрал орех, присел перед Айкиз на корточки.

— Ладно, мы не будем на тебя кричать.— Он ласково провел ладонью по ее длинным тонким косичкам, струившимся по спине.— Но ведь ты знаешь, скоро я уезжаю в Ленинград. Неужели тебе не хочется побыть со мною подольше? И так осталось мало времени, а ты исчезла куда-то на целый день.

Лицо девочки залила краска, она виновато сказала:
— Ой, Алишер-ака!.. Простите меня.

В душе она бранила себя за то, что перед отъездом брата отлучилась из дома на целый день. Правда, она не виновата была в том, что задержалась в горах...

Алишер, окончивший в Алтынсае среднюю школу, собирался продолжать учебу в одном из ленинградских институтов. Начиная с зимы в семье только и разговоров было, что о его отъезде. Особенно переживала предстоящую разлуку с сыном старая Халбиби. Она часто вздыхала; стоя у очага, украдкой наблюдала за Алишером и рукавом платья вытирала глаза, делая вид, будто они слезятся от дыма. А когда по вечерам вся семья собиралась за ужином, вокруг низенькой хантахты, Халбиби вдруг забывала о еще и все глядела на Алишера.

А однажды Айкиз, подойдя к матери, хлопотавшей у тандыра, где пеклись лепешки, с удивлением услышала, как она разговаривала сама с собой:

— Ох, как же я выдержу такую долгую разлуку? Где мне набраться терпения? Ведь в какую даль он едет! А не дай бог, заболит в чужом городе? Кто за ним будет ухаживать?

Айкиз с каким-то испугом прислушивалась к ее бормотанию. Прежде с матерью никогда такого не бывало... Девочка потянула ее за рукав:

— Мама! У вас лепешки сгорают.

Халбиби вздрогнула от неожиданности и замахнулась на дочь тряпкой:

— Вай, чтоб тебя нелегкая взяла! Перепугала до смерти.

Умурзак-ата, с беспокойством следивший за женой, как-то, не вытерпев, твердо проговорил:

— Вот что, Халбиби. Ты брось свои вздохи да причитания. В семье у нас не горе, а радость. Подумай только: Алишер едет учиться в Ленинград, великий город. Джигит из Алтынсае станет инженером! А то и ученым! Это же большая честь и для нас и для всего кишлака.

Вспомнив все это, Айкиз крепко прильнула к Алишеру.

Вскоре с поля возвратились Умурзак-ата и Халбиби, и тогда Айкиз, немного успокоившись, рассказала своим родным обо всем, что произошло в горах. Сперва голос у нее срывался, в нем звучали слезы, а потом она вышла на середину комнаты и стала показывать, как Пират гнал за



волком. Дойдя в своем рассказе до того места, когда она увидела растерзанного Пирата, Айкиз, глотая слезы, сказала:

— Жалко... Пирата...

Все молчали, а Тимур вдруг взорвался:

— Что толку от твоей жалости! Это из-за тебя погиб Пират! Зачем тебе понадобилось брать его с собой? Ведь знала же, что его могут загрызть волки.

— Не знала я!..

— погоди,— остановил брата Алишер.— Что ты напустился на сестренку? Ведь и на нее волки могли напасть.

— Вот и пускай напали бы! — зло отрезал Тимур.— Поделом бы ей было.

— Аллах великий, сохрани ее и помилуй! — чуть не плача воскликнула Халбиби.— Что ты такое говоришь, сынок?!

Алишер глянул на Тимура со строгой укоризной, а Умурзак-ата незаметно от других протянул руку и больно дернул Тимура за ухо.

Тот, обидевшись на всех, выскочил из комнаты...

Тимур очень любил Пирата.

Появился он только перед самым ужином, когда вся семья сидела за дастарханом и Айкиз, позабыв о недавних горестях, весело щебетала, засыпая отца вопросами:

— Почему солнце светит только днем, когда и так светло? Вот если бы оно ночью всходило, то можно было бы играть на улице. Папа, а почему аист в гнезде всегда на одной ноге стоит? Другая у него больная, да?

Умурзак-ата морщил лоб, обдумывая ответ, а Айкиз уже задавала новый вопрос, мудреней предыдущих:

— Отец, а мулла очень жадный, да? Зачем он наматывает на голову такую большую чалму? Ведь из нее можно сшить десять платьев и всех моих подруг одеть.

— Жадный ли мулла, говоришь? — хмурился отец.— Уж жаднее быть не может. Да и всей нашей жизни он враг. Сказать по чести, он только головы морочит честным труженикам. Он нам, дочка, от прошлого достался.

Алишер же решил испытать сестренку. Улыбаясь, он спросил:

— А сколько у тебя подруг, Айкиз?

— Много.

— А все-таки?

Айкиз, хмурясь от напряжения, попробовала что-то подсчитать в уме, а потом сказала наобум:

— Ну... двенадцать!

— Так. А платиц, ты говоришь, из чалмы можно сшить десять. Верно?

Чувствуя какой-то подвох, Айкиз в нерешительности протянула:

— Ну... верно.

— Тогда платиц-то на всех не хватит.

— Почему?

— А вот смотри, — Алишер высыпал на скатерть спички из коробка. — Видишь, я беру двенадцать спичек. Посчитай, двенадцать, верно? Каждая из них — это твоя подружка.

Тимур, успевший уже остыть, разгадал замысел брата и поспешил вступить в игру.

— А теперь возьмем десять семечек, — он вытащил из кармана горсть белых тыквенных семян, — вот тут у нас десять. Это будут платья. Ну-ка, подари эти платья своим подружкам. Положи-ка семечки возле спичек. Что получилось?

— Не хватает, — растерянно сказала Айкиз.

— Точно, на всех твоих подружек платиц не хватило. А почему?

— Почему? — повторила Айкиз.

— Потому что подружек у тебя двенадцать, а платиц всего десять, на два меньше, чем нужно. Поняла?

Так братья подготавливали Айкиз к поступлению в школу.

К осени она уже знала, что такое арифметика, и умела читать.

И вот наконец наступил день, когда Айкиз отправилась в школу. Вернулась она притихшая, чем-то недовольная.

— Ты что, дочка? — встревожилась Халбиби. — Уж не заболела ли?

— Нет, мама. Учиться очень трудно.

— Так уж и трудно! — насмешливо протянул Тимур. — Все учатся.

— А мне трудно! — На глаза Айкиз навернулись слезы. — Попробуй посиди на одном месте целый час, ведь даже пошевелиться нельзя.

— Я вон сижу.
— Ты привык.
— И ты привыкнешь. Когда учитель что-то новое объясняет, то и не замечаешь, как время летит.
— Да, если новое!.. А я все знаю, о чем учительница говорит. Вы с Алишером давно мне все растолковали.
— Шу, это беда небольшая! — улыбнулся Умурзаката, который прислушивался к разговору.
— Да, а еще нас заставляют читать по складам. А я букварь от начала до конца наизусть знаю. Отец ведь еще весной мне его купил.

Тимур усмехнулся:

— Мне бы твои заботы! Хорошо бы тоже так: новый материал объясняют, а ты все уже знаешь! Красота!

Халбиби, тоже еле сдерживая улыбку, утешала дочь:

— Не горюй, дочка. Все образуется.

Она оказалась права: все «образовалось», и вскоре школа стала для Айкиз вторым родным домом.

С годами Айкиз делалась все серьезней. Прежде непоседливая, говорливая, она теперь удивляла подруг своим терпением и усидчивостью. Книги она прямо-таки глотала, и к тому времени, когда перешла в седьмой класс, в алтынсайской библиотеке почти не осталось книг, которые она не прочла бы.

Все чаще задумывалась Айкиз о будущем. И оно представлялось ей в самых радужных красках. Закончив десятилетку, она поступит, как Тимур, в Ташкентский сельскохозяйственный институт, потом вернется домой, в родной Алтынсай, начнет работать в колхозе агрономом... Все свои знания она отдаст колхозу. И жизнь, наполненная трудом, простыми радостями бытия, будет светлой — как летнее утро в горах.

Война разрушила все ее мечты и планы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На дверях сельсовета появился приказ райвоенкомата о мобилизации. И хотя Айкиз он совершенно не касался, она часто наведывалась к сельсовету и перечитывала приказ, шевеля губами.

Однажды дверь распахнулась, и перед Айкиз выросла фигура секретаря сельсовета Алимджана. Смерив девочку цасмешливым взглядом, он сказал:

— Я уж давно за тобой наблюдаю — ты что это так приказом интересуешься? Уж не на фронт ли собралась? Айкиз спросила, смотря на него снизу вверх:

— А меня... взяли бы?

— Тебя? На фронт? Ты это серьезно?

— Ага. Серьезно.

— А я так думаю — совершенно несерьезно! — Неожиданно Алимджан положил руку ей на плечо. — Ты выбрось это из головы, понятно? Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

— Ну, вот видишь. Совсем взрослая. Пора уж разбираться в некоторых вещах.

Айкиз покраснела до слез.

— Вы сами... сами ничего не понимаете!

Заложив руки за спину, Алимджан с интересом смотрел на девочку.

— Нет, милая, я-то все понимаю. Ты душой болеешь за скорую победу, и тебе хочется помочь родине разгромить врага, поставить его на колени. Ты ради этого на все готова, верно?

— Верно...

— А говоришь: я ничего не понимаю. Только и ты пойми: твоя помощь нужна и здесь, в колхозе. Собери своих подруг-семиклассниц... или вы уже восьмиклассницы? Идите на богару, где колхозники убирают хлеб. Вы можете подбирать колоски, расчищать ток, отгребать от веялки солому. Работа для вас найдется! А хлеб сейчас — это большой вклад в дело победы. Вовремя и полностью собрать урожай — это все равно что обрушить на врага мощный артиллерийский залп!

— Хорошо, Алимджан-ака. Я сделаю, как вы говорите. — Айкиз нерешительно взглянула на Алимджана. — А вы... просились на фронт?

Тот вздохнул:

— И не раз!.. Пока не берут.

— Это почему же? — Лицо Айкиз пылало искренним возмущением. — Вы были бы хорошим воином! — Она восхищенным взглядом окинула его гимнастерку, сапоги. — Вам так идет форма!

— Не по праву я ее ношу, — с сожалением сказал Алимджан. — Но в ней я чувствую себя хоть чуточку поближе к фронту. Скажут: собирайся, а я уже готов! Ты, наверное, думаешь, что это мальчишество?

Он разговаривал с ней как со взрослой. И она серьезно ответила:

— Нет, Алимджан-ака, вы правда в ней — как солдат...

— Ну, а с тобой, значит, договорились?

Айкиз утвердительно кивнула. И, почему-то снова покраснев, повернулась и убежала.

В тот же день она передала подругам свой разговор с Алимджаном, умолчав о его «неделовой» части... И они решили отправиться на богару помочь колхозникам.

За Айкиз увязались и девочки из младших классов, неразлучные подруги Лола и Михри. Они давно уже ходили за ней по пятам. Где бы ни появлялась Айкиз — на улице, в школьном дворе, в библиотеке, — возле нее всегда крутились Лола и Михри.

Лола приходилась сестрой Алимджану и отличалась резвостью и общительностью. Ей не сиделось на месте, в любых обстоятельствах она находила себе занятие и с утра до вечера щебетала, как птица в лесу. Полная, с круглыми щеками, она выглядела этаким коlobком.

А Михри была худенькая, длинноногая, с очень смуглым лицом. Сдержанность, застенчивость, серьезность сочетались в ней с упрямством, которое она, видимо, унаследовала от отца, колхозника Муратали, строитивого, чуть замкнутого и в то же время простодушного и прямого. Он не стеснялся говорить правду в глаза и славился удивительной доверчивостью.

Айкиз удивлялась: как могли дружить эти девочки, такие разные? И недоумевала, чем сама она смогла заслужить их любовь, по-детски безоглядную и преданную...

Как старшая, она опекала их, отвечала лаской и резвухе Лоле и молчаливой Михри, которая при встречах с Айкиз не отрывала от нее своих черных, глубоких глаз.

Лола и Михри пошли на богару вместе с недавними семиклассницами.

Богарные земли колхоза «Кызыл юлдуз»¹ начинались за горой Коктау, и чтобы добраться до них, надо было сперва одолеть перевал.

Подниматься туда было тяжело, солнце стояло уже высоко и жгло головы и плечи. А на перевале всегда гулял свежий ветерок, он оведал лица, и жара здесь не так чув-

¹ «Кызыл юлдуз» — «Красная звезда» (узб.).

ствовалась. Девочки приободрились, послышался смех, беспечные возгласы и в этом веселом гомоне выделялся звонкий голосок Лола:

— Михри, погляди-ка, в колхозном саду уже и вишня и урюк отцвели, а тут еще цветут лютики и одуванчики!.. Чудно, правда? Михри, а какие яблоки тебе больше нравятся — белый налив или красные скороспелки? Знаю, знаю, белый налив!.. Только он кислый, я больше люблю скороспелки, они красные-красные и сладкие, как парварда.

Лола задавала вопросы и сама отвечала на них, не давая подруге и рта раскрыть.

Айкиз, улыбаясь, сказала:

— Лола, а где ты колокольчик спрячешь?

— Какой колокольчик? — не поняла Лола.

— А вот тот, что все звенит и звенит. И где ты — там и он. Может, он у тебя к шее привязан?

Лола догадалась, что ее разыгрывают, и громко рассмеялась:

— Сестрица Айкиз, да это у меня голос такой!

Айкиз недоверчиво покачала головой:

— Не может быть. Разве голос у человека звучит без перерыва? Человек поговорит-поговорит, да и устанет и замолчит. А ты почему-то не устаешь. Значит, это не голос, а колокольчик. Он ведь без конца способен звенеть...

Девочки прыснули со смеха, а Лола ненадолго примолкла.

Дорога и солнце утомили путниц, они присели на траву отдохнуть.

Айкиз задумчиво глядела вокруг. Это были места, знакомые с детства. Вон внизу заросли арчи, в которых она когда-то застряла. Вон глубокое каменистое ущелье. Айкиз любила стоять на самом краю пропасти, по спине у нее пробегал холодок, а она громко выкрикивала что-нибудь и слушала, как в таинственной мгле ущелья то гулко, то глухо перекатывалось эхо, — чудилось, это отзывался на ее оклик сказочный джинн... А вон в стороне, возле кустов боярышника, большущий гладкий валун. Он наполовину врос в землю, его почти и не видно за высокой травой... Айкиз когда-то подолгу на нем сидела.

Давно она здесь не была. Все время отнимали занятия — це до прогулок было. И она уже выросла...

А на перевале, кажется, ничего не изменилось.

Постой-ка, Айкиз... Валун-то словно бы сдвинут с места. Чудно... Кому это понадобилось передвигать такую тяжесть? Он ведь никому не мешал, покоился себе поодаль от дороги...

Не говоря ни кому ни слова, Айкиз поднялась с места и направилась к камню.

Валун был не только сдвинут, кто-то оторвал его от земли и поставил на ребро, привалив к кустам боярышника. Издали это трудно было заметить, камень скрывала буйно разросшаяся трава.

Сколько помнила себя Айкиз, валун всегда лежал плашмя, прочно зарывшись основанием в землю. Ей даже думалось, что, возможно, под камнем кто-нибудь похоронен. Отец рассказывал, что в свое время на этом перевале разыгрывалось много драм... Сама история оставила здесь свои следы...

Что же тут произошло — судя по всему, недавно? Ведь земля, которую прежде накрывал валун, была совсем свежая. Может, на это место обрушился обвал? Странный обвал, слишком уж аккуратный... Ничего вокруг не тронул, только переместил валун поближе к боярышнику, словно вознамерясь прикрыть им что-то... Нет, это дело человеческих рук. Только ради чего возился кто-то с этим камнем?

Айкиз шагнула к валуну и вздрогнула от неожиданности: из-за него с шумом взлетела стая скворцов. Откуда их столько? Что их привлекло?

Она сделала еще два шага да так и замерла: в траве светлели рассыпанные зерна пшеницы, приманившие птиц, а между камнем и кустами боярышника виднелись два мешка — тоже, видно, с зерном.

Теперь уже нетрудно было сообразить, зачем кто-то сдвинул валун: чтобы спрятать за ним пшеницу. А раз ее приходится прятать, значит, она украдена.

Кто-то похитил колхозный хлеб и припрятал его на перевале, подальше от людских глаз.

А хлеб сейчас — это весомый вклад в дело победы! Так говорил Алимджан.

Кто же это протянул хищную руку за колхозным зерном? Кто дерзнул украсть у честных тружеников хлеб — хлеб победы?..

До Айкиз донесся смех одноклассниц, — наверно, их развеселила Лола.

Может, поговорить с ними о своей находке?

Нет, надо сначала самой во всем разобраться.

Пораскинъ-ка как следует мозгами, Айкиз: кто бы это мог сделать, у кого разгорелись алчные глаза на пародное добро? Кто бы ни украл зерно — он не просто вор, он враг. Враг колхозников «Кызыл юлдуз». Враг всего народа. Враг победы...

Айкиз сдавила виски ладонями. Неужели у них в колхозе живет этот злодей? Ведь у своих воровать... в такое трудное время... это... хуже фашизма!

Неожиданно ей вспомнился один разговор. Недавно дядя Гафур, родной брат матери, за обедом с каким-то веселым оживлением сказал отцу Айкиз: «С хлебом-то, братец Умурзак, в этом году туговато будет, наверняка он поднимется в цене!» — «Это спекулянты поднимут на него цену, — хмуро ответил Умурзак-ата. — Есть у нас еще такие негодяи, которые рады погреть руки на пародной беде». Гафур тогда промолчал, выбирая из бороды в ладонь хлебные крошки...

Травка, которую в задумчивости жевала Айкиз, показала ей вдруг горькой-прегорькой. Она выплюнула травинку, сосредоточенно наморщила лоб...

Погоди-ка, погоди-ка... А кто у них в колхозе имеет дело с зерном?

Айкиз! Не горячись, не руби сплеча, тщательней все обдумай.

Обмолоченное зерно с тока увозит дядя Гафур. И он же радовался тому, что теперь хлеб должен подорожать.

Дядя Гафур... Неужели он вор? Айкиз всегда его недолюбливала, ее коробило и от дядюшкиного смеха, хриплого, злорадного, и от его вкрадчивых речей, в которых чувствовалась фальшь; к тому же от Гафура часто несло винным перегаром... Но он все-таки близкий родственник, мамин брат!..

А разве родич не может быть врагом? Вспомни Павлика Морозова, Айкиз!.. Ведь ты еще девочкой читала о нем в «Пионерской правде». Павлику пришлось восстать против родного отца...

Ей все же не хотелось верить, что мешки с зерном спрятали за камнем дядя Гафур. Но ведь только он, он один занимается перевозкой зерна. И украсть пару мешков для него проще простого.

Правда, за руку он не схвачен. И пока у Айкиз были

только подозрения. Однако факт оставался фактом: зерно украдено. И так или иначе, а надо кому-нибудь сообщить об этом.

Может, сперва поделиться своими сомнениями с мамой? Ведь Гафур ей родной брат... Нет, мама не выдержит такого позора! Лучше побережь ее — пока ничего еще не доказано..

Но Айкиз не в силах и не вправе молчать. Она расскажет все своей пионервожатой, учительнице Зухре, которой во всем доверяла. Если ей нужен был совет, она всегда шла к Зухре.

Крикнув подругам, чтобы они продолжали путь без нее, а ей необходимо срочно сбегать в кишлак, Айкиз что есть сил припустилась вниз, к подножию горы. Скоро она оказалась в тенистом колхозном саду. Солнце все припекало. Ей захотелось пить, она подняла с земли крупное яблоко, впила в него зубами. Правда, жевала она яблоко без особого удовольствия, мысли ее были заняты дядей Гафуром..

Зухру она дома не застала. Бабушка учительницы, маленькая, сухонькая, подвижная, веником чистила палас на айване. Айкиз узнала от нее, что Зухру вызвали в райком и она обещала вернуться лишь к вечеру.

— Приходи вечером, дочка.

— Нет, бабушка, что вы! У меня срочное дело, до вечера я не могу ждать.

Ждать действительно было нельзя: ведь мешки, главная улика против вора, оставались за камнем, и дядя Гафур или кто другой наверняка заберет их, как только стемнеет.

Айкиз решительным шагом направилась в сельсовет.

Еще проходя мимо окна, она увидела в помещении Алимджана, который не то прощаясь, не то здороваясь обнимал кого-то. У нее беспокойно забилося сердце: неужели Алимджан получил повестку и расстанется с сослуживцами? Некоторое время она мялась у двери, потом распахнула ее, вошла в комнату.

— Здравствуйте, Алимджан-ака!..

Он, видно, не услышал ее приветствия, все похлопывал по плечам какого-то парня, которого Айкиз не могла узнать со спины.

Наконец Алимджан отпустил парня, бодрясь, проговорил:

— Что ж, Иргаш, мы теперь на фронте увидимся. Па-

деюсь, я тут долго не засижусь. Ну, желаю тебе как можно больше прикончить фашистов.

Айкиз хотела поздороваться и с Иргашем, но он, так и не заметив ее, быстро вышел из комнаты. Он жил уже своим армейским будущим, фронтом...

Алимджан повернулся к окну, поглядел вслед Иргашу, споро шагавшему по безлюдной кишлячной улице, и наконец обратил внимание на Айкиз, — вздохнув, сказал негромко:

— Вот так, милая, каждый день кого-нибудь провожаю... Скорей бы уж мне проводы устроили! — Он помолчал. — Повестку-то ему прямо на поле принесли.

— А я его знаю, это брат моей одноклассницы Кумрихоп. Она мне рассказывала — Иргаш-ака собирался в Москву ехать, хотел поступить в Тимирязевскую академию. Это еще до войны...

— Да, он мне говорил. — Алимджан пристально посмотрел на Айкиз: — У тебя ко мне дело какое?

— Да. Срочное. Неотложное!

Не сдержав улыбки, Алимджан погладил ее по голове, как маленькую:

— Вот как! Неотложное?! Ну, ну, выкладывай.

Айкиз обидчиво отвела голову из-под его руки, сердито сказала:

— Вы садьте, Алимджан-ака. Разговор серьезный. И сама села на первый подвернувшийся стул.

Алимджан опять улыбнулся, но, когда Айкиз приступила к рассказу о своем утреннем приключении, улыбку с его лица словно ветром сдуло, он нахмурился, придвинул свой стул поближе к Айкиз и выслушал ее рассказ и предположения, не прерывая девочку.

Айкиз видела, что Алимджан хорошо ее понимает, и радовалась этому. Наверно, он и думал в эти минуты о том же, о чем и она сама... Ведь он только что простился с Иргашем, который скоро отправится на фронт бить фашистов, может, ему придется пролить кровь, отдать жизнь за родину. А в это самое время такие, как Гафур, растаскивают колхозное добро. Они воруют хлеб не только у колхоза, нет, а у фронтовиков и у того же Иргаша!.. Ведь если бы Айкиз не нашла зерно, то оно уже не попало бы к тем, кому главным образом предназначалось: к солдатам на передовой!..

По мере того как она рассказывала, у Алимджана тем-

нели глаза. Когда же она замолкла, он неторопливо проговорил:

— Спасибо, Айкиз. Ты молодец.

С уважением пожав ей руку, пообещал:

— Не беспокойся, вор от нас не уйдет. Кто бы он ни был, мы прищемим ему хвост.

В его голосе не было уже ни насмешки, ни спиходительности. И Айкиз, доверчиво глядя ему в глаза, неожиданно для себя сказала:

— Алимджап-ака... я спросить у вас хотела... Что бы вы посоветовали?

— Я слушаю тебя, спрашивай.

— Я раньше думала и дальше учиться, а потом поступить в сельскохозяйственный институт. Но, может, лучше пока оставить учебу?

— Это еще почему?

— Ну... война же. Надо помогать колхозу...

Айкиз говорила негромко, опустив голову, и все сплетала и расплетала концы своих длинных кос, переброшенных через плечо на колени. Еще совсем недавно, чтобы угодить матери, она ухаживала за сорока тонкими тугими косичками, но теперь на возню с ними ей просто не хватало времени, и она стала заплетать волосы в две большие косы, порой укладывая их венцом поверх тюбетейки.

Алимджап смотрел на нее выжидательно, и она продолжала:

— Мы... ну, старшеклассницы... хотим попросить у колхоза участок земли. И своими руками выращивать на нем пшеницу. Хлеб ведь нужен фронту, сами говорили...

— Что же, значит, вы все решили бросить школу?

— Нет, нет! Об этом у нас разговора еще не было.

— И не должно быть, понятно? Ишь, что надумала: школу бросить! Нет, и ты, и все твои подруги должны продолжать учебу. А после ты обязательно подашь заявление в институт. Ты любишь свой колхоз, любишь землю, из тебя выйдет хороший агроном, а колхозу так нужны знающие специалисты!.. Я понимаю, ты хочешь помочь родине, верно?

— Да,— еле слышно ответила Айкиз.

— Что ж, идея насчет участка земли неплохая. Я думаю, колхоз выделит такой участок, а вы организуете для работы на нем школьную бригаду.

У Айкиз загорелись глаза:

— Правда?

— А зачем мне врать? Но мы поставим вам одно условие: работать, не бросая учебу! Учиться — ваш святой долг, понятно? И чем лучше вы будете учиться, тем больше пользы принесете и стране и колхозу. Видишь, ты заставила меня повторять прописные истины...

— Я все, все поняла!

— Значит, на том и порешили.

Ночью Айкиз долго не могла уснуть. Ей хотелось обдумать все не спеша, но мысли не слушались ее, и разгоряченное воображение рисовало причудливые картины. То она вспоминала, слово в слово, разговор с Алимджаном, то думала о своих братьях, Алишере и Тимуре, которые сообщили недавно номера своей полевой почты, то представляла себе дядю Гафура, который полз на четвереньках, воровато озираясь, к кустам боярышника...

Айкиз начала уже дремать, как вдруг услышала голос Алимджана. Она насторожилась... Почудилось ей это или действительно к ним пришел Алимджан? Она села на постели, прислушалась. Сомнений не было, во дворе Алимджан разговаривал с ее отцом.

— Да, да, Умурзак-ата, мы поймали его на месте преступления, когда он пытался увезти зерно.

Алимджан, видно, сильно волновался и то повышал голос, то переходил на шепот.

— Он что же, на арбе пожаловал? — Умурзак-ата с трудом сдерживал гнев.

— Нет, ишака привел. И только хотел взвалить на него мешки, как мы...

— Ах, мерзавец! Ах, негодяй!

— Тише, Умурзак-ата. Своих разбудите.

Айкиз вскочила с постели, набросила платице, неслышно, как тень, скользнула во двор. Там, возле старого урюкового дерева, темневшего на фоне густо-синего ночного неба, стояли отец и Алимджан. Подбежав к ним, Айкиз выпалила:

— Его арестовали, да?

Оба глянули на нее с удивлением, отец шикнул:

— Тебя тут не хватало! Марш в постель.

— Вы только скажите: кто это был?

— Кому сказано: спать!

По сердитому, негодующему голосу отца Айкиз догадалась, что речь между ним и Алимджаном шла о Гафуре.

Она поспешила к дому, от греха подальше.

Противоречивые чувства владели девочкой: и радость — оттого, что она выполнила свой долг и вора удалось поймать, и горький стыд, смешанный с жалостью, — ведь это все-таки был их родич...

Гафур получил по заслугам, и суровый приговор суда всеми в Алтынсае был встречен с одобрением. Лишь председатель колхоза Кадыров сказал Умурзаку-ата:

— Все же жаль человека. Пострадал из-за каких-то двух мешков пшеницы. Велика беда! Нынче мы целые города теряем.

— По-твоему, суд должен был оправдать негодяя?

— Не надо было вообще доводить дело до суда. Как-нибудь сами бы разобрались. Работник он был неплохой...

— Он прежде всего вор!

— Ну, ну!.. Просто проявил человек слабость... А ваша Айкиз шум подняла. Нет чтобы мне сперва обо всем доложить, — в сельсовет кинулась.

— Я горжусь своей дочкой...

— Умурзак, дорогой, неужто тебе-то совсем его не жалко? Ведь как-никак он из твоей родни.

— Нет, председатель, не жалко! Сказать по чести, мне жалко наших джигитов, которых забрала у нас война. Они кровь проливают, защищая от врага и нас с тобой и таких, как Гафур. Ему что? Отбарабанит свой срок и вернется домой. А вот возвратятся ли с фронта наши сыновья...

— Э, Умурзак, выше голову! Война скоро кончится.

— Твоими бы устами да мед пить! — вздохнул Умурзак-ата.

Айкиз чувствовала, что Кадыров после случая с Гафуром стал относиться к ней с какой-то опасливой настороженностью. Но ей тогда было не до Кадырова. Неясные, но сильные чувства полонили ее сердце: казалось, будто в душе ее бушуют вихри, будто на нее обрушился снежный обвал, обдавая ее холодом и жаром, а что с ней творилось — она не понимала. То томила ее ноющая боль, то испытывала она непонятный восторг, когда все пело вокруг, то охватывала ее жажда действия... А порой ей хотелось позвать кого-нибудь на помощь.

Но в чем ей нужно было помочь, она и сама не знала.

Мысленно она часто беседовала с отцом и матерью, с братьями, которые были далеко-далеко, а чаще всего — с Алимджаном...

Вот кто мог бы ей помочь. Только как, в чем? Порой ей казалось, что и она могла бы быть нужной Алимджану. Она, Айкиз, способна на крепкую, верную дружбу, а разве Алимджан в эти тяжкие дни не нуждался в друзьях? Только зачем ему ее дружба и забота?.. Он словно и не замечал Айкиз, а если и разговаривал с ней, то как с маленькой девочкой...

Ей же шел шестнадцатый год. Она взрослая и полна перестраченной силы!..

Айкиз, Айкиз!.. Ты действительно стала взрослой и сильной. Наверно, потому и ищешь трудной работы, такого дела, которому могла бы целиком себя посвятить, и спрашиваешь себя и родину: что сейчас нужнее всего и где ты нужнее всего? Но кроме сил в тебе еще накопилась и нежность, требующая выхода... Святая жепская нежность и заботливость, так нужные кому-то, только неясно кому... Может, и Алимджану, хотя он пока и ведать об этом не ведает. Для него ты и правда всего лишь школьница с косичками, бойкая, смелая, решительная, но — школьница... Большого в тебе он еще не видит. А ты вспомни: ведь несколько лет назад и ты не думала об Алимджане. Впрочем, среди других Алимджан тебя и сейчас выделяет. И недавно, благодарно пожимая тебе руку, он ощутил, какая она сильная, твоя рука... Он тогда поглядел на тебя с уважением. Нет, Айкиз, ты не права, полагая, что он совсем уж тебя не замечает!..

Когда начались занятия в школе, Айкиз приняли в комсомол. Это был памятный для нее день, она очень тогда волновалась, а мысли были торжественные, ясные, свободные от всего мелкого и будничного.

Собрание вел Алимджан, который наряду с работой в сельсовете возглавлял колхозную комсомольскую организацию.

Он первый поздравил Айкиз с вступлением в комсомол, а когда все начали расходиться, придержал ее за локоть:

— Останься. Садись, поговорим.

Айкиз покраснела.

— О чем, Алимджан-ака?

— Разве не найдется у нас темы для разговора? Ну, расскажи, что у вас в школе интересного.

— Я вам раньше рассказывала...

— Ну, может, тебе нужен мой совет, моя помощь?

Айкиз еще больше смутилась.

— Да нет... Все у меня в порядке.

— Значит, жизнь у тебя безоблачная? Завидую. И тайн никаких нет? А то поделилась бы со мной — как со старшим товарищем.

Не поднимая глаз на Алимджана, Айкиз пробормотала, совсем смешавшись:

— Тайны? Какие тайны? У меня нет никаких тайн. Все хорошо, Алимджан-ака.

Потом она долго допытывалась у самой себя: соврала она Алимджану или нет насчет тайны? И не могла ответить на этот вопрос. Потому что сама не понимала, что с ней творится, и боялась предположить, что смятение, которое она испытывала, думая об Алимджане, встречаясь с ним, — это и есть самая большая и сокровенная ее тайна...

После вступления в комсомол забот у нее прибавилось. Ей поручили редактировать школьную стенную газету; она руководила звеном школьной полеводческой бригады, которая выращивала пшеницу на богарном участке.

Было время сева озимых. Алимджан частенько навещался верхом на этот участок; спрыгнув с копы, отводил Айкиз в сторону, интересовался, как идут у них дела, не нуждаются ли юные хлеборобы в какой помощи, не трудно ли им совмещать учебу с полевыми работами.

Порой она сама заходила к Алимджану в сельсовет, узнать, о чем говорится в последних сводках, что пишут односельчане с фронта.

Вести и в сводках и в письмах были неутешительные: на всех фронтах продолжались изнурительные бои с фашистами, наши войска отступали, немцы рвались к Москве.

Однажды, в очередном разговоре с Алимджаном, Айкиз, набравшись духа, спросила:

— Алимджан-ака, а почему вы все еще не на фронте?

— А тебе хочется поскорей меня туда спровадить? — невесело улыбнулся Алимджан.

Айкиз хотелось сказать, что она и правда желала бы видеть его на передовой, ведь он такой сильный, отважный, он непременно совершил бы какой-нибудь удивительный подвиг, повел бы своих товарищей вперед, на врага... И вернулся бы с победой.

Но вместо этого она тихо проговорила:

- Нет, отчего же. Вы здесь тоже нужны.
- Там я нужней, Айкиз, я это знаю, и ты права.
- В чем я права?

Он не ответил, а она с испугом подумала: неужели он догадался о затаенных ее мыслях?

Как-то в начале января, когда в классе шел урок алгебры и Айкиз с подругами склонились над тетрадями, решая задачи, дверь неожиданно распахнулась и вошел с газетой в руке сияющий Алимджан. Помахав над собой газетой, он возбужденно, торжествующе проговорил:

— Друзья мои! Я к вам с добрыми вестями. Вот послушайте.

И начал громко читать:

— От Советского Информбюро. Контрнаступление советских войск под Москвой к концу декабря превратилось в общее наступление Красной Армии на всем фронте...

Класс встретил эти слова неистовым «ур-ра!», и несколько минут длилось шумное ликование.

Айкиз вместе со всеми кричала, хлопала в ладоши, подбрасывала вверх свою тубетейку.

Лишь двое в классе оставались внешне спокойными: Алимджан, который только улыбался во все лицо, и старый учитель — он снял свои простенькие очки и платком вытирал глаза.

По просьбе класса Алимджан зачитал сводку еще раз, а потом сказал:

— Вы знаете, газет в Алтынсай приходит мало. Поэтому поручаю вам переписать сводку в нескольких экземплярах и пойти с ней по дворам, прочесть ее каждому алтынсайцу — чтобы все радовались, чтобы у всех стало светлей на сердце!

Да, в это время Айкиз часто приходилось и видаться и разговаривать с Алимджаном.

И все ей казалось, что он не обращает на нее никакого внимания, хотя на самом деле он уделял ей больше времени, чем кому-либо другому.

Сердце у нее замирало, падало при этих встречах, она старалась не смотреть на Алимджана, но против своей воли поднимала глаза и уже не могла отвести их от дорогого лица...

От дорогого? Когда же это Алимджан стал для нее до-

рогим?.. Он ей такой же товарищ, как и все. Старший товарищ. Не больше.

Так одергивала себя Айкиз, а наваждение продолжалось. Смутные вихри все бушевали у нее в душе, и она спрашивала себя: что с ней происходит, почему она перестала владеть своими чувствами? Уверяет себя, что относится к Алимджану так же, как ко всем, но при одной мысли о нем у нее начинает сильнее биться сердце, а когда она видит его, то вообще не знает, что ей делать, куда деваться — от стыда, радости, смятения...

Слово «любовь» она даже мысленно страшилась произнести... И в конце концов заставила себя думать: да, ее тянет к Алимджану, но только потому, что рядом с ней нет ее старшего брата Алишера. Алимджан и заменил ей брата, к нему, как когда-то к Алишеру, всегда можно обратиться за советом, за поддержкой, и ему, как и Алишеру, хочется во всем подражать... Для него Айкиз тоже вроде младшей сестренки, и ни капли это не обидно, и при чем тут какие-то вихри в душе?..

Вот на какую уловку пошла Айкиз, чтобы хоть как-то сдержаться, успокоиться...

Вихри в ее душе вроде бы улеглись, но принесенные ими новые ощущения, мысли, настроение — все это осталось, и она жила теперь и в прежнем и в изменившемся мире.

То новое, что прочно утвердилось в ее сознании и в сердце, странным образом влияло на Айкиз, заставляя ее удивляться самой себе. Она знала: за тысячи километров от Алтынсая, за горами, морями, пустынями, лесами и реками, шло великое сражение за свободу и независимость родины, за все дорогое, что добыто было в послереволюционные годы, за честь и жизнь советских людей... Там лилась кровь, витала смерть, гибли сограждане Айкиз, славные воины, незнакомые, но такие родные и близкие... Там бились с врагом и ее братья. Когда она думала о них, то у нее сердце готово было разорваться от сочувствия и боли... А между этими черными минутами были другие, непонятно светлые, трепетные, когда чудилось, будто то ли вокруг, то ли в ней самой разливается соловьиная песня... Айкиз удивляло, как это могло совмещаться: война, кровь, смерть — и соловьиная песня... Но, незаметно для себя, и сама она начинала тихонько напевать вслух. Песня была с ней, когда она садилась за уроки, когда помогала

матери по хозяйству, разжигая очаг, ставя самовар, накрывая скудный дастархан...

Особенно самозабвенно пела Айкиз, вторя соловьиной песне собственного сердца, когда спешила в горы, к чабанам, к дядюшке Бабакулу, с едой и газетами. Вокруг — ни души, только скалы и пропасти, и голубой простор неба, и не от кого таить свои чувства — даже от самой себя. В эти минуты Айкиз казалось, будто она одна в целом мире со своей песней и нет войны, крови и смерти, все дурное, горькое, страшное словно растворялось в ее песне, звонкой, как ручей, заполнявшей всю душу, песне без названия и слов...

Подчас, когда Айкиз тихо напевала ее для себя, взрослые косились на нее неодобрительно, но она не замечала этих взглядов...

Ее не понимали, она и сама не понимала себя, да больше и не пыталась понять.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подходила к концу долгая-долгая зима. В долинах сошел снег, на богаре, на холмах и увалах, близ гор, уже засверкала на солнце изумрудная озимь.

На южных склонах гор, успевших прогреться, зацвел миндаль.

Айкиз, ехавшая ясным февральским утром на ишаке в горы, к чабанам, первая увидела на небольшой скале облитое розовым цветом миндальное деревце. Оно чуть свисало вниз над крутым каменистым склоном, и снизу казалось, будто у скалы задержалось легкое прозрачное облачко.

Айкиз, оставив ослика на тропе, стала карабкаться вверх по красноватым камням, ей очень хотелось сорвать душистую цветущую веточку. Несколько раз она соскальзывала с гладких валунов, больно ударяясь о них коленями, чуть не в кровь изодрала руки, но наконец все-таки ей удалось дотянуться до нижней хрупкой ветки, она обломила ее, и вдруг снизу до нее донесся громкий оклик:

— Э-эй, Айкиз! Что ты там делаешь?

Это был голос Алимджана, и Айкиз от неожиданности, радости и испуга не удержалась и поползла вниз, цепляясь пальцами за камни, с последнего же валуна вообще сорвалась и упала на землю. Алимджан подскакал к ней на

коне, спешился, взяв ее за руку, помог подняться, участливо спросил:

— Ушиблась?

— И вовсе нет. Только немного поцарапалась.

Он не поверил ей, с легким укором покачал головой:

— Дались тебе эти цветы! Надо же, куда полезла.

— Это же миндаль, Алимджан-ака. Первый миндаль...

— Ну, миндаль от тюльпанов я могу отличить, — улыбнулся Алимджан. — Может, нарвать тебе еще?

— А вы достанете? Вон как высоко он растет!

— Ты ведь достала...

Айкиз, как это часто с ней бывало, почему-то покраснела, но не отводила от Алимджана глаз, опущенных темными ресницами.

Усмехнувшись, Алимджан подвел коня к самому склону скалы, поставил его боком к ней, упершись ногой в стремя, ловко вспрыгнул на седло и, балансируя, вытянувшись во весь рост, ухватился за ближнюю ветку миндального деревца, подтянул его к себе и стал отламывать и кидать Айкиз пушистые, как дым, веточки, — она едва успевала ловить их. Когда веточек набралась полная охапка, Айкиз крикнула:

— Хватит, Алимджан-ака! Куда столько! Это же миндаль, он еще даст плоды.

— А кому их собирать? Они всегда даром пропадают.

Все же Алимджан спрыгнул с коня на землю, приблизился к Айкиз.

— Вон как много у тебя теперь веток! Может, они будут напоминать тебе обо мне...

В голосе его зазвучала грусть, и Айкиз обеспокоенно спросила:

— Почему — напоминать, Алимджан-ака? Вы так говорите, будто куда уезжаете.

— Да, Айкиз. Уезжаю. Пришла и моя пора отправляться на фронт.

— На фронт?

Ветки посыпались из рук Айкиз, а она и не попыталась даже нагнуться и подобрать их, словно и не замечала, как они падают. Еще недавно она все допытывалась у Алимджана, почему он до сих пор не на фронте, и в воображении рисовала его себе бесстрашным, мужественным воином, а теперь, когда она услышала, что его забирают в армию, сердце у нее защемило...

— Это правда, Алимджан-ака?

— А зачем мне врать? На, посмотри.

Он протянул ей сипюю бумажку.

— «Повестка»,— прочла она вслух, изо всех сил стараясь не показать, как дрожат у нее руки.

Повеселевшим тоном Алимджан проговорил:

— Завтра к девяти утра явиться в военкомат. Вот так, Айкиз. Настал и мой черед.— И добавил усмешливо: — А ты боялась...

Айкиз, словно окаменевшая, стояла перед Алимджаном, подняв на него растерянные глаза, а он все так же бодро продолжал:

— Вот езжу, прощаюсь со всеми. Заглянул к тебе домой, мне сказали, что ты пошла к чабанам. Слава богу, нагнал. До свидания, Айкиз. Вспоминай обо мне иногда. Я тоже буду о тебе вспоминать, ты славная девочка... Воюй тут за хлеб, за пятерки. Поднимай своих комсомольцев на большие дела — на фронте это скажется. Будь счастлива, Айкиз!

— До свидания, Алимджан-ака,— чуть слышно произнесла Айкиз,— пусть минуют вас пули.

Он пожал ее руку, холодную, как лед, вскочил на копы и поскакал к кишлаку.

Айкиз не помнила, как она села на своего ослика, как добралась до отар, о чем говорила с дядюшкой Бабакулом...

На обратном пути, уже приближаясь к кишлаку, она вспомнила о цветущих ветках миндаля, которые выросла возле скалы, и долго смотрела на свои пустые руки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Проводив Алимджана, Айкиз жила надеждой, что он пришлет письмо прежде всего ей. Айкиз хотелось, чтобы это было именно так! А Алимджан писал своим родителям, сестренке Лоле, председателю колхоза Кадырову, а о ней словно забыл. И Айкиз с обидой и печалью повторяла про себя последние слова Алимджана: «Я тоже буду о тебе вспоминать...» Оказалось, пустые это были слова,— так, дань обычному прощальному ритуалу... А опа-то возомнила бог весть что!..

Соловьиная песня в сердце у Айкиз умолкла... И сама она больше не пела. Дел у нее было сверх головы, они от-

влекали Айкиз от грустных мыслей, но как только выпадала свободная минутка, ее охватывала тоска...

От Алишера и Тимура вести приходили, но редко. Обычно это были письма очень короткие, они умещались на одной стороне тетрадного листа, потому что на другой надо было вывести адрес. Писали братья, видно, наспех, химический карандаш торопливо бегал по бумаге.

Айкиз, которая вызвалась развозить письма, потому что работников на почте не хватало, сама являлась домой с заветными треугольниками — и тогда в семье наступал праздник. Письмо, которое Айкиз первой успевала прочесть на почте, в районном центре, дома читалось множество раз. В таких случаях у Умурзаковых собирались и соседи, они тоже жаждали послушать, что пишут с фронта Алишер и Тимур. Иные, посидев немного, пережив про себя каждую строчку, молча уходили, другие засиживались допоздна, и разговор вращался вокруг одной темы: когда же кончится война?

Айкиз казалось, что у каждого письма, полученного с передовой, как у людей, своя судьба, свой облик и нрав... От одного письма пахло порохом и лесными дождями, от другого пылью дорог, от третьего горьковато веяло йодоформом... Они вмещали в себя и кровь, и гул батарей, и сухие степные грозы, и сырость окопов...

Письма, фронтовые письма! Как долг и труден их путь!.. Он начинался за тысячи километров от мест, куда письма были адресованы, тянулся сквозь разрывы рядов и пулеметный огонь, дым пожаров и грохот бомб... Потом скромные треугольнички писем, уложенные в пеньковые мешки, везли в грузовиках по тряским ухабистым дорогам, то заснеженным, то размытым, через степи и леса, на станциях их перегружали в почтовые вагоны, и поезда шли тоже под бомбежками, одолевая не только немислимые расстояния, но и половодья и снежные бураны, одолевая войну. Дальше эти письма, изведав всю меру трудностей, которые несла с собой война, снова подрагивали в машинах и, наконец, попадали в сумки почтальонов.

А некоторые — в шерстяной полосатый хурджун, перекинутый через спицу ослика, на котором разъезжала Айкиз.

Первое время Айкиз охотно исполняла роль почтальона, ей нравилось радовать людей весточками с фронта.

Однажды поздней осенью, в сильный дождь, Айкиз постучала в дверь дома своей одноклассницы Кумрихон. Когда ей открыли, она, держа руку с письмом за спиной, весело и звонко проговорила:

— Кумрихон! С тебя суюнчи!.. Я жду!

Долго она испытывала терпение подруги, но наконец сжалась над ней и протянула письмо.

Письмо выглядело несколько необычно: это был не треугольник, а конверт, причем такой тонкий, словно внутри он был пуст.

— Ну, где же твоё суюнчи? — все подзадоривала подругу Айкиз. — Ведь письмо паверняка от Иргаша!

Кумрихон обычно быстро, нетерпеливо разворачивала солдатский треугольник и, едва успев пробежать глазами первые строчки, начинала плясать и петь от радости, звала мать, отца, младшего братишку и, притапцывая, прочитывала им письмо.

Но на этот раз Кумрихон осторожно взяла в руки письмо и медлила его распечатывать. Ее пугало, что оно было в конверте и адрес на нем был выведен незнакомой рукой. Она глянула на Айкиз, словно ища у нее совета и поддержки, та ободряюще кивнула подруге: ну, что же ты, вскрывай! Кумрихон нерешительно надорвала краешек, достала из него аккуратно сложенный листок и когда развернула его, то побледнела, лицо у нее сделалось какого-то серого, пепельного цвета, с пронзительным криком вцепилась она руками в волосы, а потом стала бить себя кулаками по голове, странно раскачиваться из стороны в сторону, ничего не слыша и не видя вокруг.

Листок, который она выпустила из рук, упал на пол. Айкиз подняла его, взгляделась и побледнела. Это была похоронка, извещавшая о гибели Иргаша...

Растерянная, ошеломленная, Айкиз стояла посреди комнаты, не зная, что делать, что сказать подруге, чем утешить ее... Она чувствовала себя так, будто сама была виновата в смерти Иргаша, — ведь это она принесла в дом Кумрихон страшную весть...

После этого Айкиз отказалась разносить письма, и ее обязанности целиком приняла на себя Елена Никитична Горышева, работавшая почтальоном, — ей по должности полагалось ходить от дома к дому с письмами, независимо от того, какие вести в них содержались...

Айкиз ей довелось порадовать, и это случилось спустя



год после памятной встречи Айкиз и Алимджапа у скалы с цветущим миндалем. Теперь деревце расцвело снова.

Айкиз возвращалась в кишлак с богары, где она осматривала озимые, посеянные школьной бригадой.

Когда она миновала колхозный сад, еще голый, сквозной, просматривавшийся из конца в конец, то увидела на дороге, ведущей к кишлаку, Елену Никитичну Горышеву. У Айкиз замерло сердце: с некоторых пор она боялась встреч с почтальоншей. Но Горышева улыбалась, издали она поманила Айкиз пальцем, потом достала из сумки белый треугольник и помахала им в воздухе — Айкиз показалось, будто это голубь взлетел вверх. Она со всех ног припустилась к почтальонше, потянулась за письмом, уверенная в том, что это весточка от Алишера или Тимура. Горышева спрятала треугольник за спину.

— Э, дочка, ты хочешь просто так его получить? Не выйдет. Сначала — суюнчи!

— Тетя Лена, у меня с собой нет ничего! Пойдемте к нам, я вам что хотите подарю.

— Да я шучу. Недосуг мне по гостям-то расхаживать. И без суюнчи обойдусь, только, дочка, сплясать тебе все-таки придется. Ну, пляши!

Ради того, чтоб поскорей получить в руки заветное письмо, Айкиз готова была на все. Она пустилась вокруг Елены Никитичны в веселый пляс, прищелкивая пальцами и прихлопывая в ладоши.

— Ладно уж, хватит, — смилостивилась Елена Никитична. — Забирай свое письмо.

Как только Айкиз взглянула на обратный адрес, у нее все поплыло перед глазами, строчки на конверте словно подернулись туманом, а когда она наконец пришла в себя и хотела поблагодарить Елену Никитичну, той уже рядом не было... Айкиз прижала письмо к груди, еле слышно прошептала:

— Ой!.. Алимджан-ака...

Ей сейчас же, немедленно хотелось вскрыть письмо, но она сдержала себя. Нельзя такое письмо читать прямо на дороге! Надо найти укромный уголок, где ее никто бы не мог увидеть, потревожить. Ведь самое сокровенное переживают наедине с собой...

Она долго думала, куда бы ей укрыться, а потом вспомнила о скале с цветущим миндалем, — это было самое подходящее место, ведь там она прощалась с Алимджаном. Сейчас же Айкиз чувствовала себя так, будто ей предстояло новое свидание с ним... Где им еще и встретиться, как не под памятным миндальным деревцем!..

Но до него было так далеко! А письмо жгло ей пальцы... И Айкиз, пробежав в глубь сада, прислонилась спиной к стволу яблони, развернула треугольник и впиалась глазами в строчки письма...

«Здравствуй, Айкиз! — так оно начиналось. — Помнишь ли ты своего односельчанина, старшего товарища по комсомольским делам Алимджана?»

Я сейчас далеко-далеко от нашего родного Алтынсая. Так далеко, что даже не верится, будто есть на земле такой райский уголок, тихий, солнечный, мирный... Может, мне вообще только приснилось, что когда-то я жил, работал там и не было войны, не было кровавых боев?..

От Алтынсая меня отделяют тысячи километров. Между нами лежат глубокие снега, необозримые равнины,

широкие реки, дремучие непроходимые леса. Я в такой дали от родных мест, что порой мне кажется, будто все обо мне там забыли. И славная девочка Айкиз — тоже...

Тут ведь совсем другой мир. С грохотом падают бомбы, ухает артиллерия, трещат пулеметы, кричат, стонут раненые... Как поверить в этом нечеловеческом шуме и грохоте, что где-то есть тишина... И дорогой моему сердцу Алтынсай. И спокойное небо. И розовое миндальное деревце на скале, возле которой я разговаривал с маленькой неутомимой труженицей, с Айкиз.

Я часто вспоминаю об этом, и воспоминания придают мне силы, помогают выдержать невыносимое напряжение войны. Впрочем, как это ни странно, я привык к своей ратной жизни, и от тишины, наверно, просто оглох бы...

Айкиз, а то деревце, наверно, опять расцвело? Навещаешь ли ты его? Напиши мне об этом. И в планы свои посвяти. Собираешься ли ты все-таки после школы идти в институт? Или останешься работать в колхозе? Как бывший секретарь и сельсовета и колхозной комсомольской организации, я бы без колебания посоветовал: готовь себя к институту. И учись на агронома. Учиться ведь можно и заочно, продолжая помогать колхозу. Война кончится, и колхоз будет остро нуждаться в специалистах, да и во время войны в них ощущается особая нехватка. Учись, Айкиз, учись!.. Ради того мы ведь и воюем — чтобы такие шустрые девочки, как ты, могли учиться...

Подробнее пиши мне обо всем, что происходит в Алтынсае. Как вы все живете, трудитесь? Я давно не получал писем из дома, и мне все интересно. Весточки из Алтынсая приближают меня к нему...»

Дальше Алимджан просил передать привет всем землякам и заключал письмо коротким, скупым «до свидания».

Дочитав письмо, Айкиз повертела его в руках, словно ища продолжения, но больше в нем не было ни слова. Она чуть огорчилась, но чувство это тут же исчезло, как роса под лучами солнца. Сердце ее до краев переполняла радость. Алимджан написал ей! Алимджан вспомнил о ней!..

Вновь зазвенела соловьиная песня, поднявшись откуда-то из глубины души и растворив в себе все звуки мира. Только эту песню и слышала Айкиз и невольно зашевелила губами, подпевая...

Необходимо было немедленно ответить Алимджану.

Ей не хотелось терять ни минуты, ведь он просил Айкиз написать ему.

Днем, однако, у нее не нашлось свободного времени, и Айкиз еле дождалась вечера.

После ужина она уединилась в своей комнатке, подлила в лампу керосина, пристроилась за столом, возле незанавешенного окна, выходившего в темный двор, и принялась за письмо...

Каждая строчка давалась ей с трудом, потому что она никак не могла справиться с чувствами, теснившимися в груди. Ее бросало то в жар, то в холод. Лицо горело, а руки были ледяные, она прикладывала их к пылавшим щекам, желая унять жар, но щеки остывали сами по себе, и Айкиз начинал бить озноб. Тогда она вставала, надевала черную бархатную безрукавку, постепенно согревалась, и вскоре ее опять будто пламя охватывало, приходилось даже открывать окно.

Среди ночи ее напугал петух. Он спал на урюковом дереве и вдруг хрипло закукарекал спросонья, захлопал крыльями, задевая ветки. В разных концах кишлака откликнулись другие петухи. Большею частью ночные «солисты» надрывались кто во что горазд и перебивали друг друга, но иные, словно объединившись в хоры, голосили слаженно и дружно. Другим животным тоже, видно, показалось, что они прозевали урочное время, и в кишлаке поднялся страшный шум. Залаяли собаки, и ишаки вопили так истошно, надрывно, словно их резали.

«А Алимджан мечтает о тишине! — с легкой улыбкой подумала Айкиз. — Вот тебе и тишина!» Но тут же она с полной серьезностью рассудила, что ведь и шум бывает разный. Гомон, который учинила домашняя живность, был естественный, благодатный; наверно, Алимджан рад был бы услышать и рев алтынсайских ишаков и петушиное пенье... Все это часть мирной жизни кишлака, голоса самой природы... А бомбы, пушки, пулеметы придуманы людьми, чтобы убивать друг друга...

Неожиданно нарушители ночного спокойствия все разом замолчали, и кишлак окутала тишина, мягкая, таинственная и такая чуткая, что Айкиз даже почудилось, будто она слышит, как на тополях, росших на улице, лопаются почки... Она поднялась, вышла во двор и, затаив дыхание, боясь пошелохнуться, стала прислушиваться к тишине.

С урючины с шелестом полетел вниз, касаясь ветвей,

сухой лист, оставшийся еще с прошлого года. Стоя возле сарая, ишак почесался боком о стену. Лениво залаяла собака в соседнем кишлаке...

Тишина была живая, она словно дышала...

Вернувшись в комнату, Айкиз перечитала написанное и недовольно поморщилась: нет, не то!.. Как-то все сухо, словно это отчет, а не письмо, и нескладно...

Она вырвала из тетради свежий листок, задумалась... Может, написать ему, что сейчас ночь и в Алтынсае такая тишина, что слышно, как лопаются почки?.. Или поведать про миндальное дерево на скале, — ведь Алимджан спрашивал о нем. Хоть они год назад изрядно его обломали, но оно расцвело пышнее прежнего. И пустило новые веточки. А может, рассказать, как она встретила Елену Никитичну и как обрадовалась письму Алимджана? И как хотелось ей побежать к заветному миндальному деревцу, чтобы там прочитать это письмо?

Пока Айкиз раздумывала, лампа стала гаснуть. Пришлось сходить в маленькую переднюю, где стоял бидон с керосином. Торопясь, Айкиз ухватила ламповое стекло голыми пальцами, успела вынуть его, но обожглась и кинула стекло на пол... Она дула себе на пальцы, а проснувшаяся мать ворчала: стекло-то теперь приобрести не так просто, надо ехать за ним в район, на базар, и потратить немалые деньги... Понимая, что мать права, Айкиз помалкивала... Будет теперь хлопот с этим стеклом. Как это она не удержала его. Подумаешь, горячее — можно было и потерпеть. Тихонько подобрав с пола осколки, Айкиз выбросила их, засветила коптилку и снова уселась за стол. Писала она долго, в окне уже забрезжил синий рассвет, а она все водила пером по тетрадным страницам...

Возможно, из-за того, что она была расстроена историей с лампой и недовольна собой, письмо получилось все-таки суховатым, деловым — для лирических излияний в нем не нашлось места. Айкиз подробно доложила Алимджану о том, что делается у них в колхозе: виды на урожай хорошие, в отарах получен большой приплод, колхозники заложили новый виноградник, построили птицеферму, правление приняло также решение разводить свиней, но никто не захотел возиться с ними, и Кадыров махнул рукой на это важное дело... Он вообще равнодушен ко всему новому, а может, просто не знает, как за это

повое взяться. Тут Айкиз даже порассуждала немного: Кадырову ведь не хватает образования, он больше полагается на свой опыт и, как всякий практик, держится за то, к чему уже привык, в чем преуспел.

В конце письма Айкиз поблагодарила Алимджана за его заботу о ней и за совет учиться. Она и сама понимает, что учиться необходимо, и ей очень хочется поступить в институт, но сейчас в колхозе каждый человек на учете, она здесь нужней, и, видимо, придется ей все-таки заниматься в институте заочно. Многие говорят, что нелегко это будет — одновременно и учиться в институте и трудиться в колхозе. Но ее это не пугает, ей к такому «совмещению» не привыкать: ведь все последнее время она и работала и училась. Да, нелегко это, но разве на фронте легче?.. Сейчас каждый должен чувствовать себя бойцом и все свои силы отдавать делу победы. Ведь так?..

Все же она не удержалась и, прощаясь с Алимджаном, передала ему привет от миндального деревца...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Айкиз в очередной раз отправилась в горы, к чабанам. Ишак, как всегда, то и дело останавливался ни с того ни с сего, оглядывался, прислушивался к чему-то, чуть шевеля длинными прямыми ушами с серыми кисточками на концах, и внезапно раздражался оглушительным ревом, похожим на прерывистые рыдания. Эти его неожиданные остановки и истошный рев выводили Айкиз из себя. Противный упрямец! Во всем мире не было такой упрямой, своенравной скотины!

Когда на ишака, непонятно почему, находило упрямство, то никакими силами нельзя было сдвинуть его с места. Айкиз сердилась, называла его лентяем, хлестала что есть мочи хворостиной, подталкивала руками сзади, а он все торчал на дороге, словно каменный, и рыдал неизвестно над чем до тех пор, пока сам не уставал от своего крика. Опять-таки непонятно отчего, он вдруг успокаивался и мелкой, нетряской рысцой бежал дальше.

И Айкиз тогда жалела своего ослика, поражаясь терпеливости и безропотности, с какими он семенил по горным тропам с тяжелой ношей на спине.

Вот они и на перевале.

Сколько раз в детстве Айкиз босиком пробегала по этой тропе, сколько раз в последние годы проезжала здесь на своем длинноухом!.. Наверное, если бы даже никто больше тут и не проходил и не ездил, то и одной Айкиз удалось бы вытоптать узкую тропинку через перевал. Ей все здесь было знакомо, каждый крутой поворот тропы, каждый камень, каждый куст...

Казалось, вечно, из года в год, зеленел вот тот боярышник, а вои там желтела душистая полынь... А вот и валун, под которым она нашла краденое зерно...

Дорога убаюкивала, в голову лезли праздные мысли. Интересно, сколько километров прошла и проехала Айкиз по этой тропе? Наверное, несколько тысяч. Ведь она часто навещала дядюшку Бабакула, да и просто так наведывалась в горы...

А сколько времени минуло с тех пор, как она отправила письмо Алимджану? Ну-ка посчитай на пальцах, Айкиз. Что получилось?.. Ровно двадцать два дня. Пересчитай-ка еще раз, не ошиблась ли ты... Раз, два, три...

Привычно покачиваясь в такт мягким шагам ишака, Айкиз принялась снова загибать пальцы на руках. Нет, точно, двадцать два. На скале тогда цвел наш миндаль...

Произнеся про себя это «наш», Айкиз вдруг почувствовала, как жарко вспыхнули у нее щеки.

Чтобы отвлечься от этих смущающих ее мыслей, она слегка вытянула ослика хворостинкой и крикнула:

— По-о, негодный! Что плетешься, как черепаха? Поторопись, лодырь несчастный!

И, чуть нагнувшись к длинным торчащим ушам ослика, принялась проникновенно увещевать его:

— Ты пойми, упрямец, в хурджуне у нас еще теплые лепешки, хасиц, сладкая кукуруза. Всю эту вкусноту ждут чабаны, а ты еле ногами перебираешь. Поспешим, а?

Неожиданно капля дождя упала ей на смуглую руку. Айкиз подняла голову, взглянула на небо и озабоченно сдвинула брови.

За раздумьями да подсчетами она и не заметила, как в горах собралась гроза. Вершина Коктау сплошь была окутана густыми темными тучами. Они мрачно клубились, ворочались, их рваные космы сползали вниз по склонам, цепляясь за жесткие колючие кустарники. Не прошло и минуты, как все окрестные горы и холмы утонули в хмуrom, свищово-сером тумане.

Уже недалеко было до лощины, где паслись отары, но Айкиз ничего не видела перед собой. Она прислушалась — не донесется ли до нее блеяние овец, но вокруг стояла тяжелая тишина, и только дождь шелестел, пока еще редкий...

И вдруг в небе над ней словно прорвало плотину, и на Айкиз разом обрушились потоки воды. Дождь шел на нее плотной стеной, и, захлебываясь, она крикнула:

— Но-о, дурень! Боже, ему и дождь нипочем, плетется как ни в чем не бывало!..

Ливень пизвергался с такой силой, что под ударами тугих струй мелкие камни на косогоре разлетались во все стороны, а по тропе уже бежал с шипением мутный ручей. От ровного шума, переходящего в грозный гул, заложило уши...

Айкиз вмиг промокла насквозь. Легкое зеленое платье прилипло к телу.

А осел, как назло, остановился. Бог весть, что у него было в голове, — может, он ждал, что Айкиз повернет назад, а может, его охватила безнадежность. Так или иначе, но Айкиз, которая чуть не заплакала от досады, долго пришлось кричать, дергать уздечку, размахивать хворостиной, пока наконец упрямец не сдвинулся с места.

Несколько раз он вот так упирался, Айкиз гнала его вперед, выбиваясь из сил.

Ее начало знобить, она вся дрожала.

Ишак, скользя по размытой тропе копытами, с трудом взобрался на один холм, потом на другой, — отары нигде не было видно.

Спереди, сзади, с боков отвесной стеной падал дождь.

Ослабевшим голосом Айкиз позвала:

— Дядя Бабакул!.. Где вы?..

Тихий оклик ее растворился в шуме ливня.

Она спустилась в ложбину, снова закричала, — ни звука в ответ.

Ее уже так трясло и зубы так стучали, что она не могла больше кричать, только всхлипывала изредка.

Наконец впереди, на склоне холма, словно из тумана, возникла фигура дядюшки Бабакула и тут же исчезла. «Померещилось, — подумала Айкиз со страшным безразличием. — Я, наверно, заблудилась...»

Но дядюшка Бабакул уже бежал ей навстречу, всплескивая руками...

К вечеру он привез Айкиз, которую закутал в свой

тулуп, домой и быстро, с тревогой сказал, обращаясь к Умурзаку-ата:

— Скорей бери коня, Умурзак, самого резвого, и скачи в район за доктором. Айкиз наша... совсем плоха...

— Доченька... Открой глазки, доченька... Погляди на меня. Не убивай нас...

Так, полушепотом причитала Халбиби, стоя над Айкиз. Стянув с головы платок, она вытирала им слезы, которые ручьем лились из покрасневших глаз.

Умурзак-ата молчал, только морщился, словно от невыносимой боли.

Халбиби готова была разрыдаться в голос, но присутствие мужа сдерживало ее, и как только рыдания подкатывали к самому горлу, она платком крепко зажимала рот.

Айкиз была лихорадка. На бледных щеках пылал жаркий, кирпичного цвета румянец, кожа сделалась тонкая и сухая, запекшиеся губы были полуоткрыты, и виднелась белая ниточка зубов.

Она болела вот уже вторую неделю.

Умурзак-ата сразу же привез к ней врача, пожилую женщину-узбечку, грустную, неразговорчивую, с редкой серебристой сединой в черных волосах, выбивавшихся из-под белой шапочки и вившихся на висках. Осмотрев Айкиз, она печально покачала головой:

— Воспаление легких. И в очень тяжелой форме...

Больше она ничего не сказала, вернее, не захотела сказать, тут же стала уверять совсем потерявшихся Халбиби и Умурзака-ата, что нет причин для особого беспокойства: молодой организм сумеет справиться с болезнью, как бы ни была она опасна, однако при этом так смотрела на стариков своими внимательными, грустными глазами, что они без труда прочитали в них то страшное, что докторша старалась утаить.

Правда, и они боялись говорить и думать об этом страшном... И только когда каждый оставался наедине с собой, то мысли, не высказанные вслух, обдавали ледяным холодом, и страх простирал в их душах черные крылья и гнал к постели дочери...

Айкиз по несколько раз в день навещали ее подруги, они входили в комнату на цыпочках, осторожно присаживались возле больной на краешек стула и молчали, втай-

не страшась за Айкиз, но тоже не решаясь хоть словом обмолвиться о своих тревогах...

Халбиби, та вообще почти не отходила от дочери. Вторую неделю не смыкала она воспаленных глаз, и все текли, текли слезы по ее морщинистым щекам. Порой Умурзак-ата ласково брал ее за плечи, уводил в другую комнату, просил охрипшим голосом:

— Ляг, поспи хоть немного. Нельзя же так, ты совсем себя изведешь. Поспи, а я посижу возле нее...

Она смотрела на него непонимающе, словно и не слышала, что он ей говорил. Глаза ее медленно наполнялись слезами, и, уронив голову на грудь мужа, Халбиби шептала прерывисто, сотрясаясь от беззвучных рыданий:

— Я должна быть там, с ней... Я боюсь...

Умурзак-ата гладил ее по плечам, по спутанным волосам своей жесткой, в сухих мозолях, ладонью.

— Не бойся за нее, она сильная и скоро выздоровеет.

— А вдруг... когда я буду спать... она...

Плечи Халбиби так и ходили у него под ладонью, она уже всхлипывала не переставая... Умурзак-ата и сам готов был расплакаться, как малый ребенок, к горлу подкатывал горький комок, и трудно было и говорить и дышать, и все же он превозмогал себя, хрипло кашлял и строго, каким-то чужим, глухим голосом внушал жене:

— Ты брось это. Слышишь? Выкинь эти мысли из головы! Тебе надо соснуть хоть часок. А с дочкой я посижу.

Но на Халбиби не действовали никакие уговоры. Она стелила возле постели Айкиз курпачу, пристраивалась на ней и ненадолго затихала, а через некоторое время поднималась и, устремив на больную взгляд, полный страха и муки, опять принималась за свои причитания. Уж, кажется, она все глаза выплакала, а слезы все бороздили ее щеки, совсем запавшие от горя.

Однажды под вечер Умурзак-ата пришел домой возбужденный, он с шумом распахнул двери и с порога окликнул жену:

— Халбиби!..

Она не отзывалась, и Умурзак-ата, не снимая своего черного стеганого халата, направился было в комнату, где лежала Айкиз, но оттуда появилась Халбиби, проговорила остерегающим шепотом:

— Ты что это раскричался, отец? Или позабыл, что в доме больная?

— Так я тихо позвал... Уж очень хотелось поскорей порадовать.

Халбиби так и вскинулась:

— Ох, отец, не томи! Что за радость такая?

— Письмо пришло от нашего Алишера!..

Комната поплыла перед глазами Халбиби.

— От сыночка?

— Да. И еще — от Алимджана. — Умурзак-ата поднес конверт к глазам. — Тут написано: «Для Айкиз». Ишь ты, нашей дочке отдельно пишет!

— Где же письмо Алишера?

Старик протянул ей белый треугольник:

— Вот.

— Такое маленькое? От Алимджана-то вроде побольше.

— Да нет, одинаковые они. Солдатские письма, мать, да еще с фронта, длинными не бывают.

Халбиби поцеловала письмо Алишера, прижала его к закрытым векам, а потом к груди.

— От сыночка... — прошептала она счастливо и пылливо глянула на мужа. — А точно ли от него?

— От него, мать, от него!

— Ох, если бы дочка могла его нам прочитать!

И вдруг до них донесся слабый голос:

— Мама, отец, о чем вы тут? Письма пришли, да?

Ошеломленные старики обернулись и увидели Айкиз, которая стояла на пороге своей комнаты в одной рубашке, босиком, с распущенными черными волосами. Сейчас, когда она поднялась с постели, было особенно заметно, как же она похудела.

На лицах Халбиби и Умурзака-ата отразились радость, испуг, тревога. Халбиби чувствовала, как от счастья и страха у нее слабеют и подкашиваются ноги.

— Дочка! Ты встала?.. Зачем же ты это сделала, рано тебе еще. Идем, идем, тебе полежать надо, ты совсем еще слабая, вай, да от тебя одна тень осталась!..

Халбиби уговаривала дочь, словно малое дитя. Обхватив ее рукой за талию, тонкую-тонкую, она увела Айкиз в комнату и уложила в постель.

За ними, по блаженно улыбаясь, то хмурясь обеспокоенно, проследовал на цыпочках Умурзак-ата. Он так и забыл разуться и старался не греметь большими неуклюжими сапогами.

Айкиз, устроившись в постели, протянула руку за письмами.

— Давайте я читаю. Это от братьев?

— Вот это от Алишера, — мать отдала ей один из треугольников. — А это от Алимджана.

Бледное лицо Айкиз вдруг стало пунцовым, как мак; она выхватила из рук матери второй треугольник, спрятала его под подушку, а письмо от Алишера развернула и приготовилась к чтению.

— Только не утомляй себя, дочка, — предупредила ее мать. — Как хуже себя почувствуешь, так скажи нам. Письма-то и после можно дочитать.

— Мне хорошо, мама. Мама, мне так хорошо!.. — Айкиз приняла позу поудобней. — Ну, слушайте.

Она прочла письмо Алишера не останавливаясь.

Старики слушали ее стоя, затаив дыхание, боясь пошевелиться. У Умурзака-ата вскоре затекли ноги, но он не решался переступить ими, чтобы не громыхнуть сапогами, замер, всем телом подавшись к Айкиз, и только изредка почесывал в бороде указательным пальцем. Халбиби держалась одной рукой за спинку кровати, а в другой зажимала конец головного платка, которым зачем-то прикрывала рот. Она чутко вслушивалась в каждое слово, а когда письмо было дочитано, встрепенулась, словно птица в гнезде после крепкого долгого сна, бросилась к стулу, подставила его мужу, а сама опустилась рядом на курпачу и попросила:

— Дочка, прочти-ка еще раз. Только помедленней, а то я половины не поняла.

Айкиз принялась читать письмо снова, теперь уже неторопливо, с выражением, делая паузы после каждой фразы.

От письма Алишера веяло бодростью, весельем. Видно было, что он доволен собой. Он подробно описывал, как три раза ходил в разведку, за «языком».

— За каким таким языком? — переспросила Халбиби.

— Мама, «язык» — это фашист, которого наши разведчики берут в плен. Ну, а тот рассказывает, что делается в его части, какие планы у командования.

Халбиби поморщила лоб, вздохнув, сказала:

— Ладно, дочка, читай дальше.

— «Первый раз, — писал Алишер, — нас постигла неудача: группа разведчиков, среди которых был и я, наткнулась на немцев, приняла бой и с потерями вернулась назад».

— Что же они там потеряли, — опять прервала дочку Халбиби. — Ружья свои, что ли?

— «С потерями» — это значит, они потеряли людей, — строго пояснил Умурзак-ата. — Поубивали фашисты наших разведчиков.

— Вай-вай! — Халбиби всплеснула руками. — А Алишера-то нашего не убили?

— Раз письмо написал, — значит, живой. Не мешай, мать, пусть читает. Продолжай, дочка.

Далее Алишер сообщал, что во время второй вылазки ему самому удалось взять «языка», но когда он сбил немца с ног и набросил на него плащ-палатку, то проклятый фашист так завопил, что переполошил всю округу. «Мне бы надо было заткнуть ему рот тряпкой, которой я специально запасся, сунув ее в карман, но я сгоряча забыл про нее. Немец барахтается у меня под брезентом, я зажигаю ему рот ладонью и все не могу никак вспомнить про эту тряпку. Тут поднялась пальба, я еле дотащил фашиста до наших окопов, да только уже мертвого: по пути осколок мины угодил ему в затылок».

Халбиби опять засыпала дочь вопросами: что такое плащ-палатка, зачем надо было набрасывать ее на фашиста, почему Алишер волок его на себе, а не заставил немца идти впереди, пригрозив ему «ружьем»... Много неясного было для нее в письме Алишера, одно она понимала: что ее сын — храбрый воин... И гордость за Алишера переполняла ее сердце.

В третий раз Алишеру повезло. Он доставил на наш командный пункт не кого-нибудь — фашистского офицера!

Только нелегко далась разведчикам эта операция. Метров двести им пришлось ползти к немцам по-пластунски, в белых халатах, увязая в снегу. Они благополучно миновали минное поле, преодолели проволочные заграждения. Трудная дорога заняла всю ночь, лишь под утро они подобрались вплотную к фашистскому блиндажу, ворвались в него, устроили там переполох. Воспользовавшись шумом и паникой, когда кругом трещали автоматы, гремели взрывы гранат, истошно, как ишаки, орали немцы, Алишер успел взять «языка» и уволок его довольно далеко

от немецких позиций. Там он дождался своих товарищей, которые, к счастью, все вернулись целыми и невредимыми.

Трое участников этой успешной операции, в том числе и Алишер, были представлены к правительственным наградам.

Халбиби, слушая Айкиз, все качала головой:

— Товба!.. Надо же, такой страх пережить. Это что же, значит, наш Алишер схватил немецкого басмача голыми руками?

Умурзак-ата посмотрел на нее с досадой.

— Мать, ты, видно, самое главное прослушала. Ведь наш Алишер представлен к правительственной награде. К ордену!

— Товба! К ордену? — Халбиби важно кивнула. — Это правильно. Сынок заслужил награду. Наш Алишер — герой!

Халбиби повернулась к мужу и невольно залюбовалась им. Он сидел на своем стуле, горделиво выпрямившись, и стал словно выше ростом, шире в плечах, а глаза светились счастливо и молодо.

«Как же им не быть героями, моим орлятам, — тепло подумала Халбиби, — если у них такой отец. Орел, прямо орел!»

— Почему я не рядом с ними, отец? — с какой-то тоской проговорила Халбиби.

— Вай! Желушке моей на фронт захотелось! — улыбнулся Умурзак-ата. — Что бы ты там делала, старая?

Однако и Халбиби в этот миг не выглядела старой. Помолчав, она пожала плечами, грустно сказала:

— Право, не знаю... — А потом задорно вскинула голову, и глаза ее сверкнули, и голос прозвучал по-молодому твердо, бодро: — Я бы... сама за этим басмачом отправилась. И раз уж так надо, притащила бы его на закорках к нашим бойцам. А они отдохнули бы малость...

Умурзак-ата и Айкиз от души расхохотались. Старик смеялся громко, залиvisto, вытирая мокрые глаза скрюченным указательным пальцем, а у Айкиз, которая сидела в постели с вытянутыми ногами, плечи тряслись от смеха, голоса же почти не было слышно, болезнь все-таки сильно ее скрутила...

И все поглядывала она на другой треугольник, торчавший из-под подушки. Адрес на нем был написан черниль-

ным карандашом, буквы были крупные, неуклюжие — их вывела, видно, уставшая, натруженная рука. Скромная приписка: «Для Айкиз», чуть размытая каплями дождя, невесть где и как упавшими на письмо, давно уже приковала к себе внимание больной, но она почему-то медлила вскрывать письмо...

— Дочка, а теперь почитай письмо от Алимджана, — напомнил ей Умурзак-ата.

Айкиз быстро взглянула на него, зардевшись, опустила ресницы.

— Можно, я его потом почитаю?

— Что, дочка, опять занедужилось? — встревоженно спросила Халбиби. — Ты приляг, отдохни.

— Нет, мама, мне хорошо.

Судя по живому блеску глаз, Айкиз действительно чувствовала себя неплохо, но все же она провела ладонью по лбу и, потупясь, тихо сказала:

— Голова вот только немного закружилась... Я после его прочту, ладно?

Старики непонимающе переглянулись: с чего это дочка так смешалась?.. Умурзак-ата, сдержанно кашлянув в кулак, разгладил пальцами усы и потянул жену за рукав:

— Пойдем, мать, Айкиз, видно, устала. Пойдем.

И они ушли, оставив дочь наедине с заветным письмом...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дождь лил вторые сутки.

И вторые сутки батальон, в котором воевал Алимджан, бился за деревню Глуховку, занятую немцами. Их надо было вышибить из деревни любой ценой, во что бы то ни стало — таков был приказ, да и сами бойцы жаждали поскорее попасть в теплые избы, обогреться и обсушиться.

Но как только батальон поднимался в атаку, два немецких дзота, затаившиеся в перелеске перед деревней, обрушивали на него огненный смерч, и бойцы откатывались назад, в свои окопы и траншеи, размытые дождем, залитые мутной холодной водой.

Уже больше не верилось, что где-то на земле сухо, тихо, тепло, и светит солнце, и пули не рвут воздух...

«Неужели же существует где-то райский уголок — Алтынсай? — спрашивал себя Алимджан, глядя, как с раскисшего земляного бруствера струйками стекает в

окоп желтая вода. — И там живет Айкиз? Неужели это правда? Что-то она сейчас делает? Может, разжигает в тандыре огонь, чтобы испечь лепешки, и думает обо мне?»

Да, горячие лепешки... Алимджан втянул в себя носом сырой холодный воздух и зажмурился. Его лицо, поднятое кверху, мокрое и серое, словно высеченное из гранита, с минуту оставалось неподвижным. Казалось, он не чувствовал, как по лицу хлестал дождь, только чуть вздрагивали влажные сомкнутые ресницы.

— Алимджан! — позвал боец из соседнего окопа. — Смотри! Четвертый пополз.

Алимджан быстро открыл глаза, высунулся было из окопа, но тут же снова присел, почти касаясь бруствера подбородком.

Как всегда, когда ему случалось подолгу торчать в окопах, Алимджан проделал в бруствере небольшую канавку, чтобы удобно было вести наблюдение за всем, что происходило впереди, а также стрелять из автомата, который он укладывал дулом в эту канавку. Это была своеобразная бойница, незаметная для постороннего глаза.

Вот и теперь он сквозь эту бойницу зорко и напряженно смотрел вперед, не чувствуя ни холода, ни дождя, ни промозглой сырости.

— А кто это, Гриша? — спросил он соседа, не поворачивая к нему головы и не отрываясь от своей бойницы. — Ты его знаешь?

— Знаю. Младший сержант Галчонков. Из первой роты.

На миг они оба инстинктивно пригнули головы и тотчас опять выглянули.

Из перелеска сразу в несколько очередей застрочили пулеметы. Они прошивали свинцом все пространство, отделявшее сейчас перелесок от бойца, прикипшего к земле среди этого вихря смерти. Чудилось, он даже готов был уйти в землю, лишь бы спастись от пуль, чтобы потом добежать до дзотов, уничтожить их, заставить замолчать. Только так можно было открыть путь для новых атак батальона. И вот уже четвертый боец вступал в поединок со смертью, которую изрыгали дзоты. Подобно молниям, раскаленные струи скрещивались над головой сержанта, полосуя землю вокруг него с непрерывным свистом.

А он лежал недвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

— Хоть бы холмик, хоть бы бугорок какой на пути, — с тоской сказал Григорий.

Алимджан молчал.

Галчонков уже слишком долго лежал не шевелясь.

— Слушай, Гриша, — приподнялся Алимджан, — если Галчонков...

Он не успел договорить. Пулеметный треск оборвался, и Алимджан увидел, как младший сержант встал и побежал, сильно пригибаясь, словно под тяжелой ношей, и прижимая руки к животу.

— Может, он в живот ранен? Гляди, как бежит...

— Так у него ведь сумка с противотанковыми гранатами, — отозвался Григорий.

— Нет, не дойти ему, — сокрушенно сказал Алимджан. — Значит, теперь моя очередь.

Он стал ожесточенно, рывками сбрасывать с себя шинель, приговаривая при этом:

— Врешь, фашист! Мы до тебя доберемся! Не я, так Григорий. Гриша, слышишь? Ты должен обязательно дойти!

Григорий что-то ответил, но уже за спиной Алимджана, который ящерницей выскользнул из окопа.

Притаившись, он прополз немного и снова замер. Он продвигался вперед осторожно, медленно, расчетливо расходуя силы и больше всего опасаясь, как бы его не заметили из перелеска.

Свинцовые молнии все кромсали землю вокруг Галчонкова, опять неподвижно распростертого в липкой грязи. Алимджан сейчас хорошо понимал, как трудно ему было ползти по скользкой, мокрой почве.

Дождь хлестал с еще большим неистовством. Когда Алимджан коленями и локтями отталкивался от земли, в ней оставались лунки, тут же заполнявшиеся водой. Ох, какой тяжелый это был путь! Во время коротких передышек Алимджан шумно, хрипло отдувался, роняя голову на руки, облепленные грязью.

В одну из таких минут он обернулся — посмотреть, далеко ли ушел от своего окопа. Ого, далеко!.. Поправив на спине автомат, он снова устремился вперед.

Внезапно и на него налетел огненный шквал. Алимджан застыл как вкопанный, прильнув щекой к холодной мокрой земле и обхватив обеими руками голову, слов-

но это могло спасти его от пуль. «Увидели, сволочи», — подумал он с какой-то злой досадой и тут же, стиснув зубы, приказал себе: «Ну!» И, не поднимая головы, все так же по-пластунски, стараясь вжаться в землю, слиться с ней, двинулся дальше.

Алимджан слышал, как горячие сабли пулеметного огня звенели и свистели над ним, но продолжал ползти, уже задыхаясь, изнемогая.

Наткнувшись на что-то мягкое, податливое, Алимджан вскинул голову. Путь ему преграждало тело Галчонкова. Он лежал ничком, разбросав руки в стороны, словно обнимая землю, — жарко и широко, по-сыновьи, в последний раз.

— Галчонков, — сказал Алимджан, хотя и знал, что тот уже не слышит его. — Галчонков, я вместо тебя. Я доберусь до них, я убью их!

Прихватив с собой брезентовую сумку Галчонкова с гранатами, Алимджан быстро заскользил к перелеску, который был уже совсем близко.

Одна мысль владела им, стучала в сердце и виски: доползти! Доползти во что бы то ни стало! Или — добежать! И разнести в клочья проклятые дзоты! Пусть даже полумертвый, но он должен это сделать. Только бы хватило сил взмахнуть рукой, отягощенной гранатами, в тот момент, когда смерть ударит в сердце. Надо вырвать у смерти этот миг — для последнего, решающего броска. А потом — будь что будет. Ему не страшно умереть. Страшно — не доползти. И особенно страшно сейчас, когда до цели осталось... ох, как еще много! Метров шестьдесят, нет, целых семьдесят!

— Погодите... погодите еще малость, — шепотом уговаривал Алимджан пули, которые несли с собой смерть. — Самую малость... Потом — я ваш.

Он шептал не переставая, все быстрее и быстрее, и все быстрее полз, с каждой секундой, с каждым вздохом приближаясь к перелеску.

— Не боюсь я тебя, безглазая, видишь — не боюсь!.. Только погоди, гадина, повремени хоть несколько секунд. Еще немного — и я их взорву, и тогда тебе меня уже не достать, нет, не достать!

Каждая секунда тянулась, как вечность. Алимджан приостановился, оторвал от земли голову, прислушался. Громко, торжествующе проговорил:

— А, гады, замолкли!.. Уже не можете до меня дотянуться!

И, вскочив, выхватил гранаты и закричал что было сил:

— Ура-а!.. Ура-а!..

«Ура-а!..» — эхом отдалось далеко позади, и в этот миг Алимджан бросил одну гранату, другую и тут же упал, прикрыв голову руками.

Земля под ним качнулась, заходила ходуном. Ему показалось, будто он лежит в плывущей лодке. Гул, грохот, треск взметнулись вверх, рванули воздух, потом словно ушли в землю, и землю зазнобило, как больную, чудилось, что она даже застонала тихо...

Алимджан медленно поднял голову, осмотрелся. Мимо промелькнуло несколько солдат из его батальона. Они что-то кричали, победно, яростно. Следом за ними по направлению к перелеску двумя ломаными цепями шел в атаку батальон.

Один из бойцов с разбегу остановился, присел возле Алимджана на корточки, взяв его за плечи, спросил:

— Алимджан, браток... Ты ранец?

Это был Григорий. Алимджан не расслышал его слов, но радостно проговорил:

— Гриша... Гриша, победа?

Вместо ответа Григорий, выпрямившись, крикнул: «Ура-а!» — и помчался за товарищами вперед, туда, где ухали взрывы, заливались пулеметы и автоматы.

Алимджан тоже хотел было подняться и побежать, но ноги подкашивались от ватной слабости, а руки так дрожали, что не могли удержать автомат. Тогда Алимджан сел, поглядел мутными усталыми глазами на солдат, уже вступивших в бой с немцами, и тихо засмеялся от счастья.

Навсегда осталась у него в памяти эта минута — минута, когда он ясно и отчетливо ощутил, что жив, что победил и теперь счастлив оттого, что жив и победил...

Он сидел среди поля на мокрой, раскисшей земле, под дождем, глядел на своих товарищей и беззвучно смеялся.

Бой кончился. Стрельба затихла. Глуховка была отбита у немцев.

Алимджан шел по деревенской улице, заглядывал через низенькие плетни и заборы в каждый двор, спрашивал солдат:

- Григория нигде не видел?
- Петрова Гришу не встречал?
- Эй, пулеметчики, вам Петров Гриша не попадался?

Все только мотали головами: нет, не видели, не встречали.

Алимджан свернул в узкий проулок. На крыльце третьего от угла деревянного дома сидел пожилой усатый солдат. Размотав на одной ноге черную, заляпанную грязью обмотку, задрав штанину, он пальцем что-то выковыривал из коленки.

— Что там у тебя? — спросил Алимджан.

— Да осколок от мины.

— Фашистский подарочек?! И глубоко засел?

— Да нет. Только под кожу забился, проклятый. Никак его оттуда не выдавлю. — Солдат не глядел на Алимджана. — Всего-то с горошину, а вот ведь, никак не поддается.

— Дай-ка я попробую.

— Да нет. Я уж сам, помаленьку.

Алимджан постоял, посмотрел, как солдат, морщась и шевеля усами, нажимал большими пальцами на кровоточащий бугорок на коленке, сам поморщился от сочувствия, предложил:

— Давай я тебя в медпункт отведу. Там его мигом у тебя вынут. Чего самому-то мучиться.

— Еще чего! С занозой — и в медпункт. Там у них серьезных дел хватает.

— А я вот к медикам иду, — вздохнул Алимджан. — Друга ищу. Брата. Может, он там?

Солдат наконец посмотрел на Алимджана.

— Как фамилия друга-то?

— Да фамилия у него, каких много: Петров, Григорий Петров.

— Что ж, наведайся в медпункт. А то слетай-ка вон к тому ветряку: там нынче жарко было, много наших ребят полегло.

Солдат пристально взгляделся в Алимджана.

— Постой-ка, браток, это не ты пятым пошел к перелеску? Ты не узбек? Тебя не Алимджаном зовут?

— Узбек. Алимджан.

— Так что же ты? — Солдат, радостно осклабясь, вскочил, одернул штанину на раненой ноге. — Тебя же ищут, чужак человек!

Алимджан в недоумении поднял брови:

— Кто ищет?

— Комбат ищет. Все ищут. Ты же герой!

— А, какой там герой,— отмахнулся Алимджан и пошел по лужам через двор, через огороды.

— Погоди! Куда же ты?— закричал ему вслед солдат.— Комбат тут, рядом, через два дома. Я тебя провожу.

Он нагнулся, торопливо, кое-как закрутил обмотку, а когда распрямил спину и огляделся, Алимджана уже и след простыл.

Путаясь ногами в полусгнившей ботве, Алимджан в это время шагал через картофельное поле к ветряку с единственным крылом, поломанным, медленно раскачивавшимся на ветру. Он сиротливо маячил в сырой холодной мгле, неподалеку от двух старых раки, которые торчали в конце поля, на краю перелеска.

Алимджан направился прямо к ветряку, потом увидел санитаров, шедших к перелеску, и кинулся им наперерез. Но санитары, не дойдя до перелеска, остановились, положили кого-то на брезентовые носилки, осторожно подняли их и двинули обратно.

— Подождите! — закричал Алимджан.— Ребята, подождите!

Он устремился за ними вдогонку, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрой земле. Санитары даже не оглянулись, им было не до Алимджана. А он все кричал:

— Ребята, слышите? Обождите! Кого вы несете?

Внезапно, словно натолкнувшись на какое-то препятствие, он оборвал свой бег, замер, не веря своим глазам. Перед ним на бурой прошлогодней траве, между мокрых кустов краспотала, лежал Григорий Петров. Он лежал на боку, дождь смывал кровь с его виска, с небритой щеки, но кровь все текла, заливая ухо и шею. Железная каска Григория, в двух местах пробитая пулями, валялась далеко позади.

Алимджан, склонившись над ним, сказал:

— Гриша, друг, это я. Я, Алимджан. Ты слышишь меня?

Григорий не двигался, его бледные губы были плотно сомкнуты.

Алимджан взял его автомат, повесил себе на грудь, потом с трудом поднял Григория на руки, осмотрелся, прикидывая, как быстрее пройти к деревне, и зашагал



прямо через перелесок, мимо старых ракут, к крайней избе. Там, видно, помещалась санчасть, потому что в дверях появились санитары, заспешили навстречу Алимджану.

В санчасти Петров пришел в себя. Друзья перебрались несколькими словами, а когда Алимджан, боясь утомить Григория, стал прощаться с ним, тот сказал:

— Алимджан... О чем я хочу тебя попросить...

— Говори, Гриша, я слушаю и все исполню. Только ты поскорей выздоравливай.

Григорий немного помолчал. С забинтованной головой, умытый, отогревшийся, он мало походил на того солдата, которого Алимджан видел в окопах, в бою и, совсем недавно, раненного — на мокрой траве.

— Понимаешь... у меня в гимнастерке есть письмо. Для Вали. Я тебе про нее рассказывал. Помнишь?

— Помню.

- Ты возьми письмо. Я, правда, не успел его закончить. Так ты допиши за меня. И отправь.
- Хорошо, друг.
- Григорий через силу улыбнулся:
- И своей Айкиз тоже напиши!
- Смутившись, Алимджан пробормотал:
- Она не моя...
- Так будет твоя. Я в этом уверен. Только ты пиши ей. Чаще пиши. Слышишь?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Мапочка! Мама! — громко позвала Айкиз и прислушалась.

В доме стояла тишина.

Айкиз посмотрела на темное, незанавешенное окно, на зажженную лампу, стоявшую у изголовья на табуретке, и удивилась: «Разве на улице уже темно? А я и не заметила, как наступил вечер. Или ночь? Когда же это мама успела зажечь лампу?»

Письмо от Алимджана лежало у нее на груди, поверх одеяла. Она поглядела на тетрадный густо исписанный листок, такой дорогой, и невольно потянулась к нему руками. Но читать не стала — она уже выучила его наизусть, а принялась складывать письмо, придавая ему такой вид, в каком оно и пришло к ней. И когда у нее получился аккуратный треугольник, она с радостью подумала: вот так же и Алимджан сложил письмо, дописав его. В который уж раз она перечла адрес и фиолетовые штампы, строгие и лаконичные, как приказ: «Красноармейское», «Бесплатно».

«Как же ему там трудно! — подумала она с болью и нежностью. — Пройти через такое, все время жить рядом со смертью!»

— Мама! Мапочка! — снова позвала она.

Халбиби неслышно появилась из-за занавески, закрывавшей вход в соседнюю комнату.

— Что, доченька?

Айкиз сжала пылавшее лицо холодными ладонями, сквозь слезы сказала:

— Мапочка... Как же они там выдерживают? Ведь так тяжело...

— Тяжко, доченька,— со вздохом согласилась Халбиби.— А что поделаешь? Надо терпеть...

— Это мы тут терпим трудности, нужду. А они воют! Как им помочь, мама?

Халбиби мягко сказала:

— Нашим солдатам, дочка, нужны ласка, забота. И, наверно, дороже всего в этом пекле весточки с родины... Ты напиши письма своим односельчанам. Все теплей им станет... А я посыпочки приготовлю. Урюк сахарный, кишмиш, орехи, лепешки сдобные, на сале. Соскучились они, видно, по домашней-то снеди...

— Мамочка! — Айкиз отбросила одеяло, рванулась к матери, порывисто обняла ее за шею.— Вы у меня такая добрая, такая мудрая!

— Ну, ну,— остановила ее Халбиби,— ложись-ка в постель. И письма, о которых я говорила, ты потом напишешь. Когда поправишься. А пока отдыхай, ты у нас еще больная... Я принесу тебе горячего молока с медом, попьешь — и спать.

Халбиби вышла, а когда снова появилась, песя пиалу, накрытую лепешкой, то от изумления охнула:

— Товба! Ей и слова нельзя сказать, она уже пишет! Ох, торопыга!..

— Мама,— перебила ее Айкиз,— а кто из Алтынсае сейчас на фронте? Ну, Алишер, Тимур...

— Алимджан.

— А еще?

— Чабан Хасан. Бедняга, так и ушел нежепатым. Все сватался к одной хохотушке, а она нос от него воротила. Так, еще Тахир, Умар...

— Это какой Умар, сын кладовщика?

— Он самый. А еще Хайдар, Кузыбай, Кенжа — весельчак, песенник. Уж так он любил петь! Бывало, идет с поля, кетмень на плече, еле ноги волочит, а все поет, поет... Я в это время всегда корову доила либо ужин готовила... А как заслышу Кенжу, так про все позабуду — и про дойку, и про ужин. Он разливается соловьем, а я сижу с подойником, а мечты мои далеко, где-то за горами Коктау. Раз как-то замечталась вот так, а корова как двинет копытом по ведру, молоко все и разлилось. На земле прямо белое озеро. А я как раз задумала сготовить на ужин рисовый молочный суп...

Халбиби, видно, уже забыла, зачем пришла к дочери.

Присев возле нее на край постели, держа на коленях пиалу и лепешку, она продолжала вспоминать, кто из односельчан находился в действующей армии:

— От Муратали пришло письмо. Помнишь Муратали?.. Он в этом лежит... как его... госпитале.

Айкиз и слушала и не слушала мать. Подложив под спину подушку, чтобы удобнее было сидеть в постели, подобрав колени, пристроив на них еще одну подушку, а на ней папку и тетрадь, она уже выводила первые строчки письма Алишеру.

— Я, мама, всем напишу письма, — пообещала она. — Всем!

Халбиби поглядела на нее и только тут спохватилась:

— Дочка! Да что же это я... — голос ее звучал виновато и растерянно, — тебе ведь лежать надо, силенок набираться. Я, старая, заболталась тут с тобой, а молоко-то и остыло. Выпей скорее, пока оно еще теплое. И лепешки поешь.

— Я молоко выпью, а лепешку потом съем. Ладно?

— И ложись!.. С письмам-то успеется. Не то свалишься опять, уж совсем будет не до писем...

— Мама, я еще немножко напишу, совсем немножко...

Халбиби ушла, неодобрительно качая головой.

После ужина Халбиби и Умурзак-ата несколько раз на цыпочках подходили к двери, осторожно отворачивали край занавески, заглядывали в комнату дочери. Она все так же сидела в постели, с папкой и тетрадью на коленях, укрытых ватным одеялом. Халбиби наконец не выдержала, вошла в комнату, чтобы отчитать дочь и отобрать у нее тетрадку, но тут же вернулась обратно смущенная и шепотом сообщила мужу:

— Отец, а она спит.

— Как спит? Лампа-то все светится...

— Ну, да, а дочка спит. Сидя. Устала, видно, бедняжка: как писала, так и заснула. Обождем ее будить, я после ее уложу. Пока-то даже свет в лампе побоялась убавить. Не дай бог, не проснулась бы... Она ведь чуткая, как горная козочка.

...Погода у нас в Алтынае переменчивая: то весело, ослепительно светит горное солнце, так и брызжет лучами, то дует с гор ровный восточный ветер, неся с собой запа-

хи талых снегов, сырой разбуженной земли, цветущих тюльпанов, миндаля... И радостно идти навстречу этому ветру, чувствуя свою руку в твоей руке. Только вот диво: руку я чувствую, а тебя не вижу. Где ты, Алимджан?

Айкиз открыла глаза. Наполовину исписанный листок лежал перед ней на коленях, но карандаша в пальцах не было. А ведь она была уверена, что только что держала его в руках, сочиняя письмо Алимджану. Оглянувшись с удивлением, Айкиз принялась искать карандаш, она шарила под одеялом, под подушкой, а он оказался на полу. Странно, когда же он упал?.. Еще больше удивилась Айкиз, перечитав написанное. В письме ни слова не говорилось ни об ослепительном солнце, ни о ветре, навстречу которому она шла вместе с Алимджаном... Неужели это был сон? А ей-то казалось, будто она писала обо всем этом Алимджану... Сон!.. Ну и чудесно. Она расскажет Алимджану о своем сне.

Карандаш резво побежал по бумаге...

...Только ветер дул уже не с гор, а из степи, с запада, из «гнилого угла», как говорят в народе, и подгонял в спину Айкиз и Алимджана. Вдали гнулись, словно кланяясь в пояс, молодые тополя. Во дворе хлопала о косяк дверь сарая, молоденькая черешенка, которую отец посадил в прошлом году, вся дрожала, будто от страха, куры, словно на чей-то зов, бежали из огорода во двор пестрой стайкой, ветер смешно заламывал им хвосты набок, и они сами тоже бежали бочком, спеша спрятаться под навес. «Откуда они взялись, куры? — удивилась Айкиз. — Ведь ночь, и вокруг темным-темно». А ветер уже несся по степи, где очутилась и Айкиз, завывал, словно какое чудовище, вырывал с корнем и кружил в воздухе прошлогодний сухой бурьян. Степь загудела, застонала, завертелась, словно граммофонная пластинка, и ринулась неведомо куда, увлекая за собой Айкиз. Но рука ее снова оказалась в руке Алимджана, и они вместе летели над степью, и уже не было видно ни родного двора, ни гибких тополей, и Айкиз хотела сказать об этом Алимджану, но ветер, словно ватой, забивал ей рот, и она была не в силах пошевелить языком. Тьма вокруг все сгущалась, вихрь все усиливался, и, преодолевая ветер, она закричала: «Алимджан!.. Как ты можешь выдержать эту тьму, этот вихрь?.. Мне-то хорошо в теплой постели, а ты не

знаешь ни отдыха, ни передышки!.. Алимджан! Родпой!..» Последние слова она не то простонала, не то прошептала и удивилась тому, что уже не надо было напрягать голос, удивилась внезапно наступившей тишине и... опять проснулась.

Над ней стояла Халбиби и ласково увещевала ее:

— Доченька, ляг как следует. Неловко ведь так спать... Ложись. А то вон бредить начала...

— Я, значит, спала? — с недоумением, виновато спросила Айкиз.

Она покорно позволила матери убрать на стол тетрадь, карандаш, откинулась на подушку, укрылась с головой одеялом, проворковала:

— Я уже сплю.

Мать поправила на ней одеяло, погасила лампу, шепнула что-то — то ли себе, то ли Айкиз.

Наконец ее шепот стих — она, видно, удалилась в свою комнату, но об этом можно было только догадаться, потому что Халбиби бесшумно ступала по кошке босыми ногами.

Айкиз еще с минуту лежала неподвижно, потом высунула из-под одеяла голову, осторожно прислушиваясь к тишине. «Уснула или нет? — подумала она о матери. — Наверно, уснула. Но подожду еще немного...»

Сама она не собиралась спать — надо было написать Алимджану про удивительный сон. Странно, он ведь прерывался, а потом продолжился так, будто она и не просыпалась, и не искала карандаш, и не принималась за письмо... Как причудливо сменяли друг друга сон и явь!.. Она все, все должна описать Алимджану: как гнулись молодые тополя, и кувыркался в воздухе сухой бурьян, и кружилась, неслась куда-то вместе с ними гудящая в темноте степь, а ей не было страшно, потому что рядом был Алимджан и держал ее за руку. Нет, ей не было страшно только за себя, а за Алимджана она тревожилась и пугалась того, что он с ней — и далеко от нее и она с ним — а одна...

Осторожно встав с постели, Айкиз зажгла лампу, надела отцовский халат, который Халбиби накинула на постель поверх одеяла, оглядев себя, усмехнулась: халат был ей слишком уж велик, длинные рукава болтались, широкие полы свисали ниже щиколоток, целиком скрывая голые ноги. «В нем можно поместить пять или шесть

таких девушек, как я, — улыбаясь, подумала Айкиз и решительно зашагнула. — Зато тепло».

Она села за стол, пододвинула к себе тетрадь тонкой, исхудавшей рукой. «Напишу ему и про халат. А что, смешно. Пусть и он посмеется. Но это все не самое главное... — Она посмотрела в темное окно и спросила себя: — А что же самое главное? И как, какими словами рассказать об этом главном?»

Тьма за окном молчала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Елена Никитична Горышева шла по обочине дороги, хмуро смотря себе под ноги. Сумка ее была уже пуста, а на плечи все давила неимоверная тяжесть.

Всего одно письмо оставалось в сумке, но оно-то и рождало ощущение страшной тяжести.

Это письмо, пришедшее с фронта, адресовано было Умурзаку-ата. Несколько раз Елена Никитична доставала его из сумки, вертела в руках, рассматривала на свет, перечитывала адрес... Конверт был синий, тонкий, таких конвертов Елена Никитична боялась больше всего на свете. С тоской и страхом думала она, как-то войдет в дом Умурзака-ата. Уже два раза прошла Горышева мимо этого дома, не решаясь вступить во двор. Только вчера она принесла сюда радостные вести — два солдатских треугольника... И вот сегодня еще одна весть, только страшная. «Нет, не пойду я к ним, — думала она со щемящей болью в сердце. — Не пойду. Пусть оно полежит пока у меня в сумке».

Но беда, видно, гонится за человеком, когда он бежит от нее. Неожиданно, как из-под земли, перед Еленой Никитичной появился Умурзак-ата. Загородив ей дорогу, сказал ласково:

— Здравствуй, ласточка! В чей дом спешишь? Почему мимо нашего пролетела?

Елена Никитична молча глядела на него, медленно бледнея.

— Что молчишь? Или провинилась в чем? — весело продолжал Умурзак-ата. — Ну-ка, идем к нам, чайку попьем с горячими кукурузными лепешками. Сказать по чести, нехорошо обходить дом друга... Сумка-то твоя все равно уже пустая. Пустая, верно?

Умурзак-ата потянулся к брезентовой сумке, словно намереваясь в нее заглянуть, но Елена Никитична испуганно прижала ее к себе.

— Пустая, пустая! — воскликнула она поспешно, все крепче обнимая сумку обеими руками.

Умурзак-ата посмотрел на нее недоуменно и подозрительно:

— Что так перепугалась? Денег, что ли, там куча? А может, похоронная? — Он помрачнел. — Кому несешь ее, ласточка?

— Да нет, какая там похоронная, какие деньги! — ответила она, бодрясь, и даже сделала вид, будто хочет показать ему сумку. — А и правда, пойдете к вам чай пить.

Халбиби встретила их во дворе. Увидев Елену Никитичну, она заохала, запричитала, провела ее к Айкиз и, показывая на груды конвертов, лежавших на столе, жалуюсь, сказала:

— Глянь-ка, это она за одну ночь столько бумаги написала. А теперь на нее погляди — на кого похожа? Ну, можно ли больной не спать всю ночь? Нет, она хочет, чтобы у меня сердце разорвалось!

— Мамочка, ну зачем вы так? — Айкиз откинула одеяло, поднимаясь с постели. — Вы же сами мне подсказали, что надо фронтовикам письма написать. Я и написала. А тетя Лена отнесет их на почту.

Она взяла со стола письма, открыла сумку Елены Никитичны, чтобы положить их туда, обрадованно воскликнула:

— Ой, письмо! Это кому, тетя Лена, уж не мне ли?

В мгновение ока она выхватила из сумки синий конверт. Елена Никитична, испуганно вскрикнув, метнулась к ней, но Айкиз успела вскочить на кровать и высоко над собой подняла руку с конвертом:

— Не отдам, не отдам!

Вдруг и на ее лице отразился испуг:

— Тетя Лена, что с вами?

Елена Никитична стояла, опустив руки, не двигаясь, словно окаменелая. Вязаный старый платок упал ей на плечи, и стало видно, какие седые у нее волосы. А сейчас и лицо у нее было серое, цвета земли, враз постаревшее и, губы побелели...

Халбиби и Умурзак-ата уставились на нее тревожно,

выжидательно, а Айкиз, начавшая уже о чем-то догадываться, спустилась на пол, поднесла конверт к глазам, произнесла еле слышно:

— Так это — нам...

Она вскрыла конверт, и Умурзак-ата сначала не понял, что же произошло, — в комнате, с дочерью, с ним самим. Только Айкиз вдруг закричала, страшно, пронзительно, и Умурзак-ата почувствовал, как у него внезапно стала мерзнуть спина, словно кто швырнул ему под халат горсть жесткого, колючего снега. Потом он увидел, как из рук дочери выпали конверт и листки — один был белый, исписанный мелким почерком, другой синий, с траурной черной каймой. Умурзаку-ата чудилось, что это продолжалось долго-долго — листки реяли в воздухе, потом не спеша коснулись пола. А Айкиз повалилась на постель, продолжая кричать. Халбиби бросилась было к дочери, но на полпути остановилась и принялась подбирать с пола листки. Умурзак-ата взял у нее синий, с черной каймой. Халбиби доверчиво, как-то очень спокойно отдала ему этот листок, не отрывая глаз от мужа. Ему же все казалось, что кто-то сыплет и сыплет под халат морозный колючий снег, и уже всему телу было зябко, и сердце начал сжимать отчаянный холод...

Леденящее горе сковало Умурзака-ата так, что он не мог пошевелиться, оглушило его, словно гром, и больше он уже ничего не видел и не слышал...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Место Айкиз на постели теперь занимала Халбиби. Еще недавно она бесновалась от горя: то безжалостно рвала на себе седые волосы, то порывалась бежать куда-то из дома, то падала на колени и начинала биться головой о пол.

Но вот уже четвертый день она лежала молча, недвижно, устремив немигающий взгляд в потолок. Она замолчала и больше уже не проронила ни слова с той минуты, когда ее наконец удалось уложить в постель.

Айкиз же чувствовала себя окрепшей, даже сильной, будто никогда и не болела. Теперь уже она боялась отойти от постели матери. Но отлучаться приходилось часто, потому что все хозяйство лежало на ее плечах. Айкиз, правда, старалась не оставлять мать одну, пока в доме

не появлялся отец. Первые день или два он никуда не выходил из дому, а потом, видно, решил, что лучше быть среди людей, чем вместе с женой всего себя отдавать скорби.

Когда Айкиз, завидев в окно отца, выбегала во двор, Умурзак-ата с беспокойством спрашивал:

— Ну, как она?

— Все так же.

— Молчит?

— Молчит.

— И ничего не ест?

— Ох, отец, — вздыхала Айкиз, — прямо не знаю, что с нею делать...

Умурзак-ата спешил в дом, садился у постели Халбиби на низенькую табуретку и, стараясь согнать с лица тревогу и скорбь, ласково и озабоченно спрашивал:

— Ну, что, мать? Хоть бы поела чего-нибудь, а? Ведь изведешь себя так..

Недвижное лицо Халбиби чуть светлело, но губы оставались сомкнутыми, а в глазах, прикованных к мужу, таилась неизбывная боль.

Как-то после очередной попытки растормошить жену Умурзак-ата сказал:

— Ты не забывай, мать, — ведь он умер как герой. Ты должна гордиться им. Так и командир написал: вы, мол, должны гордиться своим сыном. Слышишь? Хватит себя мучить, Тимура все равно этим не воскресить...

Морщины на лбу Халбиби потемнели, под нижним веком, а потом над верхней губой чуть заметно дернулись мускулы, из глаз покатались слезы.

— Ну вот, — сокрушенно произнес Умурзак-ата, — сказать по чести, совсем ты себя не жалеешь. Ведь у нас есть еще Алишер, живой и здоровый, я его письмо все время с собой пошу... — Для убедительности он достал из-под халата солдатский треугольник, показал его жене. — А про Айкиз забыла? Поберегла бы себя для них... — Опустив голову, он пожевал губами, без особой уверенности предположил: — Как знать, может, и Тимур еще вернется. Мало ли какие бывают случаи. Пришлют родне черную бумагу, а человек-то живой...

Неожиданно Халбиби еле слышно прошептала что-то. Невольно подавшись к ней, Умурзак-ата торопливо и обрадованно переспросил:

— Что, мать?

Халбиби с трудом шевелила губами:

— Письмо...

— Какое письмо?

— Письмо... От командира...

Умурзак понял, что она хотела сказать, и замаялся. Речь шла о письме командира роты, которое было вложено в конверт вместе с похоронной. «Я знаю, — писал командир, — нелегко принять весть о гибели сына. Такая утрата невозможна для отца и матери. Но ваш сын Тимур погиб геройской смертью, и вы должны им гордиться, а не проливать слезы. Родина гордится такими сыновьями». Эти слова Умурзак-ата знал наизусть, они часто ему вспоминались, и он шептал их про себя... Сейчас о письме вспомнила Халбиби, но Умурзак-ата побоялся повторить вслух то, что написал командир. Халбиби только бы расстроилась и снова начала плакать, потому что письмо командира подтверждало гибель Тимура. Да Умурзак-ата и сам хорошо понимал, что надеяться им не на что и Тимур не вернется, а если и попытался утешить жену, то лишь потому, что ему хотелось ненадолго облегчить ее страдания.

Осторожно кашлянув в кулак, он посмотрел на нее с жалостью, бережно отер слезы на ее щеках и, так ничего и не ответив, перевел разговор на другое:

— Я, мать, нынче с Кадыровым беседовал и с нашим партийным секретарем. Вся страна, говорю, каждый человек стремится сейчас помочь фронту. Фронту нужны хлеб, мясо. Так разве не может наш колхоз послать в подарок солдатам два-три десятка баранов, ну и еще что-нибудь?

Взгляд Халбиби сделался напряженным. А Умурзак-ата продолжал:

— Сказать по чести, не всякому под силу бараном пожертвовать... Так ведь на фронте, наверно, рады будут и кишмишу, и урюку сушеному, и рису, и муке. Все пригодится.

— А мы? — одними глазами спросила Халбиби.

— Мы, конечно, барана отдадим, от этого у нас не убудет, а солдаты на передовой смогут полакомиться шурпой или жарким.

Не поднимая головы с подушки, Халбиби удовлетворенно кивнула, глаза ее потеплели, иссохшей ладонью она погладила большую, жесткую руку мужа, натру-

женную, в крупных мозолях, со вздутыми узлами вен, и вдруг попыталась встать...

Умурзак-ата всполошился:

— Ты куда?

— Я сама... своими руками... посылку хочу собрать...

— К чему спешить, время терпит. Надо еще обмозговать все сообща. Я уверен, никто не откажется подсобить фронтовикам. Но все же следует сперва потолковать, посоветоваться с людьми. Чтобы все было... — он сцепил пальцы обеих рук, — вот так! Чтобы мы взяли за дело всем миром и никто не остался в стороне. Вот завтра-послезавтра проведем собрание, там все и порешим.

Халбиби слушала его, а сама все пыталась подняться. Наконец она встала на ноги, но сильно качнулась. Умурзак-ата подхватил ее, укоризненно покачал головой:

— Ну, что ты надумала? Гляди, ноги тебя не держат.

— Я все-таки приготовлю все для посылки. Муки отсыплю, кишмишу, орехов.

— Да успеется еще. Мы с Айкиз можем все сделать. А ты лежи, вон как ослабела-то... И поешь, мать, поешь хоть немного, не то силы-то совсем тебя покинут.

Халбиби присела на табуретку, а Умурзак-ата кликнул Айкиз и велел ей покормить мать. И он и Айкиз не скрывали радости, им казалось, что раз уж Халбиби встала с постели, то здоровье ее пойдет на поправку.

Однако едва Халбиби поела немного кислого молока с горячей лепешкой, как у нее закружилась голова, и она еле добралась до кровати.

Она пролежала не двигаясь, отказываясь от пищи, еще два дня.

За это время в колхозе произошли важные события, и Умурзак-ата, придя домой поздно вечером, примостившись, как всегда, возле жены на маленькой табуретке, возбужденно проговорил:

— Ну, мать, предложение мое колхозники приняли да еще похлопали мне в ладоши.

— Ты о чем? — слабым голосом спросила Халбиби.

— Как это о чем? О помощи фронтовикам. Я ведь уже толковал тебе — надо послать на фронт побольше продуктов. Кто мясо выделит, кто муку, кто фрукты сушеные...

— Это хорошо... Я помню...

Умурзак-ата в нерешительности погладил ладошью бороду.

— Только вот беда... Назначили меня старшим приемщиком. Так что домой я теперь буду приходить поздно. Ты уж крепись... Как, сможешь иногда одна-то побыть?

Халбиби согласно прикрыла веки, прошептала громче, чем обычно:

— Ты обо мне не беспокойся. Мне лучше. Скоро совсем поправлюсь, я чувствую... А ты позаботься о наших воннах, уж расстарайся для них.

— Ладно, мать. Постараюсь.

Спустя некоторое время среди бела дня, задолго до обеда, Умурзак-ата заявился домой необычно взволнованный. Не садясь на табуретку, он молча прошелся из угла в угол по комнате в распахнутом халате, потом круто остановился, поглядел на Халбиби, на Айкиз, держившую возле матерл.

— Такое дело, родные мои, старого Умурзака на фронт посылают, представителем от нашего колхоза. Да не только от колхоза, а от всего узбекского народа, от всей республики!.. Оказывается, не одни мы решили бойцам помочь...

— Так вы едете? — спросила Айкиз.

— Сперва я отказывался: как, думаю, вы тут без меня останетесь? Мать-то еще хвора...

Халбиби приподнялась на локтях.

— Поезжай, отец. Грех отказываться... Дело-то ведь святое!

— Святое, — согласился Умурзак-ата и вздохнул, — да как же я тебя-то одну брошу?

— Со мной дочка. Да я и сама скоро на ноги встану. И так залежалась... Дочка, помоги-ка, дай я попробую подняться...

Она спустила ноги с постели, опираясь на Айкиз, выпрямилась. Хватаясь за стены и стулья, прошла в соседнюю комнату и принялась накрывать дастархан к обеду. Айкиз, обняв мать, усадила ее на мягкое одеяло перед хантахтой.

— Мама, я сама со всем управлюсь. Вы отдыхайте... Шельзя же так: с постели — и сразу за дела...

На следующий день Умурзак-ата пожаловал домой опять с новостью.

— Дочка, готовь меня в дорогу. Велено поскорей закончить сборы и погрузку продуктов — сроку нам дали три дня, а там наш вагон прицепят к эшелону. Начальником эшелона и главой нашей делегации отправляется на фронт сам товарищ Ахунбабаев.

Айкиз очень хотелось проводить отца на станцию, посмотреть на эшелон, нагруженный подарками, которые посылали фронту колхозники, побывать на митинге, — по словам отца, он должен был состояться прямо на перроне, — послушать Ахунбабаева, главу республики, самого уважаемого аксакала, уж он-то наверняка выступит. И махнуть прощально рукой удаляющемуся эшелону...

Умурзак-ата ничего не имел против того, чтобы Айкиз поехала на станцию. Сам он поспешил туда дня за два до отправки эшелона, чтобы наблюдать за погрузкой. Айкиз же могла воспользоваться арбой, увозившей остатки продовольствия. Но на поездку ушли бы целые сутки, если не больше: ведь от Алтынсая до станции было далеко, а арба не автомашина... И Айкиз не решилась оставить мать одну на такое долгое время.

Умурзак-ата, готовясь в путь, пообещал:

— Пожалуй, я еще загляну попрощаться.

Айкиз невесело усмехнулась... «Загляну!» Будто он намеревался навестить домой с богары...

И еще он сказал, обнадеживая дочь:

— Тогда и тебя с собой заберу. Поедем верхом на одной лошади. На ней и обратно поскачешь, быстро обернешься. Согласна?

Айкиз грустно кивнула, заранее уверенная в том, что обещание отца так и останется обещанием.

И точно, отец, занятый нелегкими хлопотами, так и не сумел выбрать время, чтобы «заглянуть» домой.

Вечером к ним пожаловал Кадыров, вернувшийся со станции; не слезая с коня, он сказал Айкиз, которая выбежала из дому:

— Отец велел привет передать.

— Он уже уехал?

— Да, проводили мы их.

— Ой, вы бы зашли к нам, рассказали все подробно, — засуетилась Айкиз.

— Спасибо, но я устал как собака. Поеду домой.

Кадыров хлестнул коня камчой и уже на скаку, полубернувшись, крикнул:

— Как мать-то, здорова?

Бессмысленно было ему отвечать — не кричать же тоже вдогонку, что матери лучше.

Уже в тот день, когда Умурзак-ата заявил, что поедет на фронт сопровождать эшелон с подарками, Халбиби встала на ноги. И с тех пор все реже оставалась в постели, — бродила по комнатам, по двору, пробовала даже хлопотать по хозяйству. Айкиз опережала мать, не давала ей ничего делать, все уговаривала посидеть, отдохнуть, ведь Халбиби была еще очень слаба. У нее все валялось из рук: то веник, которым она хотела замести сор у порога, выскальзывал из непослушных пальцев, то маленькая атласная подушка скатывалась на пол, когда Халбиби пыталась перестелить постель по-своему.

А однажды пиала с горячим чаем вдруг сорвалась с ладони, упала и разлетелась вдребезги.

Глядя на осколки, Халбиби виновато и растерянно проговорила:

— Вай, доченька, что же я наделала!

— Ничего, мамочка. Говорят, посуду бить — к счастью. Сами-то не обожглись?

— Вроде нет...

Она, нагнувшись, принялась подбирать черепки. Айкиз остановила ее:

— Зачем вы, мамочка, я и сама уберу. Вот я вам уже чай налила в другую пиалу. Пейте, отдыхайте.

Халбиби отрадные были и ласковый голос дочери, и ее забота, и то, что Айкиз такая хозяйственная и расторопная.

Едва она отхлебнула несколько глотков горячего чая, как мягкая теплота разлилась в груди. Сидя на полу, на курпаче, перед хантахой, рядом с дочерью, закрыв ноги широким подолом выцветшего, стираного-перестираного платья, Халбиби медленно попивала чай. Порой, взяв со скатерти пиалу дрожащей рукой, привычно пристроив ее на колене, она долго смотрела на нее, думая о чем-то своем...

Чай остывал, из золотисто-каштанового он становился темно-коричневым, а Халбиби все не отрывала от пиалы немигающего, как во время болезни, взгляда. Айкиз, которая то неслышно уходила из комнаты, то опять возвращалась, в такие минуты осторожно касалась плеча матери:

— Мамочка, не надо. Слышите?

— Ох, дочка, я все вижу его... маленького...

Губы Халбиби еле шевелились. Айкиз, хмуря брови, смотрела на мать и думала: «Как изменчивы губы у матерей. Когда мы счастливы, они улыбаются и делаются девически свежими, но из-за нас же они бывают сухими, солеными от слез, черными от горя и скорби...»

У Халбиби, когда она начала вспоминать о Тимуре, губы стали морщинистыми, как все ее лицо.

— Бешик его я летом всегда под урючину уносила... Прибегаю как-то, а он стоит в бешике, крохотный такой, а уже стоит на слабых ножонках. Я так и обмерла — от радости и страха. Только страх тут же прошел, осталась одна радость: вот он, думаю, мой Тимур — уже большой, уже встал на ноги!..

Она замолчала. Крупная слеза косо побежала по щеке к мочке уха. Тыльной стороной ладони Халбиби вытерла щеку и продолжала все тем же прерывистым шепотом:

— Никогда мне не забыть, как он впервые сел на коня. Не сам, конечно, отец его посадил. Я закричала: «Сними, он же маленький, убьется!..» Конь у нас был сердитый, с норовом...

Внезапно она прервала свой рассказ, спросила:

— Дочка, а где же наша сестрица? Что-то давно ее не видеть.

— Какая сестрица?

— Лена-апа.

— Елена Никитична?

— Ну да. Что же это она глаз к нам не кажет?.. Она-то ведь ни в чем не виноватая...

— Заболела она, мама. В тот самый день и слегла...

Когда Халбиби слышала о чужой беде, то забывала о своей. Она заговорила уже не шепотом, а в полный голос:

— Что с ней? Надо ее навестить.

— Я навещаю ее, мамочка, не беспокойтесь. И все, что надо, у нее есть.

— Она ведь совсем одна...

— Я знаю, мама. И не забываю о ней. Она ведь нам как родная...

Елена Никитична Горышева приехала в Алтынсай осенью 1941 года. Муж ее погиб в первые же дни войны. Сама она была эвакуирована из-под Воронежа вместе с восьмилетней дочуркой Сашей сначала в Саратов, а потом в Узбекистан. Долго они добирались до нового

жилья, много дней провели в вагонной тесноте, сутолоке, среди слез, шума и ругани... В дороге девочка заболела брюшным тифом. Чтобы спасти ее, добыть для нее еду, Елена Никитична распродала последние вещи: оренбургский пуховый платок, шерстяное синее платье, обручальное кольцо. Но ни материнская забота и нежность, ни белые сухарики и творог, которые мать с трудом доставала на станциях у торговков, — ничто не в силах было вернуть Сашу к жизни. Елена Никитична похоронила ее на безлюдном степном полустанке, в горячих сыпучих песках, и через неделю прибыла в Алтынсай совсем седая...

— Ты мне напомни, доченька, — попросила Халбиби, — чтобы я завтра проведала ее. А ты самсы напеки.

— Ладно, мама, — Айкиз вздохнула. — Только, говорят, ей уже не подняться.

— Вай, бедняжка! То-то я думаю: что это от отца вестей нет? Уж пора бы... А письма-то, оказывается, и разносить некому...

— Почему некому? У нас почтальоном теперь ваш племянник, сын дяди Гаффура, Азамат.

— Азамат? — На лице Халбиби отразилась тревога.

— Чего вы так испугались, мама?

— Да нет, ничего. Не люблю я его. Сама не знаю почему, а не люблю, и все тут. Впору бы его пожалеть, ведь отец-то в тюрьме...

— Там ему и место! — вырвалось у Айкиз.

— Нельзя так, дочка. Ожесточишь свое сердце — никто и тебя любить не будет.

— А мне и не надо любви таких, как дядя Гафур и Азамат. Слышали бы вы, что мне на днях сказал этот Азамат...

— Что, дочка?

Но Айкиз прикусила язык. Поспешно удалившись в соседнюю комнату, она принялась там греметь посудой в шкафу. Халбиби ждала ее, сидя на курпаче, обняв руками колено. Потом, не выдержав, поднялась и пошла к дочери.

— Так что он тебе сказал?

Айкиз приняла удивленный вид:

— Вы о ком, мамочка?

— Да племянник, Азамат?

— Ах, Азамат!.. А я уж давно о нем забыла.

— Дочка, не лукавь!.. Ты же сама начала мне рассказывать...

— Не помню, мама, о чем.

— Об Азамате. Будто он что-то сказал тебе такое... Может, угрожал? С него станется.

— У-гро-жал? Мне? Пусть сперва нос вытирать научится!

В голосе Айкиз звучало презрение.

Она так ничего и не рассказала матери о своей недавней встрече с Азаматом. Но у самой из головы все не выходила эта встреча и разговор, который она вспоминала с суеверным страхом...

...С Азаматом она столкнулась на улице.

— А, сестренка! Салам, салам,— проговорил он развязно,— давненько мы не виделись. А мне надо сказать тебе кое-что...

Он сдвинул за спину брезентовую сумку, помолчал, мрачно потупясь.

— Что же ты запнулся? Говори, не бойся.

— А я и так не боюсь. Скажу, все скажу.

Они стояли на узкой тропке, с краю дороги. Ночью, перед самым рассветом, пробушевала гроза, пролился дождь, и дорога еще не просохла, а тропку на обочине ветерок успел подсушить.

Азамат, четырнадцатилетний подросток с густыми сросшимися бровями, был моложе Айкиз, но выше ее на целую голову. Руки у него хоть и неуклюжие, но длинные, сильные, а над верхней губой чернел пушок.

Раздувая ноздри, Азамат проговорил:

— Мы с мамой все ждали, что ты и тетушка Халбиби навестите нас. Ведь это ты отца в тюрьму посадила, из-за тебя мы кормильца лишились!

— А я к вам заглядывала,— спокойно сказала Айкиз,— только все дома никого не заставала.

Слова Азамата насчет отца она пропустила мимо ушей, только чуть побледнела...

— Кстати, мог бы и ты нас проведать. Ведь у нас горе...

— Горе? — Глаза его горели.— Нет, аллах мало вас покарал!.. Тебе еще не то будет за твою подлость!

— Ты что, начал в аллаха верить? — как-то деревянно рассмеялась Айкиз.— Тогда мне тебя жалко...

— Ты нас однажды уже пожалела. Себя лучше по-

жалей. Вот получишь еще похоронную...

Айкиз, оцепенев, молча смотрела на Азамата, наконец у нее вырвалось с хрипом:

— Что?.. Что ты сказал?

Но Азамат уже торопливо шагал прочь. И проворно шмыгнул в первый же проулок.

Придя в себя, Айкиз бросилась за ним, но парежь словно сквозь землю провалился.

Айкиз не знала, что она сделала бы, если бы догнала Азамата. Может, задушила бы собственными руками. Или надавала звонких пощечин, чтобы больше неповадно ему было распускать язык, сама она и врагу не могла бы пожелать такое!..

«Ну, попадись мне только! — думала она с угрозой. — Только попадись...»

Но с Азаматом ей в ближайшее время так и не довелось встретиться. Он явно избегал Айкиз, а письмо Алимджана, которое пришло на ее имя дней через пять после их разговора, передал ей через Лолу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У Халбиби сил прибавлялось с каждым днем. Она могла уже сама управляться по дому, и Айкиз стала выходить на работу в поле. Мать старалась забыть о своем горе, но часто ни с того ни с сего у нее начинал предательски дрожать подбородок и по щекам катились обильные слезы. Халбиби вытирала их ладонями, рукавом, прижимала к лицу, сняв с головы, ситцевый платок, а слезы все лились, их невозможно было унять...

Она раздражалась рыданиями в самые неожиданные моменты: обметая веником ковер или начищая самовар.

Как-то она надумала подштопать домотканую рубаху, которую Умурзак-ата носил еще парнем, до свадьбы. С тех пор он ни разу не надевал ее, и все сорок лет она пролежала на дне сундука, под грудой разноцветного тряпья.

В этот сундук, массивный, зеленый, обитый узкими полосками оранжевой и черной жести, Халбиби прежде не заглядывала месяцами. Там хранилось белье, новые и старые бельбоги, шерстяной яхтак Умурзака-ата, три ситцевых платья Айкиз, одно праздничное, из полосатого атласа, бархатные безрукавки, тубетейки, красивая ков-

ровая тесьма для шальвар и еще кое-какая мелочь, в которой не было срочной надобности.

Халбиби полезла в сундук за рубахой Умурзака-ата и с этих пор стала рыться в нем чуть не каждый день, а иногда даже и по ночам.

Подняв крышку сундука, она садилась перед ним на корточки либо на маленькую табуретку, вынимала все вещи, а потом по одной укладывала их обратно, подолгу рассматривая какую-нибудь пуговицу или старый бельбог, напоминавшие ей о прошлом...

И принималась плакать навзрыд, потому что всякий раз находила не замеченную раньше вещь, когда-то принадлежавшую Тимуру: то тюбетейку, которую она сама ему сшила из красного бархата, то исписанную школьную тетрадку, то ашички, в которые он играл, когда был маленький.

Однажды она обнаружила зеленый сапожок — его сапожок! — из мягкого сафьяна и долго, мучительно припоминала, когда же, в какой знаменательный день отец купил Тимуру такие приглядные сапожки? Слезы застилали глаза... Ей так и не удалось ничего вспомнить. Тогда она стала искать второй сапожок, перетрясла весь сундук, — сапожка почему-то там не было...

От этого она заплакала еще горше.

Неожиданно ей попался на глаза кокон, обыкновенный шелковичный кокон, невесть как оказавшийся в сундуке. Возможно, она сама супула его туда вместе с тряпьем, а может, дети запрятали — они ведь были такие непоседы... И чем только не занимались! Вон недавно из тетрадки, которую Халбиби извлекла из сундука, выпал урюковый листок, гладкий, пунцовый, пожелтевший возле корешка. Видно, кто-то из сыновей подобрал его осенью, в листопад, и засушил. Как знать, может быть, и Тимур...

Еле сдерживая слезы, Халбиби вертела в руках белый кокон, и внезапно ей вспомнилось, что ведь когда-то она гырачивала и сдавала колхозу шелковичные коконы — и шла впереди всех, молодые не могли за ней угнаться.

В червоводнях у нее был образцовый порядок: стены гобелены, чисто, опрятно, как в больнице, и тутовые ветки, объединенные шелкопрядами, не валялись где попало — она вовремя их убирала и не уходила обедать или ужинать, не парезав свежих веток с сочными, разлапистыми, зелеными листьями. Эти ветки она раскладывала по

деревянным — в несколько этажей — нарам, где находились толстые, бархатистые шелкопряды, которые густо усеивали ветви и точили, точили листья, ели, ели их без перерыва.

У Халбиби раньше, чем у других, завивались в червоводне первые коконы.

Вполне возможно, что кокон, который она держала в руках, был из этих первых. В какой-то из сезонов она увидела его в червоводне и принесла домой показать мужу и детям. Полюбуйтесь, мол, у меня уже первый кокон завился!..

Кокон в колхозе считались ценным сырьем.

А ведь нынче в шелке нужда еще бóльшая. Шелк нужен фронту... Так что же она сидит сложа руки дома, возле своего сундука? Ах, беда, собственное-то несчастье совсем ей глаза застило, сколько дней потеряно даром!.. Хотя нет, за доброе дело никогда не поздно взяться, она еще подсобит, в меру своих сил, фронтовикам-джигитам!..

Решительно закинув тряпье обратно в сундук, Халбиби встала, захлопнула крышку.

Надо было спешить в червоводни.

На улице Халбиби бодро поздоровалась с Айбуви, которая когда-то слыла в Алтынсае первой красавицей, а теперь сгорбилась от старости. Но задерживаться не стала, бросила на ходу:

— Извините, тетушка, некогда мне, тороплюсь.

И не успела даже поведать, куда торопится.

Кто-то окликнул ее сзади:

— Тетя Халбиби! Тетя Халбиби!

Она сделала вид, будто не слышит, не оглянулась даже и ускорила шаг, чтобы побыстрее свернуть за угол. Там, в самом конце тихого переулка, как бы замыкая его, белели длинные постройки под золотистыми камышовыми крышами — новые червоводни, сооруженные колхозом перед самой войной. За ними курчавилась листва молодой тутовой рощи — единственного источника корма для шелкопрядов.

Халбиби не терпелось зайти в червоводни, навести порядок, — без нее-то уж какой там порядок! — а также поглядеть, что делается в роще: окопаны ли деревья, правильно ли производится обрезка веток. За рощей необходим тщательный, постоянный уход, только тогда у шелкопрядов будет в достатке корма.



Голос, звавший ее, слышался прямо за спиной:
— Тетя Халбиби!

Она обернулась и увидела Азамата. Он стоял, широко расставив ноги, держась обеими руками за лямку своей сумки и тяжело отдуваясь:

— Уф! Еле догнал вас. Кричу, кричу, а вы не слышите. Куда это вы так топаетесь? Мне говорили, вы больная...

Халбиби, не отвечая, с тревогой переводила взгляд с брезентовой сумки подростка на его лицо, словно желая определить, зачем она понадобилась юному почтальону. Ведь он бежал за ней, — значит, хотел что-то сказать...

Ох, не к добру эта встреча...

Азамат, которому не по себе сделалось от ее испуганного взгляда и оттого, что лицо ее стало серым, а лоб начал вдруг покрываться испариной, сам слегка побледнел. Сняв с головы тибетейку, он вывернул ее наизнанку, вытер вспотевшие виски:
— Фу, жарница!

Хлопнув тибетейкой о ладонь, он вновь ее надел.

Халбиби, испытывая все большее беспокойство, внут-

ренне холодея, напряженно спросила:

— Ну, зачем я тебе?

Азамат, заглянув в сумку, достал оттуда письмо:

— Вот. Это вам.

У Халбиби враз пересохли губы, с них сорвался не шепот даже, а шелест:

— Погляди, от кого письмо-то...

Азамат повертел в руках конверт:

— Тут не написано. Может, прочесть вам письмо?

— Прочти, сынок, прочти.

Старуху уже била дрожь...

Азамат вскрыл конверт, извлек из него небольшой листок и стал вслух читать:

— «Ваш сын, старший сержант Алишер Умурзаков, в бою за Советскую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество, пал смертью храбрых на поле боя. Похоронен с отдаением воинских почестей».

— Что? — тихо сказала Халбиби. И тут же голос ее перешел в крик: — Нет, нет! Сыночек!.. Сыночек мой!..

Она махала перед лицом руками, будто отгоняя что-то, глаза ее остекленели.

Азамат сложил вдвое листок, сунул его в конверт, вздохнув, сказал:

— Война! Ничего не поделаешь.

А Халбиби вдруг начала ловить ртом воздух и медленно валиться вперед и на бок.

— Тетушка! — бросился к ней Азамат. — Тетя Халбиби, что с вами?

Он успел подхватить ее и слегка встряхнул, с трудом удерживая обмякшее, отяжелевшее тело.

— Да скажите же хоть слово, тетя Халбиби!.. Что это вы?.. Погодите, я сейчас воды вам дам.

Осторожно опустив Халбиби на землю, он метнулся



к арыку, зачерпнул тибетейкой воды, кинулся назад, встал возле старухи на колени, трясущимися руками поднес к ее губам тибетейку... Халбиби лежала неподвижно, не размыкая губ, вода текла по подбородку на шею, за ворот платья...

Азамат внимательно посмотрел на нее и тут же в страхе отпрянул, вскочил на ноги и пустился бежать по пустынной улице, ярко освещенной солнцем. Промчавшись шагов десять, он резко остановился и почему-то на цыпочках двинулся назад.

Голова Халбиби покоилась на зеленой траве, а тело вытянулось; казалось, она спала...

Приглядевшись к ней, Азамат закричал:

— Люди!.. Эй, люди, слышите?! Тетя Халбиби умерла!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Фигура Азамата надвигается на Айкиз, глаза у него пылают, как у молодого дива, брови сдвинуты. Он остановился, сумрачно озираясь, и Айкиз с ужасом сказала себе: «Он меня, меня ищет! Неужели опять с похоронной? И в сумке его — горе, смерть?.. Нет, нет!.. Это невозможно, невысказано, чтобы убили еще и Алимджана! Зачем тогда небо, птицы, цветы, деревья? Зачем тогда все?»

Азамат все ближе; Айкиз, прячась от него, плотнее прижимается к стволу старой шелковицы и явственно слышит стук своего сердца. Объятое страхом, словно пламенем, оно бьется часто, тревожно и гулко, как колокол. Осторожно выглядывает она из-за дерева и видит, как Азамат роется в брезентовой сумке. И почему-то вспоминает о большом фиолетовом чернильном пятне на дне этой сумки, — оно бросилось Айкиз в глаза, когда она полезла в сумку и нашла там похоронку на Тимура. Сейчас оно, наверное, прикрыто новой похоронкой... Недаром же Азамат ищет ее, Айкиз! Он направляется к дереву, и Айкиз падает на колени, а потом пичком ложится на землю, затаившись, спрятав лицо в траве, стараясь не дышать и больше всего на свете боясь, как бы Азамат не обнаружил ее.

Почему же так страшит ее встреча с Азаматом? Почему так боится она этого верзилы и его сумки? А как же не

бояться? Ведь однажды он уже принес похоронную — на Алишера, и тогда умерла мать. Он может принести похоронку и на Алимджана. Теперь осталось только на Алимджана... И у Айкиз разорвется сердце.

Нет, она не должна этого допустить, вот сейчас Азамат подойдет к ней, и она бросится на него и придавит, и уж он не сумеет вручить ей страшный конверт... Ой, какая чушь лезет ей в голову! При чем тут Азамат? Сумка-то его останется... А в сумке...

Все равно, она должна его проучить, он негодяй, подлец, иначе разве решился бы угрожать ей смертью близких?.. Злобный пес, весь в отца!.. Еще и молоко на губах не обсохло, а сколько злобы в душе!..

Пес, пес!.. Таких надо уничтожить!

Неожиданно кто-то произносит над ней:

— Айкиз! С кем это ты разговариваешь?

«Разве я вслух говорила? — удивляется Айкиз. — Ведь я это все про себя...» Она тихонько поднимает голову и вскрикивает, обомлев от радости:

— Ой! Алимджан-ака! Это вы?

Чувство радости все ширится, переполняет до краев сердце, рвется из груди наружу...

«Что же я лежу? — спохватывается Айкиз. — Надо встать!» Она вскакивает на ноги, и щеки ее горят от смущения и счастья — огромного, как небо над ней.

— Алимджан-ака, — шепчет она, не веря своим глазам. — А где же Азамат? Он только что стоял вон там, он принес на вас похоронную, а я спряталась от него. Вы живы, Алимджан-ака?

— Как же ты выросла, Айкиз! — слышит она голос Алимджана.

Он в гимнастерке, которая ему так к лицу, в хромовых сапогах и в черной чувстской тубетейке с белыми узорами. Но через плечо у него перекинута брезентовая сумка Азамата, и Айкиз снова делается страшно, потому что ведь в этой сумке — похоронная на Алимджана!..

Но он-то об этом не знает и говорит ласково, обращаясь к Айкиз:

— Когда я уезжал на фронт, ты была совсем еще девочкой. Помнишь, как мы прощались?

— Помню.

— А цветущий миндаль помнишь? Я парвал тогда целую охапку. Я бы весь его оборвал, только бы ты помнила обо мне.

— Я помню. Я все время о вас помню! Но вы скорее возвращайтесь с войны, я боюсь за вас, у меня на сердце тревога, вы так далеко.

Алимджан кивает ей, потом, повернувшись, начинает удаляться.

— Алимджан-ака! — в отчаянии кричит Айкиз. — Куда же вы? Пойдите! Возьмите меня! Я хочу с вами, слышите, я хочу с вами!..

Алимджана почти не видно, и она пускается бегом, пытаюсь догнать его, она бежит изо всей мочи и вдруг с ужасом замечает, что не продвинулась ни на шаг, и рядом с ней шелковица, за которой она пряталась от Азамата, и Алимджан уже далеко-далеко!..

Все-таки она рвется за ним, и все топчется на месте, и силы ее оставляют, и она, задыхаясь, кричит что-то, не слыша собственного голоса...

...Но тут до нее доносится из темноты родной, глуховатый голос отца:

— Айкиз!.. Что ты так кричишь, дочка? Проснись!

Отец легонько тормозит ее за плечо, и она просыпается и видит над собой согбенную отцовскую фигуру, но все еще не может различить — где сон, где явь? Она вся еще во власти ночных сновидений, и ей чудится, что и отец тоже ей снится...

Но чувствует она себя уже спокойней, потому что в голосе отца — ласка, участие. И от этого ей тепло и уютно.

Она уже не спит. Медленно возвращается к действительности... Ладонями ощупывает во тьме свое лицо: на лбу холодная испарина, а уши и щеки в огне...

— Что тебе приснилось, дочка? — Умурзак-ата осторожно присаживается на самый краешек постели. — Видно, что-нибудь страшное?

— Ох, отец, такой страх...

И Айкиз вздыхает с облегчением: слава богу, это был всего лишь сон!..

Со дня смерти Халбиби прошло уже много времени, Умурзак-ата давно вернулся домой после поездки на фронт.

Как его встречали в колхозе!..

Летний день хлопился к вечеру. И хотя у каждого были свои неотложные дела — во дворах мычали еще не доенные коровы, беспризорно слонялись овцы и телята, а в казанах остывал недоваренный ужин, — все алтынсайцы, от мала до велика, высыпали на улицу. Тут были и белобородые старцы, аксакалы, с посохами в руках, и женщины, и дети.

Люди стояли плотной стеной по обе стороны улицы. Старики, опираясь о свои посохи, чинно беседовали о чем-то и поглядывали на дорогу, в сторону большого карагача, высившегося на повороте, — оттуда и должен был показаться Умурзак-ата. Женщины судачили о домашних делах и солидно обсуждали последние сводки Совинформбюро. Дети вели себя как дети: то устраивали на дороге веселую возню, то затевали ссору, доходившую чуть ли не до драки, и тогда матери унимали не в меру расшалившихся забияк и награждали их шлепками, и как это часто бывает, больше всех доставалось тихоням, а заводилы оставались в стороне...

Внезапно все зашумели, заволновались, ребятишки бросились вперед, к карагачу.

— Едут, едут!

Первым на гнедом иноходце появился Умурзак-ата. Это был любимый конь Кадырова, и то, что сейчас на этом коне восседал не председатель колхоза, а Умурзак-ата вызвало в толпе веселое оживление. Кадыров же трусил на сером усталом мерине с обвисшим брюхом, который чувствовал себя под седлом неуверенно, ему привычней было тянуть плуг или телегу. Чтобы мерин не отставал от иноходца, Кадыров то и дело нахлестывал его камчой. Коню это, видно, не нравилось, он недовольно тряс мордой, позвякивая уздечкой.

Въехав в родной кишлак, Умурзак-ата натянул поводья, заставив коня идти шагом. Гнедой, как все иноходцы, обычно передвигался быстрой, спорой побегкой и теперь, сдерживаемый тугим поводом, шагал с напряженной медлительностью, высоко поднимая копыта, как цирковая лошадь на манеже.

Всем бросилось в глаза, как хмур и мрачен Умурзак-ата.

Еще в поезде он встретился случайно с сердобольным дехканшом из соседнего кишлака, и тот сообщил ему

о гибели старшего сына и смерти Халбиби. Весть была настолько неожиданной и чудовищной, что Умурзак-ата долго не мог в нее поверить. В первую минуту он ужаснулся, а потом засомневался, начал терзаться самыми противоречивыми предположениями. Однако чем ближе подходил поезд к родным местам, тем больше попадалось сердобольных знакомых. Наконец на станции, куда приехали встретить своего посланца первый секретарь райкома Джурабаев и председатель колхоза, Умурзак-ата уже достоверно узнал, что его не обманывали, и, уронив голову на грудь, весь отдался черным думам...

Всю дорогу от станции до Алтынсаея он молчал. Кадыров засыпал его вопросами: как встретили колхозных представителей на фронте, по душе ли пришлось бойцам подарки, как там вообще, на войне, и верно ли, что немцы бегут без оглядки?.. Им двигало и простое любопытство и желание отвлечь Умурзака-ата от мрачных мыслей. Старик отвечал ему неохотно, односложно. И опять надолго замолкал...

В Алтынсае его горячо приветствовали земляки, он едва успевал раскланиваться с ними, приложив ладони к сердцу, с некоторыми мужчинами обменивался рукопожатиями, не слезая с седла.

Но вот все заметили его угрюмость, и шум стал стихать.

К дому Умурзак-ата подъехал в полной тишине, хотя по-прежнему был окружен народом.

Айкиз заранее начала готовить себя к встрече с отцом, — главное было — не расплакаться, — и, поджидая его дома, крепилась изо всех сил.

Но едва отец очутился во дворе, как она с криком бросилась к нему, прижалась щекой к стремям и заголосила не по-девичьи, а по-бабьи: громко, с надрывом, безудержно. Она так крепко вцепилась в стремя, касаясь волосами пыльного отцовского сапога, что ее долго не могли оттащить. А Умурзак-ата словно застыл в седле, не в силах пошевелиться. Когда он наконец спрыгнул на землю, Айкиз припала к его груди, продолжая рыдать...

Обняв дочь за плечи, он вошел в пустую комнату, постоял немного, оглядываясь в какой-то растерянности, а потом тяжело опустился на курпачу возле тахты и

закрыл лицо руками. Между его нагруженными, узловатыми пальцами проступили скучные слезы...

Умурзак-ата еще не успел оправиться от горя, которое обрушилось на него так неожиданно, а ему уже пришлось выступать перед колхозниками с отчетом о поездке. И он все силы напрог, чтобы перебороть скорбь, говорил почти спокойно, чуть приподнято:

— Отечество наше ведет священную войну с лютым врагом — немецкими фашистами. Войну тяжкую, кровопролитную... Сказать по чести, даже Тамерлаи или Исхандер Двурогий не могли бы сравниться с гитлеровскими извергами своей мощью и своим злодейством. Многие наши сыновья... — тут у него запершило в горле, он нутжно откашлялся, — многие не вернутся домой, в родной Алтынсай... Но враг отступает!.. — Он услышал в разных концах помещения, где собрались колхозники, женские всхлипы и причитания, сдвинув брови, сдавленным голосом сказал: — И не надо плакать, дорогие матери, сестры мои дорогие! Нынче у нас есть чему и порадоваться. Наши сыновья гонят врага! Враг бежит, хотя нам еще далеко до фашистского логова, Берлина. И немало придется повоевать нашим джигитам, пока они добудут победу. Тут, друзья, и от нас многое зависит. Мы должны удесяттерить свои усилия в труде во имя победы! Да, удесяттерить! Слышите, алтынсайцы?.. Знаю, вы и так себя не жалеете, но стране, фронту требуется все больше хлеба. Вы спросите: откуда же его взять? Я думал над этим... Еще когда ехал сюда, все ломал голову: как же нам вырастить побольше пшеницы?.. У нас имеются такие возможности, надо лишь распахать целину по эту сторону гор. Ведь сколько земли еще не тронуту плугом!..

В зале раздались нестройные голоса:

— Про целину мы и сами знаем! Давно знаем! Только рядом-то Кызылкумы, пустыня, с ней шутки плохи!

— Посеем пшеницу, налетит суховея — все погубит!

Умурзак-ата поднял руку, призывая собравшихся к тишине:

— Спокойней, друзья!.. Преградить путь суховею — это в наших силах.

— Как мы его обуздаем?

— Его ничем на удержишь!..

— Как это ничем?.. — Умурзак-ата махнул рукой куда-то в сторону запада. — А если мы на границе пус-

тыни поставим зеленый заслон? Высадим карагач, джиду?

— Когда еще вырастет этот карагач?

— Сказать по чести, карагач долго растет,— согласился Умурзак-ата.— Ну, а джида? Растет, где ни посадишь. Глядишь, уже через три-четыре года на краю пустыни вымахнет зеленая стена и не пустит к нам кызылкумский песок. А может, мы и еще до чего-нибудь додумаемся, всем-то миром. Вот и давайте обмозгуем, посоветуемся: что нам надо сделать, чтобы приблизить день победы?!

Горячие аплодисменты и дружные одобрительные возгласы были ему ответом.

Умурзак-ата с жаром взялся за работу.

Айкиз понимала: отец всем своим чистым и честным сердцем жаждет помочь фронту, все силы отдать делу победы и в то же время хочет забыться в работе, уйти, спрятаться от гнетущей скорби.

Порой все же он не мог с ней совладать, тяжкая тоска накатывала на него черной волной, он бродил по двору, сторбленный, молчаливый, рассеянный... Постучит сапогом в подгнивший столб под сараем, а потом долго стоит, словно вспоминая, что же он намеревался сделать. Или снимет с гвоздя уздечку, будто собираясь куда-то ехать, задумается о чем-то и повесит уздечку на прежнее место.

Чаще всего, заложив руки за спину, низко опустив голову, он направлялся в дом, стоял, покурясь, возле пустых сыновних постелей. Потом подходил к маленькой этажерке с книгами, доставал одну, другую и, подержав в руках, даже не раскрывая, ставил опять на этажерку.

Айкиз в такие минуты больно было глядеть на отца. Сама с трудом сдерживая слезы, она старалась увести Умурзака-ата из комнаты и все делала, чтобы рассеять его.

Как-то она заваривала для отца любимый его зеленый чай, а он вышагивал по комнате сыновей. Айкиз слышала его шаги и думала: пусть погрустит в одиночестве, наверно, ему хочется поплакать, и не надо мешать этому, слезы ведь облегчают душу...

Вдруг она насторожилась — до нее донесся голос отца. Айкиз перепугалась: что это с ним, неужели он разговаривает сам с собой?.. Она метнулась было к ком-

нате братьев, но у порога задержалась, словно споткнувшись, и, нахмуясь, прикусила губу, потому что в комнате звучал еще один голос — голос ненавистного Азамата...

Притаившись за косяком, Айкиз стала слушать, о чем говорят Азамат и отец.

— Зачем же ты ходил в милицию? — строго спросил Умурзак-ата. — Ну, что молчишь? Или корова тебе язык отжевала?

— Пускай... пускай меня арестуют... и в тюрьму посадят, — сказал Азамат так тихо, что Айкиз еле разобрала. — Кругом я виноват.

Айкиз замерла, потом, не утерпев, выглянула из-за косяка, чуть отодвинув занавеску. Азамат стоял перед отцом, спиной к Айкизу, с понуренной головой.

Умурзак-ата, пожевав губами, внимательно посмотрел на Азамата, неторопливо проговорил:

— Чепуху ты мелешь, парень.

Айкиз еле сдерживалась, чтобы не ворваться в комнату и не крикнуть: «Ты такой же негодяй, как твой отец! Убирайся отсюда!»

— Нет, не чепуху, — упрямо произнес Азамат. — Если бы я тогда не догнал ее... и не отдал ей похоронную...

— А ты разве знал, что там, в конверте?

— Откуда же, дядюшка Умурзак!.. Письмо-то было запечатанное. Я даже думал — может, порадую ее...

Айкиз все-таки не выдержала и вбежала в комнату, крича:

— Не верьте ему, отец. Он все врет! Он знал! Он давно мне грозил! — Она повернулась к Азамату, глаза у нее горели беспощадным блеском. — Зачем ты пришел? Уходи! Убирайся!

Азамат не двигался с места, глядел на Айкизу виновато и растерянно. Она топнула ногой:

— Слышал, что я сказала?

— погоди, дочка, не шуми, — мягко остановил ее отец. — Сказать по чести, чем он мог тебе грозить? Разве он распоряжается человеческими судьбами?.. Он разносит по домам радость и горе — такая уж у него должность, но в чем его-то вина?.. Это все война, дочка...

— Все равно я не хочу его видеть!

— Сестрица Айкиз, — пробормотал Азамат. — Не сердись на меня. Я правда ни в чем не виноват.

— А зачем в милицию ходил? Да ведь ты же только что сказал отцу, что виновен!

— Ну. Это я сам себя виноватым чувствую... Я ведь и верно угрожал тогда... со зла... Но я столько пережил за последнее время... А что я тетушке Халбиби письмо прочитал, так она меня сама попросила. Не сердчай, сестрица Айкиз. Я сам себе места не нахожу... Так все получилось...

— Ладно, племянник, успокойся, никто тебя ни в чем и не винит. Пошли чай пить.— Умурзак-ата обнял Азамата за плечи.— Пошли, Айкиз у нас умница и уже простила тебя. Правда, дочка?.. В такую-то пору грех друг на друга сердиться... Всем тяжело.

Вот после этого Айкиз и приснился Азамат.

Присутствие отца успокоило ее, она нашла в темноте его руку, погладила ее, спросила ласково:

— Я разбудила вас?..

— Нет, дочка, я еще не ложился спать. Да и сплю я теперь, как перепел: вздремнул, встряхнулся — и готов, выспался.

Айкиз села в постели, вытянув ноги.

— Знаете, кто мне приснился? Азамат. И я боялась его во сне, боялась, что он еще принесет мне похоронную. И все старалась от него спрятаться. Мне казалось, что если я спрячусь и он меня не найдет, то никакой похоронной и не будет. А он шел прямо на меня, тогда мне совсем стало страшно...

— Ты кричала во сне. Все звала кого-то, только я не разобрал кого.

Айкиз почувствовала, как у нее запылали уши, и в то же время вздохнула облегченно: слава богу, отец не слышал, чье имя она произносила... Справившись со смущением, она как можно беззаботней сказала:

— А так бывает во сне: зовешь кого-то, а кого — и сама не знаешь.

Отец помолчал, погладил Айкиз по голове.

— И в поле устаешь, и во сне тебе нет покоя. Ох-хо, до утра-то еще далеко. Надо пойти соснуть хоть немного.— Он поднялся, но все не уходил.— И ты спи. И не думай ни о чем дурном... Какие еще похоронные? Не могут же на фронте всех до одного перебить, вернуться домой наши джигиты... С нас-то хватит, двоих потеряли...

Нет, троих... Больше уж и некого...— Спohватившись, что только нагоняет на дочь тоску, он торопливо сказал: — Ты спи, спи. И пускай мысли у тебя будут не черные, а светлые — тогда и сны приснятся хорошие. И на Азамата не гневайся, за что ты его, в самом деле, невзлюбила? Знал бы он, что письмо убьет нашу мать, так припрятал бы его подальше. Он ведь не злодей какой. Ну, отец его вор, а он-то при чем? Надо с ним мягче... Мы все должны сделать, чтобы он вырос честным, добрым человеком. Ну, спи, дочка. Спи...

После его ухода Айкиз долго еще сидела, подобрав колени к подбородку и обняв их руками, и с нежностью думала: «Какой ты славный, отец!.. Ведь догадываешься обо всем, но не хочешь меня ни смущать, ни тревожить... Все бы были такими — мудрыми и чуткими...»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Айкиз смеялась — звонко, весело. Она стояла у скалы, под отцветающим миндальным деревом, словно под розовым облачком. Алимджан, добравшийся до деревца и уцепившийся за него, изо всех сил тряс миндаль, лепестки густо сыпались на нее сверху, как снег, пушистый и теплый... И Айкиз смеялась.

— Хватит, Алимджан-ака! — кричала она радостно. — Хватит!..

А цветы миндаля все летели на нее, и Айкиз то широко раскидывала руки, подставляя ладони розовому снегу, то запрокидывала голову, чтобы цветы падали на ее счастливое лицо, словно чистый «слепой» дождик при ярком солнце.

Внезапно, то ли устав, то ли чувствуя себя недостойной того счастья, которое дарил ей Алимджан, она присмирела, опустила и руки и голову.

Алимджан, не переставая трясти деревце, крикнул ей сверху:

— Айкиз, что случилось? Почему примолкли? Я не слышу вашего смеха!..

— И она опять засмеялась:

— Пожалейте дерево, Алимджан-ака!.. Вы уже совсем его осыпали! Довольно, хватит!..

Алимджан по-солдатски ловко, легко спрыгнул на тропинку.

— Посидим здесь, Айкиз? Жаль уходить, уж больно славный уголок.

— Посидим...

Лепестки миндаля устлали землю вокруг пушистым розовым ковром. Айкиз присела на круглый камень, тоже усеянный цветами. Алимджан пристроился чуть поодаль. Они долго молчали, испытывая чувство неловкости, не зная, о чем говорить. Наконец Айкиз молвила задумчиво:

— Вот и окончилась война, Алимджан-ака. И вы дома... Как же я ждала этих счастливых дней!.. Порой казалось — и не дождусь никогда... И война будет длиться, длиться бесконечно... А я ведь, послушавшись вас, учиться поступила, на заочный. Ох, как трудно было, Алимджан-ака!.. Я думала — не выдержу. Институт. Работа в колхозе. Заботы, тревоги... Никогда мне не забыть, как пришло известие о гибели Алишера. Мама умерла... Отец на фронт поехал. Я — одна... А надо и учиться и помогать колхозу... — Она сжала щеки ладонями. — Ну, ничего, теперь все позади... И война позади... — Взяв горсть лепестков, она стала пересыпать их из руки в руку. — Алимджан-ака, а почему вы так долго не приезжали?

Она чуть щурилась, и Алимджан, заглянув ей в глаза, строгие, внимательные, спрашивающие, ласково улыбнулся:

— Ведь война была, Айкиз.

— Когда она кончилась-то? А вы приехали только вчера... Что вы делали все это время?

— Я ведь вам писал, Айкиз.

— То письма...

— А рассказывать я не мастер. Ну, служил в Берлине. Нельзя же было всех солдат сразу домой отпустить. Только сейчас они начинают возвращаться.

— Как же вы жили там, в Берлине, после войны?

— Айкиз, я вам когда-нибудь подробно обо всем доложу, ладно?.. Да вы и из моих писем многое должны знать. Я ведь вам отправил за последнее время уйму писем!

— И я — уйму! — улыбнулась наконец Айкиз. — И в каждом письме спрашивала, когда же вы вернетесь. Помните?

— Еще бы. Я все ваши письма наизусть знаю...

— И я ваша...

Они опять замолчали. Айкиз губами взяла с ладони цветок миндаля, пожевала его.

— Попробуйте. Знаете, какие они вкусные. Терпкие такие и душистые...

Алимджан захватил в пригоршню целую кучу цветков, Айкиз рассмеялась:

— Что вы делаете? Это же не еда!.. Надо взять один лишь цветок, и обязательно губами... И вы почувствуете, какой он прохладный, влажный... и вкусный!

Он тоже пожевал цветок, не отрывая взгляда от Айкиз, а она заговорила задумчиво, опустив голову и перебирая на ладони розовые лепестки:

— Чудно... Никогда не думала, что можно глядеть на эти цветы... толковать о них... сдувать их с ладони... и не желать больше ничего на свете!..

Алимджан кивнул:

— И у меня в душе сейчас — рай!.. А все потому... — Он загнулся, пристально глянул на Айкиз. — Потому что вы — рядом. Больше и правда нечего желать. Я хочу, чтобы мы... всегда были вместе!..

Айкиз, казалось, пропустила мимо ушей это признание.

— Пусть всегда на земле будут мир и тишина! — воскликнула она горячо. — Алимджан-ака, а вы не заметили, что время сейчас бежит куда быстрее, чем в войну. Тогда оно тянулось медленно-медленно, и я подгоняла его: скорей бы кончился день, скорей бы была победа!.. Так хотелось сократить путь до нее!.. А теперь... я прямо ничего не успеваю сделать, дни мелькают, как птицы!.. Надо к экзаменам готовиться, а времени не хватает... Ну и ладно, что не хватает! Лишь бы были мир и тишина... Это самое большое счастье, правда, Алимджан-ака?

— Правда, Айкиз. И мне даже не верится, что я снова в Алтынсае.

— Вы боитесь проснуться, да? — тихо спросила Айкиз.

— То есть?..

— Ну... А вдруг все это сон? И мир, и тишина, и то, что мы сидим с вами рядом, под нашим миндалем...

Алимджан отметил про себя это «под нашим», с улыбкой пожал плечами:

— Сон?.. Нет, Айкиз, к счастью, это все-таки явь!

— Ох, а мне порой не терпится ущипнуть себя и проверить, сплю я или нет. И мне страшно: а вдруг я

проснусь, и все исчезнет!.. И не будет ни вас, ни цветущего миндаля, ни весны, ни мира, ни счастья, и время опять потянется медленно-медленно!..

— А я боюсь засыпать, — помрачнев, сказал Алимджан. — Все, что было, мне подчас кажется тяжелым, кошмарным сном. Война... атаки... бомбежки... пожары... И ты бежишь, спотыкаясь о трупы, или отдыхаешь в молодом вишненике, а на листьях — кровь... Багровая, как вишневый сок... Все это противоестественно, Айкиз, этого не должно быть, ведь люди рождаются не для войны, а для мирного труда, для счастья... Но это было, я видел все наяву, а теперь часто вижу во сне. Потому и ложусь спать с опаской: как бы мне все это опять не приснилось...

— Не надо об этом... Напрасно я затеяла этот разговор... Поглядите вокруг, Алимджан-ака, хорошо, правда? Вы писали, что представляете себе Алтынсай райским уголком. Значит, мы с вами в раю!.. Сидим себе в облаках из розовых лепестков!.. Над нами — миндаль, и кругом — миндаль, и под нами — мягкий пушистый ковер! Это вы расстелили его, Алимджан-ака! — Айкиз повела рукой вокруг, широкий рукав атласного платья скользнул к плечу, обнажив смуглую нежную кожу. — Это и есть счастье, правда?

— Да, — сказал Алимджан, любуясь ее рукой. — И ничего другого мне не нужно. А вам, Айкиз?

Она притворилась, что не слышала вопроса, и стала глядеть в высокое предвечерне-синее небо.

— Когда-то я любила наблюдать за полетом орлов...

— А сейчас?

— И сейчас люблю. Только в детстве все это было интереснее. И небо и орлы казались огромными...

Наклонившись, Айкиз принялась ладонями подгрести к себе цветы миндаля и по щиколотку зарыла ноги в розовом ворохе. Алимджан некоторое время молча следил за ней, а потом кинулся помогать. Передвигаясь на коленях, он широко захватывал обеими руками мягко шелестевшие цветы и лепестки и отгребал их к ногам Айкиз.

— Ой, Алимджан-ака, не падо! — запротестовала Айкиз, заливаясь краской. — Спасибо, не надо больше!

Но Алимджан не слушал ее и еще энергичнее мелк к ней охапки лепестков, легких, как пена.

Словно испугавшись чего-то, — может, той решимости, с какой катил на нее Алимджан эту шуршащую пену, — Айкиз вскочила и отбежала в сторону. И не успел он разогнуться, как она набрала целый ворох цветов и высыпала ему на спину и на голову. Смеясь и вовремя отскакивая от него с детской резвостью, Айкиз все хватала горстями с земли цветы и кидала их в Алимджана.

Он, уже выпрямившись, смотрел на нее, добродушно улыбаясь, и не знал, что делать. Ему так хотелось обнять и расцеловать ее, только он не решался... А может, сейчас самое время взять ее за руки и спросить, согласна ли она выйти за него замуж?!

Вздыхнув глубоко, он чуть хрипловато проговорил:

— Вот возьму тебя на руки... и унесу далеко-далеко... на край света!

Впервые сегодня он обратился к ней на «ты». И Айкиз, отпрянув от него, задорно, дразняще крикнула:

— Унесите!..

Она отбежала еще дальше.

— Ну, унесите меня, Алимджан-ака!..

Сорвавшись с места, Алимджан настиг ее несколькими большими прыжками и, подняв на руки, поцеловал...

Айкиз притихла, закрыла глаза... Но это длилось всего мгновение. Опомнившись, она торопливо освободилась из его объятий и, ступив на землю, нахмурилась, — видно рассердившись не на шутку.

— Вот что, Алимджан-ака, — сказала она твердо, — стойте здесь и не двигайтесь до тех пор, пока я не приду в Алтынсай.

— В Алтынсай?

— Да. Пока я не окажусь дома.

Круто повернувшись, Айкиз быстро зашагала по тропе в направлении кишлака.

Алимджан, опешив, с минуту молча смотрел ей вслед, потом нерешительно окликнул:

— Айкиз!..

Она не отозвалась и не оглянулась. Он позвал ее погромче, но она даже не повернула головы.

Алимджан постоял немного, пока Айкиз не скрылась из виду, а потом опустился на траву в некоторой растерянности. Сорвав зеленую былинку, он задумчиво покусывал ее, ощущая во рту горьковатый вяжущий привкус...

На душе было и радостно и чуть тревожно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сидя у перевала на своем любимом большом камне, раздумывая о том, что ей пужно сделать, чтобы ее землякам жилось лучше, размышляя о прошлом, Айкиз вспомнила и о своей встрече с Алимджаном под заветным миндальным деревцем... Они тогда впервые увиделись после возвращения Алимджана из армии, и сейчас в ее памяти ярко и свежо всплывали подробности этого свидания: падающие на нее теплым розовым снегом цветы миндаля, и признание Алимджана, и его поцелуй, и ее бегство... С какой решительностью вырвалась она из его объятий и какой у него был растерянный, виноватый вид!.. Айкиз всегда улыбалась, вспоминая об этом...

Больше он уже не отваживался ее поцеловать, только иногда робко брал за руку и спрашивал:

— Айкиз... Ну, скажите мне наконец... Вы согласны?

А она до сих пор не дала ему ясного ответа. И сама не понимала, почему медлит с этим ответом, мучая и Алимджана и себя. Ведь она любит Алимджана, давно любит, еще с девчоночьей поры. Что же мешает ей признаться в этом? Стеснительность? Страх перед крутым поворотом судьбы? Неуверенность в себе, в прочности чувств — своих и Алимджана? Ведь их любовь зрела на расстоянии и не прошла еще проверки самой жизнью. А может, она не решается думать о своем счастье, потому что слишком свежи душевные раны, нанесенные смертью матери и братьев?..

Задумчиво похлопав плеткой по сапожку, Айкиз спрыгнула с камня и позвала:

— Байчибар!

Конь, позвякивая уздечкой, щипал неподалеку траву. Когда Айкиз приблизилась к нему, он поднял морду, и с мягких его губ на желтый сапожок девушки упала зеленая пена. С укоризной покачав головой, Айкиз наклонилась и пучком травы почистила сапожок. Потом, ведя Байчибара в поводу, направилась по лужайке к узкой тропе, с которой у нее связано было столько воспоминаний... Тропа эта походила на переброшенную через перевал ленту, один конец которой доставал до Алтынсая, а другой терялся в богарных пшеничных полях, расположенных за перевалом.

К киплаку тропинка сбегала по крутому горному склону, то прыгая с уступа на уступ, то огибая громозд-

кие валуны. словно дерзкий ручеек, пробивалась она к подножию Коктау сквозь плотную гущину ореховой рощи и алое пожарище распустившихся по весне маков и резво устремлялась к садам Алтынсай, вливаясь в его главную улицу.

Многие алтынсайцы предпочитали эту горную тропинку добротной грунтовой дороге, по которой идти или ехать на богару было, может, и удобней, но куда дольше. Дорогой пользовались в основном во время уборки пшеницы да в сенокосную страду, — травы в здешних местах росли сочные, душистые, и сено из них было для скота слаще хлеба.

Идя к тропинке, Айкиз не отрывала глаз от раскинувшейся внизу долины.

Все подножие Коктау, начиная от окраины кишлака, будто охвачено пламенем — это цвели полевые маки. Пламя взбиралось и выше по склону горы, а потом гасло: маковые луга сменялись зарослями дикого сизограда, а ближе к перевалу ореховыми и фисташковыми рощами.

В первые же весенние дни на горы, на холмы, на окрестности Алтынсай словно опрокидывалась с неба многоцветная, переливчатая радуга, опоясывая все изумрудными, алыми, синими полосами: это тянулись к солнцу тюльпаны, фиалки, маки, буйная трава.

А за радугой, обнимавшей и кишлак, к западу от Алтынсай морем, играющим яркими красками, разливалась степь, терявшаяся в далекой серебристой дымке. И посреди этого моря, словно сказочный обетованный остров, снежно белел Алтынсай, утопавший в пышных цветущих садах.

Но так бывало только весной...

А когда кончались дожди и наступало знойное лето, окрестный пейзаж резко менялся, краски его блекли, красота увядала... Нещадно палящее солнце высасывало из цветов и травы все соки, выжигало все вокруг, и недавняя радуга словно линяла, и море, радовавшее глаз богатством оттенков, становилось желто-бурым...

Дехкане, заслоняя ладонями глаза от солнца, глядели сквозь жаркое струящееся море на выжженную, бесплодную землю и вздыхали: ох, много у нас земли, да что от нее толку, вот если бы напоить ее вволю, тогда отдала бы она людей добрыми урожаями и хлеба и хлопка...

О хлопке в Алтынсае мечтали все, от мала до велика, — ведь Узбекистан — это край «белого золота». Но как его вырастить без воды? Солнца, которое так любит хлопок, здесь хватало, а вот воды не было. Не было в Алтынсае поливных земель. Кормила дехкан лишь пшеница, вызревавшая на богаре теперь уже по обе стороны Коктау, а урожаи ее целиком зависели от дождей: прольются они в какую-то счастливую весну обильно и щедро — и заколосится тогда на холмах пшеница, а не повезет с дождями, что чаще всего и случалось, и на пшеницу больно смотреть — такая она хилая, низкорослая...

Однако даже в удачную пору, когда на богаре перекатывались под ветром сизые тяжелые волны пшеницы, тревога не оставляла алтынсайцев, и они часто поглядывали на запад, туда, где степь сливалась с пустыней, носившей имя Кызылкумы — Красные пески.

Мертвые, страшные это были места, каждую минуту оттуда мог подуть сухой, знойный губительный ветер гармсилъ и сжечь, уничтожить весь урожай, добытый тяжким трудом.

Айкиз, вступив на тропинку, остановилась и долго глядела вдаль, в сторону пустыни.

Красные пески... Почему их так называли: красные? Наверно, потому, что красный цвет — это цвет огня. А пустыня как раз и насылала на алтынсайские сады, поля, луга огонь, нестерпимую, иссушающую жару, грозные, все испепеляющие на своем пути суховеи.

Ох и натерпелся же алтынсайцы от Кызылкумов! От пустыни можно было ждать только беды.

Правда, несколько лет назад, по инициативе Умурзака-ата, дехкане воздвигли меж степью и пустыней зеленую стену — полезащитную лесную полосу. Они высадили здесь карагачи и джиду — деревья крепкие, выносливые, способные вытерпеть и зной и жажду, — чтобы навсегда преградить дорогу извечному врагу земледельцев — огненному гармсилю.

Саженцы уже заметно подросли и шумели густой листвою. Их хорошо было видно с перевала.

Неожиданно Айкиз почувствовала, что кто-то осторожно стягивает косынку у нее с головы. Она обернулась и не удержалась от смеха. Тонкую шелковую косынку уже держал в губах Байчибар, держал бережно, за самый кончик — он ведь только хотел обратить на себя внимание хозяйки.

— Ну, озорник! — с веселым упреком сказала Айкиз. — Значит, решил, что я о тебе забыла? Плохого же ты обо мне мнения. В наказание стой теперь с косынкой, а я пока косы уложу — растрепал ты мне их, негодник.

Но только она взялась за свои косы, как Байчибар выронил косынку, и она упала на траву. Айкиз подняла ее, перебросила через плечо и ладонью легонько шлепнула коня по мягким губам.

— Ну, до чего ты нетерпеливый! Вот тебе. Получил? Стой смирно. А я попробую красоту навести. — Айкиз вздохнула. — Мне так хочется быть красивой, Байчибар!..

Уложив венцом вокруг головы заплетенные черные косы и повязав их шелковой косынкой, Айкиз достала из кармана жакетки маленькое круглое зеркальце, критически разглядывая свое лицо, нахмурилась недо-ольно, но тут же улыбнулась, поправила косынку и спрятала зеркальце обратно.

Байчибар, казалось, с любопытством наблюдал за ней, Айкиз ласково погладила его по гриве...

— Байчибар, Байчибар, ничего-то ты не понимаешь в наших людских заботах, только и знаешь что фыркать... Верно, удивляешься, что я наедине с собой начала прихорашиваться? А я, дружище, ни в чем не терплю беспорядка. Вот сейчас еще раз сапожки почищу... Мало ли, что меня никто тут не видит!.. Все равно надо следить за собой. Человек всегда и во всем должен быть строгим к себе — строгим и требовательным. И на людях и когда один остается. Положим, прическа и сапожки — пустяк... Так из пустяков, из мелочей облик человеческий складывается... И если мы заметим какой непорядок — в себе ли, вокруг ли, — так обязаны тут же его устранить. Разве не так, Байчибар?.. Только взыскательность и строгость и помогут нам избавиться от недостатков. Понял?.. А недостатков кругом еще хватает... Люди часто попадают в силки мелочных обид, зависти, сплетен, предрассудков... Иные до преступления доходят, вот как дядя Гафур... А ведь человеку и дышать стало бы свободней и работать легче, если бы вырвал он с корнем из своей души все сорняки!.. Гора с плеч! Вот, значит, и нужно бороться со всяческими недостатками — в себе и в других. Ох, что-то я расфилософствовалась... Пошли домой, Байчибар!

И Айкиз двинулась по тропинке вниз, к кишлаку. Проходя мимо памятного места, где в войну прятал

колхозное зерно дядюшка Гафур, она подумала о его сыне Азамате. Айкиз и Умурзаку-ата так и не привелось взять парня под свою опеку: Азамат неожиданно покинул кишлак, подался в Голодную степь. По слухам, он работал там не за страх, а за совесть, словно стремясь искупить грехи отца.

За ореховой рощей Айкиз вышла на берег Янгаксай — Орехового ручья. Его мелкие волны весело звенели, перескакивая с камня на камень, пенные брызги горели под солнцем. Он казался бурным, задиристым, этот горный ручей, а на самом деле его еле хватало на то, чтобы насытить землю под садами и огородами. От Янгаксай шел вниз, к кишлаку, арык, летом забиравший всю воду. Лишь весной воды в ручье было вдосталь, и Янгаксай нес ее к глубокой каменной котловине, где сливался с Узумсаем — Виноградным ручьем.

Словно обрадовавшись встрече, обе речки с бесшабашной удалью срывались в узкое ущелье и образовывали Алтынсай, Золотой ручей, давший название и кишлаку. Вырвавшись из ущелья, Алтынсай бежал по низине, левее кишлака, и терялся в Кызылкумах.

Напоив коня в Янгаксае, Айкиз подтянула подпругу и ловко вскочила в седло.

Не доехав до кишлака, она свернула в сторону, к целине, которая начиналась у подножия гор и тянулась далеко-далеко, чуть не до самого горизонта... Айкиз хотелось, в который уж раз, глянуть на землю, таившую в себе жизнь, но веками спавшую, наподобие сказочной красавицы, которую можно было пробудить, лишь брызнув на нее живой водой.

Земли этой еще не касался дехканский плуг, и за долгие годы ни зернышка не упало в ее тучное лоно.

Проезжая целиной, Айкиз, сдвинув брови, думала: напоить бы водой эту землю, и она подарила бы колхозу неслыханные урожаи, и выросли бы на хирманах горы хлопка — «белого золота». Только где взять эту воду?

С грустью смотрела Айкиз на пламенеющие маки, обступавшие ее со всех сторон. Она знала: еще немного — и потухнет этот пожар, останется лишь бурое пепелище... Лава солнечных лучей выжжет здесь все живое.

Но ведь совсем недавно и Голодная степь лежала мертвая, бесплодная, изнывая от жары и жажды. Пришли люди — и оживили ее, они привели воду, оросили рас-

трескавшуюся землю, и она пышно вспенилась хлопчатником, зазеленели на ней сады и виноградники, а еще, говорят, там нынче созревают самые сладкие дыни...

Стоило только приложить руки...

А чем они, алтынсайцы, хуже мирзачульцев? Разве не жаждут они лучшей жизни, достатка, и не умеют трудиться, и не хотят дать родине больше и хлопка, и шеницы, и фруктов?..

Где бы раздобыть воду для целинных земель?

Вся во власти этой думы, Айкиз уже не раз навывалась и в горы, где журчали пока не слишком щедрые Янгахсай и Узумсай, и на целину, прикидывала что-то про себя, ломала голову над одним и тем же вопросом, внимательно разглядывала окрестности...

Казалось, она выезжала на разведку. Только проку от этого пока не было.

Вот и сейчас, труся по целине на верном Байчибаре, она зорко посматривала по сторонам.

Неожиданно ее внимание привлек один из холмов, высившийся неподалеку от подножия Коктау. Под холмом что-то ослепительно сверкало на солнце — словно стекло.

Но откуда тут взяться стеклу?..

Айкиз натянула поводья, глянула на холм из-под ладони, но так ничего и не смогла разобрать.

Пустив коня рысью, она помчалась к холму. И увидела нечто загадочное и непонятное: в неглубокой промоине голубовато блестела вода.

Если бы дело было ранней весной, Айкиз не удивилась бы. В такую пору в горах обычно разражались грозы и ливни, и мутные дождевые потоки, шипя и пенясь, устремлялись вниз, — после этого в предгорьях, в образовавшихся глубоких и мелких промоинах, по нескольку дней держалась вода.

Но дождей давно уже не было. Каким же образом у холма появилась вода?..

Да не мутная, а чистая, прозрачная.

Родник... Откуда он здесь? В этих местах сроду не было никаких родников, — во всяком случае, Айкиз о них никогда не слышала.

Она спрыгнула на землю, чуть топкую, пропитанную влагой, и приблизилась к голубому озерцу.

Воды в нем было совсем немного, она вытекала из

озерца тихим невзрачным ручейком и тут же исчезала, — ее жадно всасывала земля.

Айкиз несколько раз обошла озерцо, потом опустилась на колени у самого его края, погрузила руки в студеною воду и принялась разгребать на дне мелкий щебень, затаенный илом. Родник забил сильнее, озерцо замутилось. Но все равно было видно, как пульсирует тугая водяная струя. Понаблюдав с минуту за ее движением, Айкиз плотно прижала ладонь ко дну, прикрыв место выхода родника. Струя упруго билась под ладонью, силась вырваться из-под нее. «Как будто сердце стучит, — с волнением подумала Айкиз. — Ох, как гулко!..»

Казалось, она ощущала рукой живой ток крови — крови земли... И это было отрадное ощущение.

Руки у нее заледенели, она вынула их из озерца, поднялась, не сводя глаз с воды.

Так откуда же все-таки взялся тут родник? Помнится, и в прошлом году и еще раньше она проезжала мимо этого места, и никакого родника не было, она готова была поручиться за это. Он словно только-только вырвался из недр земли. Загадочное явление!..

Холм, возле которого образовалось озерцо, был небольшой, весь поросший дикими каперсами и синими колокольчиками. Имя он носил зловещее — Холм рабов. Возможно, с этим холмом связана какая-нибудь легенда, и Айкиз пожалела, что до сих пор не удосужилась спросить у отца, почему у холма такое название. Ей вдруг вспомнилось, что еще прошлым летом, проезжая вдали от холма, она подивилась, отчего это он такой зеленый. Вся земля вокруг выгорела, а Холм рабов выделялся ярким пятном, напоминая издали верхушку карагача. Почему-то она не задумалась тогда над этой странностью. А ведь, верно, уже в то время холм питала вода родника...

Айкиз обвела взглядом необычное озерцо, и на глаза ей попало что-то темное, выступавшее из-под земли на другой стороне: камень не камень, коряга не коряга... Айкиз прошла к этой «коряге», ударила по ней каблуком. От нее отвалился слой почвы, упал в озерцо, взбаламутил воду.

И Айкиз снова пришлось изумиться, потому что перед ней был обнажившийся край старого, большого пня.

Значит, когда-то здесь росли деревья?..

Айкиз шагнула к холму и наткнулась еще на один

пень, походивший, под толстым слоем земли, на шляпку огромного гриба. И чуть поодаль тоже горбатился пенек, напоминающий каменную глыбу...

Полусгнившие пни остались от могучих чинар. Да, сомнений больше не было, прежде вокруг холма высились чинары, целая роща чинар. Они толпились возле источника — ведь чинарам нужна вода, много воды.

И тут было много воды.

Только вот когда — сто, двести лет назад? И почему итсаяк родник, куда он подевался? И кто и зачем срубил чинары?

Сколько вопросов, а ответа нет ни на один.

В глубокой задумчивости Айкиз поднялась на вершину холма, огляделась...

И ахнула: да как же до сих пор никто ничего не замечал? Или земляки ее ни разу не взбирались на этот холм?

Впрочем, чему она удивляется? Ведь сама она девчонкой не раз сюда прибегала, и подолгу стояла на вершине холма, и ничегошеньки-то не видела; земля, окружавшая холм, казалась однообразной, и Айкиз, всласть падышавшись воздухом, который был тут вроде свежей, чем внизу, и сорвав два-три цветка, тоже вроде бы особенно сочных и ярких, широко раскинув руки, птицей слетала вниз... Да, она тогда была беспечной, как птица, и дивилась и радовалась красоте мира во всей его необъятности, не замечая необычности мелочей и деталей...

Все было удивительным!

Теперь же она поражалась, как могла пройти мимо того, что так и бросалось в глаза.

Правда, тогда она здесь ничего не искала и не одолевала ее нынешние мысли и заботы.

Лишь ищущий взгляд по-особому пристален и внимателен... И только большая озабоченность приводит к большим открытиям.

Айкиз сперва даже не поверила своим глазам. Но нет, она ясно видела тянущуюся невдалеке от промоины, в которой скопилось вода родника, длинную, ровную впадину, и это не могло быть ничем иным, кроме как высохшим руслом небольшого оросительного канала.

Как же она прежде-то не обратила на него внимания? Ну, озерца-то здесь просто не было, иначе она наверняка бы его приметилла.

А впадина была.

Правда, берега канала давно обрушились, земля заровнялась и заросла травой, и все же старое русло прослеживалось довольно отчетливо.

Видно, раньше, когда она смотрела с холма вниз, мысли ее были заняты совсем другим.

Канал... Тут, возле Алтынсая, когда-то проходил канал. И по нему со звоном бежала вода. Вода, которой так не хватало алтынсайцам!

Айкиз испытывала радость, изумление, замешательство. Она еще не представляла, к чему может привести ее открытие и обернется ли оно пользой для ее земляков, и все же думала с трепетной надеждой: а вдруг она нашла то, что искала?..

Надо было спешить в Алтынсай.

Вскочив на коня, Айкиз галопом понеслась по долине, сплошь поросшей красными тюльпанами.

Она пригнулась почти к самой гриве Байчибара, смотрела не вперед, а вниз, и чудилось ей, будто она недвижно висит в воздухе, а под ней, вся в цветах, мчится земля ярким, веселым потоком. И все вместе — это многоцветье летящей назад земли, и захватывающая дух скорость, и сознание того, что она вот только что сделала удивительное открытие — все наполняло ее душу восторгом, ликованием, ощущением собственной силы. Казалось, нет таких преград, которые она, Айкиз, не могла бы преодолеть, нет таких трудностей, с какими она не справилась бы, и все возможно, все достижимо, она в состоянии добиться всего, что задумано, загадано, осуществить самые заветные свои мечты и желания.

А она о многом мечтает и многого хочет!..

Ей хочется счастья. Хочется быть вместе с Алимджаном. Хочется поскорее порадовать земляков своим открытием... Ведь ей уже ясно, как можно добыть воду, и это сейчас важнее всего.

«Вода, вода, вода!» — свистел в ушах встречный ветер.

«Вода, вода, вода!» — отстукивали копыта Байчибара.

«Вода, вода, вода!» — пело сердце в груди.

Айкиз казалось, что Байчибар не скачет, а еле плетется. Не обойтись, видно, без камчи. Она хлестнула коня плеткой, он по-волчьи поджал уши, вытянул шею и ускорил бег, распластавшись над самой землей...

Умурзак-ата, как всёгда, поднялся с рассветом. Ведь сон у стариков короткий — с воробьиный клюв. Привычно подпоясавшись бельбогом, он вышел на айван. Белая бязевая рубаха, даже перехваченная бельбогом, доходила ему почти до колен, широкий вырез открывал грудь, почерневшую от загара, поросшую редкими седыми волосами.

Высокий, широкоплечий, Умурзак-ата все еще отличался немалой силой, хотя и слегка ссутулился под тяжестью прожитых лет, под гнетом горя и невзгод, которые обрушились на него в войну.

Но он не сдавался, и живые огоньки сверкали в его глазах.

Не глядя, Умурзак-ата сунул ноги в остроносые каалоши, стоявшие у порога, неторопливо спустился во двор, озабоченно посмотрел на восток, где темнела вершина Коктау, оглядел все небо, и лицо у него прояснилось: слава богу, и нынешний денек обещал быть погожим.

Старик принялся хлопотать по хозяйству: прежде всего разжег самовар, купленный еще при жизни Халбиби, но и сейчас совсем новый, зеркально отливающий своими гранями. Халбиби, бывало, всякий раз, ставя самовар, протирала его мягкой фланелевой тряпкой, теперь это делал Умурзак-ата, — как тут самовару не блеснуть?

Под навесом блял единственный в хозяйстве баран, привязанный к колышку. Старик наполнил его из помятой алюминиевой миски, подложил ему сухого клевера. Курам и петуху, которые следовали за хозяином по пятам, кинул несколько горстей кукурузы, только тогда они отстали. С минуту он постоял посреди двора, припоминая, что же еще надо сделать, и тут на глаза ему попался большой рыжий пес, уже немолодой, смиренный и добродушный, с приставшими к бокам репьями; он выжидающе смотрел на хозяина и вилял хвостом.

— Ну вот, про тебя-то я и забыл, — сокрушенно проворкотал Умурзак-ата и направился было за черствой лепешкой для собаки, но на полдороге остановился и сказал, повернувшись к псу: — Ладно, потерпишь. Вот буду чай пить, тогда и тебя накормлю.

Подбросив в самовар сухих чурок, которые он спе-

циально колол каждый день, старик взялся за веник. Он тщательно следил за своим двором, подметал его утром и вечером, и соседи, проходя мимо двора Умурзака-ата, задерживались, любуясь царившими там чистотой и порядком.

Солнце поднялось уже над вершиной Коктау, и в его лучах двор выглядел еще нарядней и уютней. Повеселели цветы на грядке; анютины глазки и незабудки, росшие возле айвана, еще не обронив слезинок росы, потянулись к солнцу, словно улыбаясь ему...

Земля во дворе, гладкая и твердая, как гончарное блюдо, зарозовела, подрумянилась... Подметая двор, Умурзак-ата то и дело выпрямлялся и поглядывал в сторону Коктау. Если кто-нибудь, пешком или на коне, поднимался на перевал или спускался с него, то отсюда, со двора, его хорошо было видно. Старику, впрочем, нужен был не «кто-нибудь», а Айкиз — вот уже третий день, как она уехала на богару, где сейчас сеяли яровую пшеницу, горох и ячмень.

Эти три дня, проведенные в одиночестве, казались Умурзаку-ата долгими, как три года. Ведь Айкиз была единственной его радостью. И когда она отлучалась по делам, а это происходило все чаще, старик места себе не находил, беспокоясь за дочь.

Вот и сейчас он думал с тревогой: что ж это дочка так долго не возвращается? Может, не ладится что на богаре? Или в дороге с ней что-нибудь случилось? Правда, она могла заглянуть и на ферму, и к пастухам, и в соседний колхоз, — забот у нее хватало...

Старик все глаза проглядел, но на горной тропе так и не появилось ни души.

Внезапно, спохватившись, Умурзак-ата отбросил в сторону веник и кинулся к самовару, — вода бурно клококала под крышкой, шипя, выплескивалась горячими брызгами. Сняв черную жестяную трубу, старик поспешил в дом и вынес оттуда фарфоровый чайник, на ходу заглядывая в него и прикидывая, достанет ли для заварки зеленого чая, который он насыпал туда второпях.

Присев перед кипящим самоваром, старик ждал, пока чайник наполнится кипятком.

Блаженная минута!.. Терпкий запах свежезаваренного чая проникает, кажется, в самую душу, лаская и согревая ее, струйка кипятка горит на солнце, и все существо твое переполнено предвкушением чаепития...



Но только Умурзак-ата успел прикрыть кран, как за его спиной стукнула калитка. Старик обернулся и увидел Алимджана, который стоял у калитки, приветливо улыбаясь, но не решаясь без приглашения войти во двор. Поднявшись с чайником в руках, Умурзак-ата заговорил обрадованно:

— О, Алимджан! Заходи, сынок, заходи. Здравствуй, дорогой. Все ли благополучно в твоём доме, все ли здоровы?.. Как твоя сестренка Лола? Все прыгает, как козочка? Куда сам-то собрался в такую рань?

Он с удовольствием оглядывал ладную фигуру гостя. Ему все нравилось в Алимджане: и скромность, соединённая с чувством собственного достоинства, и твёрдая солдатская поступь, и даже то, как он был одет, — сапоги начищены, военная гимнастёрка, порядком полинявшая, плотно облегает плечи и грудь, тонкая белая полоска подворотничка — снежной белизны и особенно выделяется на загорелой шее, широкий офицерский ремень туго перехватывает талию.

«Бережет свою военную форму, — с одобрением подумал Умурзак-ата, — дорожит ею. Она, пожалуй, больше ему идет, чем халат или рубаха. Из одежды-то домашняя у него только тюбетейка. Но и она ему к лицу».

Алимджан меж тем, подойдя к старику, произнес с прежней улыбкой:

— Салам, дорогой Умурзак-ата. Дома у нас все в порядке, все живы-здоровы, и Лола весела, как всегда, что ей сделается? А я вот решил вас проведать да узнать, не вернулась ли Айкиз.

Умурзак-ата вздохнул.

— Нет, сынок, она до сих пор не возвратилась. Уж не знаю, что и думать. Не дай бог, стряслось что с ней...

— Вы только не тревожьтесь, Умурзак-ата. Причин для паники нет — не впервые она так долго пропадает. Сами знаете, сколько у нее дел. Я, кстати, сегодня тоже собираюсь ехать на богару. Увижу там Айкиз — немедленно отправлю ее домой.

— Спасибо, сынок. Уж ты ее прогони оттуда. Падо же все-таки иногда и дома бывать.

Старик смотрел на Алимджана потеплевшим взглядом и мысленно хвалил его: «Ох, сынок, вырос ты на радость своим родителям: и красив, и смел, и душа добрая... Вот если бы...» Но он не додумал своей мысли, поглядел на

чайник, который все еще держал в руках, и торопливо произнес:

— Сынок, а не выпить ли тебе чаю перед дорогой? Успеешь еще на богару... Нет, нет, и не думай отказываться! Без завтрака я тебя не отпущу. Время еще раннее, твоя богара никуда от тебя не уйдет.

Поставив чайник на самовар, старик направился в дом за скатертью, но перед самым айваном остановился, прислушиваясь к чему-то. Алимджан тоже напряг слух. С улицы доносился быстрый стук лошадиных копыт, он становился все явственней... Умурзак-ата с какой-то радостной суетливостью кинулся к воротам. И едва он успел распахнуть их, как во двор въехала на Байчибаре Айкиз. Да не въехала — почти влетела и лишь посреди двора оторвалась от лошадиной гривы, выпрямилась и с ходу властно осадилла коня.

На землю она спрыгнула легко, весело, и улыбка бродила на ее лице, но Умурзак-ата и Алимджан, поспешившие к ней, заметили, как она устала: губы сухие, обветренные, на смуглом лбу — бисеринки пота, одежда в пыли. Видно было, что она не жалела ни коня, ни себя: ветер сбил у нее с головы косынку, волосы растрепались...

Алимджану, однако, показалось, что с ее появлением во дворе стало светлей и все вокруг ожило от ее улыбки.

Приняв у нее из рук поводья, Алимджан отвел коня под навес. Там он разнуздал Байчибара, ослабил подпругу, положил ему в колоду охапку душистого горного сена.

А Умурзак-ата, совсем потерявшись от счастья, стоял возле дочери и, не в силах вымолвить ни слова, с нежностью гладил ее по плечам, спутанным волосам.

Айкиз уж и не помнила, когда он был с ней так ласков, — пожалуй, лишь во времена ее детства. По мере же того, как она подрастала, он обходился с ней все строже, и хотя и не наказывал, но Айкиз порой начинала его даже побаиваться.

И вот прошли годы, — для Умурзака-ата годы утрат и горя, — и он опять начал относиться к дочке, как в былые, давние времена, когда она была совсем маленькой. Ведь теперь она одна у него. И он трясся над ней, как скупец над остатками своих сокровищ... Стоило Айкиз уехать куда-нибудь, и старика снедала тревога, он ходил по двору сам не свой; когда же она возвращалась, он был на седьмом небе от радости.

Конечно, его тяготило одиночество, и, когда Айкиз исчезала надолго, он скучал о ней, но еще больше — боялся за нее. Загружена она была сверх меры: то ей приходилось мчаться на богару, к чабанам или на фермы, то вызывали ее в район или область, то она была занята строительством новой школы, клуба. Случалось, что она по нескольку дней не бывала дома. И Умурзак-ата мучали страх и тревога, ему начинало казаться, что дочь в поездках не ест и не спит и вот-вот свалится с ног...

Он и сейчас принялся ласково укорять ее, как корил уже не раз:

— Ну, слыханное ли это дело — работать без сна и отдыха? Птица вон и то опускается на землю отдохнуть. Нельзя так, дочка, совсем ты себя не жалеешь. Ну, ладно, пошли чай пить. Ты, верно, совсем голодная, вот и позавтракаешь не торопясь... Самовар-то у меня давно кипит, уж убежал несколько раз, — видно, отчаявшись тебя дожидаться. — В голосе старика прозвучали шутливые нотки, но тут же он со вздохом добавил: — Ишь, трое суток пропадала, я извелся тут...

Когда Умурзак-ата скрылся в доме, Алимджан подошел к Айкиз, а она вдруг наклонилась и стала пальцем затирать на сапожке белую царапину. Две черные косы коснулись земли... Алимджан смотрел на эти косы, и ему хотелось поднять их и долго, бережно держать на ладонях; он следил за тем, как Айкиз старательно замазывает царапину на мягком голенище, и ему хотелось самому нагнуться и помочь ей...

Айкиз, видно, почувствовала на себе его взгляд; посмотрев на Алимджана снизу вверх, сказала:

— Алимджан-ака, отец завтракать нас зовет. Вы идите, а я пока умоюсь с дороги.

— Во-первых, где же ваш «салам», Айкиз? — тихо, с нарочитой обидой спросил Алимджан.

Айкиз выпрямилась, отбросила косы за спину, молвила смущенно:

— Салам, Алимджан-ака.

— Во-вторых, — продолжал Алимджан, — я вчера получил письмо. И очень прошу вас прочесть его...

— Но оно же вам прислано.

— Оно касается нас обоих. — Он расстегнул карман гимнастерки, достал сложенный вдвое листок, протянул его Айкиз. — Пожалуйста, прочтите его внимательно.

Но Айкиз не успела взять письмо, как их окликнул Умурзак-ата:

— Эй, молодежь, сколько можно вас звать? Дастархан накрыт, идите завтракать!

Пришлось Алимджану спрятать письмо обратно в карман.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Айкиз, предупредив отца, что скоро вернется, убежала в свою комнату, а Алимджан взял самовар, все еще сердито пофыркивающий, и следом за стариком поднялся на супу.

Супу эту Умурзак-ата сладил давно, еще до войны, он лепил ее из глины вместе с сыновьями, Тимуром и Алишером, а после каждую весну лишь слегка подправлял. Такую супу, застланную ярким ковром или шерстяным паласом, можно увидеть в каждом узбекском дворике. На ней, нежась в тени старого карагача или развесистой шелковицы, пьют чай, обедают, ведут неторопливые беседы, а порой, когда никто не мешает, пристраиваются подремать.

Поставив самовар на поднос, Алимджан огляделся, выбирая себе место, и опустился на ковер возле Умурзака-ата, привычно поджав под себя ноги.

Как мечтал он на фронте посидеть вот так на супе, под старой шелковицей, в уютном дворе... Тогда эти мечты казались несбыточными. И все-таки они осуществились, и над Алимджаном шелестят листья шелковицы, которая летом роняет белые ягоды прямо на скатерть. А на хантахте — чуть зачерствевшие лепешки из грубой крестьянской муки, вчерашние пирожки с головками молодой мяты, которыми минувшим вечером угостила Умурзака-ата соседка, кусок холодной отварной барапины, свежие сливки в большой пиале с утонувшей в них деревянной ложкой...

Казалось, и хантахта накрыта, и завтрак приготовлен умелыми женскими руками. Однако хозяйство в доме вел Умурзак-ата, и Алимджан подивился его рачительности... Завтрак получился отменный, гость украдкой глотал слюну, но ни к чему не притрагивался, терпеливо дожидаясь появления хозяйки. У него было время подумать над недавней сценой, когда он сунулся к Айкиз с письмом. Сейчас Алимджан досадовал на себя: как нескладно, не

кстати все это вышло, ведь должен же он был видеть, что Айкиз утомилась с дороги и ей не до письма... У него было такое ощущение, будто он, мчась на коне к заветному рубежу, почти уже достиг его, но в последнее мгновение конь споткнулся, и всадник вылетел из седла и теперь потирает синяки, сгорая от стыда и злясь на самого себя. А может, он все преувеличивал, потому что придавал слишком большое значение всему, что было связано с Айкиз.

Но вот и она — умытая, посвежевшая, с аккуратно уложенными волосами, в нарядном платье. Умурзак-ата, глядя на нее, посветлел лицом: «Счастье ты мое, зорька утренняя!» Присев за хантахту напротив Алимджана, Айкиз песмело подняла на него глаза, словно желая сказать: ты уж не хмурься, не сердись на меня за то, что я не взяла письмо, моей вины тут нет, мне правда надо было привести себя в порядок... Алимджан, казалось, понял ее, по губам его скользнула улыбка. Айкиз тут же потупилась и припрялась разливать чай.

Умурзак-ата, словно оправдываясь, произнес:

— Уж извини, дочка, что стол такой скудный... Была бы жива твоя мать... — Замолчав, он провел пальцами сперва по одной брови, потом по другой и с горьким вздохом закончил: — Уж тогда все было бы по-другому. Да, не хватает нам ее...

Айкиз тоже вздохнула. Каждый раз, когда отец за дастарханом вспоминал о матери, у нее сжималось сердце, но она старалась и виду не подать, как ей больно, и все делала, чтобы утешить отца, отвлечь его от скорбных мыслей.

Сейчас ей не терпелось рассказать и отцу и Алимджану о роднике, который она нынче «открыла»; подавая Умурзаку-ата пиалу с горячим чаем, она сказала:

— Отец, послушайте, какое чудо я сегодня видела...

— Так уж и чудо?

— Ну да!.. Нет, вы послушайте. Возвращаюсь я с богары домой, надумала поглядеть предгорные земли. Проезжаю мимо Холма рабов, вижу — возле него блестит что-то. Подъехала поближе, а там родник.

— Родник? А ты не ошиблась? Может, это дождевая вода застоялась?

— Да ведь последний дождь был недели полторы назад. Нет, это родник! Возможно, дожди и помогли ему выйти наружу: размыли, углубили промоину, открыли дорогу

ключевой воде. Но это еще не самое главное... У самого родника я обнаружила большущие пни. Выходит, там когда-то росли деревья? Пни-то от чинар. А чинары любят воду... У меня прямо сердце зашло от волнения. Но удивительней всего другое. Когда я взшла на холм, то увидела ложе старого канала. С холма он хорошо просматривается — вроде как след, оставленный прошлым. И след довольно отчетливый, я поразилась, как мы раньше его не замечали.

Айкиз вопросительно глянула на отца, но тот молчал, погруженный в раздумья.

— Значит,— продолжала она,— в этих местах когда-то существовала оросительная сеть, были поля, и вода бежала к ним по арыкам... Я права, отец? Вы ведь не можете не знать, что там было... уж не представляю сколько лет назад. Расскажите же нам про родник, про канал...

— Поскольку почтенный Умурзак-ата,— шутливо сказал Алимджан, пододвигая старику подушку,— один из организаторов нашего колхоза, ему действительно многое должно быть известно. И мы надеемся, Умурзак-ата, что вы поведаете нам нечто интересное...

Взбив кулаком подушку, старик подсунул ее себе под бок, задумчиво проговорил:

— Да, немало довелось мне повидать на своем веку и услышать о многом.— Он сдвинул седые брови.— Вы спрашиваете о Холме рабов? С ним связана страшная история, и я был ее очевидцем. Правда, давно уж не приходила она мне на память: как говорится, что было — былшем поросло... Но ты говоришь, дочка, родник там пробился?.. Выходит, прошлое постучалось в наш сегодняшний день. Ладно, расскажу я вам, как все было...

Умурзак-ата помедлил, как будто вызывая в памяти картины былого, провел ладонью по белой бороде.

— Случилось это около сорока лет назад. Тогда у Холма рабов, как народ испокон веку зовет это место, действительно пролегал канал и по нему текла вода. Но народ так и не успел ей воспользоваться — злодеи отняли у него воду.

— Кто же посмел это сделать? — одновременно воскликнули Айкиз и Алимджан.

— Я ведь сказал: злодеи. Преступники. Им прищемили хвост, и они сорвали зло на дехканах. Они отомстили

людям за то, что те наконец добились свободы и справедливости.

— Но так мстить... это же чудовищно, отец!..

— Тираны на все способны. Тиран страшней самого лютого зверя. Ведь зверь или побеждает в открытой схватке, или погибает, но никогда не мстит. А тиран ненавидит людей, и для него наслаждение — причипить им зло.

— Отец, вы ведь говорите о каком-то определенном человеке?

— Да, дочка, речь идет о прежнем властителе этих мест. Пока в руках у него была власть, он выжимал из дехкан все соки, пил их кровь, а когда у народа иссякло терпение и он поднялся на тирана, тот пошел на злодейское преступление...— Умурзак-ата усмехнулся.— Но, я вижу, любопытство ваше возбуждено, а смысл того, о чем я говорю, вам неясен... Что ж, придется рассказать все по порядку. Только вот Алимджан — он же спешит на богару...

— Нет, ата, богара и правда никуда от меня не уйдет. Я готов слушать вас хоть весь день.

Алимджан, чуть покраснев, посмотрел на Айкиз и торопливо перевел взгляд на Умурзака-ата.

Тот откашлялся, готовясь к долгому рассказу, и начал:

— Так вот, произошло все перед самой революцией. В то время Холм рабов считался священным местом. У подножия холма бил родник, и воды его хватало на то, чтобы орошать расположенные вокруг сады. А сады эти, как и все плодородные земли, принадлежали ишану Кабулходже. И никто не роптал, — ведь он считался святым человеком, угодным пророку Мухаммеду. Кому еще и владеть священной водой родника и землей, как не ишану — высокому духовному лицу?.. А дехкане, ютившиеся ближе к горам, в глиняных мазанках или землянках, были, по существу, рабами ишана, им приходилось гнуть спину на своего духовного владыку, потому что не имели они ни земли, ни воды. У любого сжалось бы сердце от жалости при виде этих людей, живших в нужде, терпевших голод, высухших под тяжестью подневольного труда. Но только не у ишана!.. Он никого не жалел, жадно пользовался плодами печеловеческих усилий своих рабов... Не выдержав жалкого существования в землянках и пещерах, дехкане переселились на новое место — вот сюда,

где нынче раскинулся Алтынсай. Но от рабства не избавились. Работали по-прежнему на ишана.

Ты, дочка, видела ши от чинар? Верно, у родника высились тогда могучие чинары. Люди говорили, что им лет по триста, не меньше. Две самые старые чинары, как и родник, тоже были объявлены священными — об этом твердили из поколения в поколение все ишаны, предки Кабулходжи, а темный, забытый народ верил этим сказкам. Сам Кабулходжа усердно распространял слух, будто священное место у Холма рабов обладает исцеляющей силой: стоит только бесплодной женщине преподнести щедрый дар ишану и провести несколько ночей в худжре, возле родника, под священными чинарами, и она, мол, избавится от недуга. Сказать по чести, многие женщины попадались на эту приманку, приезжали к роднику из дальних кишлаков. Правда, потом они являлись к ишану со слезами и робкими упреками: ведь исцеления так и не наступало... Ишан сердился, говорил, что они неисправимые блудницы, погрязшие в грехах, потому аллах и отказал им в своей милости. И выпроваживал недовольных женщин с такой брезгливостью, словно они были прокаженные. Число простодушных, однако, не уменьшалось, что помогало ишану приумножать свои богатства. Бессовестный, он только посмеивался над теми, кого удавалось ему одурачить...

Сказать по чести, богатства он копил не столько для себя — сам-то он уже состарился и не мог ими пользоваться в полное свое удовольствие, — сколько для единственного сына, Азимбая, в котором души не чаял. Сын был весь в ишана, не уступал отцу ни в жадности, ни в жестокости. И чем старше становился, тем все больше и жаднел и лютел. Скаредность его до того доходила, что он жалел и ячменной лепешки для своих работников. Как две пиявки, сосали они кровь из народа — белобородый, благочестивый с виду ишан и разжиревший Азимбай. Сынок, разбогатеv, решил, что ему все позволено, он держался этаким ханом и творил с людьми все, что хотел: мог цепями приковать своего работника к дереву, или на кол посадить, или кинуть со скалы в пропасть...

— За что? — вырвалось у Айкиз.

— А за малейшую провинность, пусть самую пустяковую. Да вот хоть бы такой случай. Как-то ночью один наш односельчанин, Джура, бедняк из бедняков, тайком

пустил воду на свой огород... Так Азимбай, прознав об этом, прикрутил несчастного волосяной веревкой к шелковице, росшей у него же во дворе.

— И вы все это терпели? — не выдержав, возмущенно спросил Алимджап.

— А что делать? Я ведь говорил — народ был темный, верующий, ну, ишан и запугивал всех карами, которые мог обрушить на них аллах. Люди боялись...

— Боялись... Уж, кажется, ничего страшней их жизни и придумать-то нельзя!..

Айкиз украдкой покосилась на Алимджана — от гнева у него потемнело лицо, никогда еще не видела она его таким...

— Твоя правда, сынок, — согласился Умурзак-ата, — плохо жили дехкапе — хуже некуда. И все же имя аллаха повергало их в трепет. А ишан и его сынок извлекали из этого выгоду для себя. Они только и помышляли, что о выгоде. И алчность их не знала предела, они гребли добро и все не могли насытиться. Я вот пиявками их назвал. Но пиявка, насосавшись крови, отваливается от тела, а эти, богатея, только раззадоривались и все искали возможностей за короткий срок разбогатеть еще больше. Уже незадолго до революции надумали они оросить земли у подножия гор и засеять их пшеницей.

И вот ранней весной ишан Кабулходжа и Азимбай повелели всем своим должникам собраться у священных чинар. А в должниках у них ходили все алтынсайцы, не было в округе человека, которого ишан и его сын не опутали бы долгами. И рассчитаться с ними дехкане были не в силах: если и имелись у бедняг какие запасы, так до весны они не сохранялись, за зиму все подчищалось под метелку... Ну, собрался народ у Холма рабов. Ждут люди, что-то им ишан скажет. А тот, к общему удивлению, взял да объявил, что он и его сын Азимбай намереваются простить правоверным их долги. Мол, самим аллахом, всемилостивейшим и милосердным, сказано: люби ближнего, как самого себя. И пусть слышат священные чинары и священный родник: он, ишан, и его сын готовы, следуя воле аллаха, освободить братьев-мусульман, живущих в Алтынсае и окрестных кишлаках, от бремени долгов. Только за это дехкане должны, не жалея сил, потрудиться для святого дела: прорыть в предгорье канал, который вобрал бы в себя воду Янгаксайского арыка и родника

у Холма рабов. Разве это не святое, угодное аллаху дело — превратить доселе мертвую землю в плодородную? Духи предков и пророк Мухаммед будут покровительствовать тем, кто возьмется за сооружение канала, и души этих усердных слуг аллаха попадут прямо в рай. Так говорил ишан, а Азимбай со своей стороны пообещал, что будет кормить строителей канала ежедневно маставой и пшеничными лепешками, а раз в неделю пловом.

Сказать по чести, первые дни Азимбай еще помнил о своем обещании, — ему важно было втянуть дехкан в работу да к тому же хотелось прослыть добрым мусульманином. Правда, маставу для строителей канала стряпали не с бараниной, а с козлятиной, — ну да кто тогда разбирался в таких мелочах!.. Но шло время, и жадность Азимбая свела на нет все его посулы: в конце концов он перестал посылать дехканам даже черные ячменные лепешки. Людей мучил голод, они были измождены до предела, да и рубахи на них превратились в лохмотья, и домотканые штаны порвались, а работать приходилось порой на пронизывающем ветру. Ну, не выдержали дехкане, поднялся среди них ропот, побросали они свои кетмени, ломы, кирки. Канал, однако, был уже почти готов, только до Янгаксайского арыка его не успели довести.

— Его-то я и видела, отец?

— Да, дочка. Но слушайте дальше... Ишан, узнав, что люди прекратили работу, пришел в ярость. Сам он не мог приехать к ослушникам, лежал дома с больной поясницей и ждал табиба. Отправился туда Азимбай. Он пустил в ход всю свою хитрость, стараясь умаслить непокорных дехкан, не скупился на обещания, взывал к их религиозным чувствам, но люди, доведенные до отчаяния, и слушать его не хотели. В Азимбая полетели камни, он кинулся бежать, но разъяренные дехкане настигли его и убили, а труп сбросили в Алтынсай.

Вы думаете, это чему-нибудь научило ишана Кабулходжу? Как бы не так. Правда, расправа с сылом нагнала на него страху, но вместе с тем он и озверел еще больше. Сам напуганный, он хотел и дехкан запугать, — морил их голодом, казнил правых и виноватых... Он мстил народу за смерть сына. Но удивительное дело: несмотря на его бесчинства, народ становился все смелее, решительней. Он давал отпор недавнему своему владыке. А тут — революция разразилась, трон белого царя рухнул, вскоре простой

люди взяли власть в свои руки. Ну, у наших богачей затряслись поджилки. Ишан Кабулходжа, понимая, что теперь ему не уйти от народного гнева, скрылся. Он боялся разделить участь сына, — ведь его тоже могли забить камнями, как ядовитую змею. Долго его разыскивали, так и не нашли. Однако змея, даже раздавленная, поровит ужалить. И ишан, перед тем как исчезнуть, ужалил народ в самое сердце: родник у Холма рабов пропал!

— Высох? — удивленно спросил Алимджап. — Как же ишану удалось добиться этого?

Умурзак-ата отхлебнул из пиалы уже остывший чай, медленно поставил ее на место. Он не спешил с ответом, — видно, размышлял о чем-то. Наконец хмуро проговорил:

— Пытались люди доведаться, куда делась вода. Я думаю, родник иссяк потому, что ишан вырубил всю чинаровую рощу, кроме двух, священных деревьев. Так вполне могло быть... В общем, воды в роднике не стало. Тогда алтынсайцы в гневе разметали дом ишана Кабулходжи, как буря стог сена, и снесли последние, священные чинары. Сказать по чести, они уже начинали сохнуть. И листьев-то нельзя было разглядеть за тряпицами да лоскутьями, которыми верующие обвешивали ветви деревьев. Лоскутья эти назывались аямы, они тоже считались священными, но дехкан это не испугало. Об одном они жалели: что исчез родник... Да, дети мои, вот какая история произошла у Холма рабов, вот как страшно отомстил народу ишан Кабулходжа...

Умурзак-ата снова потянулся к пиале, допил чай. Айкиз и Алимджан сидели молча, не двигаясь, потрясенные его рассказом.

После долгой паузы Айкиз спросила:

— Отец, неужели же никто так и не попробовал расчистить родник?

Увидев, как озабочена дочь, Умурзак-ата довольно улыбнулся:

— Как же не пробовали? Пробовали. Ведь вода — это жизнь. Мы не могли примириться с тем, что она пропала, искали ее. Я сам тайком наведывался в те места, все ломал голову: как же снова заполучить украденную воду? Сказать по чести, мне даже не верилось, что родник умерщвлен... Это казалось невозможным. Нашлись среди нас такие, кто посчитал исчезновение родника чудом. Начали поговаривать: а не был ли ишан и вправду свя-

тым, не волшебник ли он?.. Большинство, однако, проклинали ишана Кабулходжу, я тоже проклинал его и проклиная, чтоб сгорела могила его отца!..

Умурзак-ата пожевал губами, вспомнив еще что-то.

— Да разве только этот родник был украден у народа? А Кокбулак? Его тоже завалили, а он куда мощней, чем родник у Холма рабов.

— Я слышал об этом,— вступил в разговор Алимджан.— Говорят, это сделали басмачи. Действительно Кокбулак был такой многоводный?

— О, воды в нем было — не исчерпать...— Умурзак-ата произнес это восхищенно и с сожалением.— И какой воды — чистой, сладкой, как сахар. Я до сих пор помню ее вкус... А перестала она бить не так уж давно, как раз, дочка, перед самым твоим рождением. Не сама, конечно, перестала, а опять-таки по воле злых людей... В округе тогда разбойничали басмачи, они не раз налетали и на наш кишлак, только не давали мы его разграбить, алтыпсайцы что есть сил защищались от бандитов. Ну, а зато красноармейцев мы встречали, как самых дорогих гостей. Многие из моих земляков ушли вместе с красноармейскими отрядами — добывать басмаческие шайки. Разбойничьих главарей, разных там курбаши, выводили из себя и наша стойкость и братская дружба с русскими. Ну, в отместку они и отняли у нас Кокбулак и многие другие источники. Они взорвали скалы, меж которых вода Кокбулака бежала к Янгахсаю. Знаете большую излучину Янгахсаю?

Алимджан утвердительно кивнул:

— Знаем.

— Кокбулак похоронен там. Он бил из гранитной скалы. Теперь этот ее склон скрыт взорванной породой, все окрест завалено камнем, щебнем, осколками скал.

— Странно, я только от вас узнал подробности этой истории.

— Дело прошлое, приятно ли о бедах вспоминать?.. Да и что толку от воспоминаний? Сказать по чести, родник-то уже не воскресить... В горах их немало было, но одни засыпаны, другие сами по себе заросли. Вот ведь дело какое, среди воды живем, а воды — нет...

Наступила тишина. Старик пригорюнился, Алимджан думал о чем-то, Айкиз тоже задумчиво водила пальцем по скатерти. Самовар давно уже заглох, присмирел. Недопитый чай остывал в пялах. Холодная баранина,

топленые сливки в фарфоровой миске — каше, черный, как агат, кишмиш, лепешки — все оставалось нетронутым.

Большая коричневая бабочка порхала во дворе то над цветником, то под шелковицей, потом мелькнула над самой скатертью и улетела. Айкиз проследила за ней взглядом. И с решительным видом повернулась к Алимджану.

— Алимджан-ака!.. Мы должны отыскать все родники, отыскать и расчистить!.. Нельзя же, в самом деле, допустить, чтобы такие богатства лежали под спудом! Отец правильно сказал: вода — это жизнь. Что же мы жизнь-то под землей держим? Ну, я понимаю, прежде дехканам было не до родников. С басмачами сражались, после колхозы создавали, а там — война. Но теперь-то руки у нас ничем не связаны, страна восстанавливает разрушенное хозяйство, и мы просто обязаны помочь ей в этом! Да люди вообще хотят жить лучше! И наш колхоз процветал бы, если бы не нехватка воды. Но отец вот о родниках рассказывал... Это же выход из положения! А еще можно перекрыть плотиной Алтынсай и всю его воду пустить на земли Алтынсайского массива. Они же плодородные! Я давно уж об этом думаю, прикинула кое-что про себя — дело трудное, но возможное. И насчет родников стоит подумать. Нет, это недопустимо: знать, что где-то рядом есть вода, — и не использовать ее. Она вон сама пробивается у Холма рабов.

Алимджан невольно залюбовался Айкиз. Голос ее звучал напряженно, взволнованно, глаза горели, — она, видно, целиком была захвачена своей идеей. Да, уж если что увлечет ее, подумал Алимджан, то она от своего не отступится. Как удивительно в ней сочетались женственность, пылкость и упорство!..

А Айкиз продолжала все так же горячо:

— Отец, Алимджан-ака, послушайте меня внимательно. Если бы нам удалось построить на Алтынсае плотину и водохранилище, мы могли бы освоить все предгорные земли — они же совсем близко от кишлака. И не только те, которыми владел ишан, а большие массивы, веками томившиеся без воды и не приносявшие пользы людям. А польза от них может быть великая — стоит напоить их водой, распахать, и они дадут обильные урожаи хлопка. Хлопка!.. Нет, вы только подумайте, у нас будет расти хлопчатник — мечта и гордость каждого узбека. У нас же хлопкосеющая республика, и довольно нам, алтынсайцам,

сидеть сложа руки в стороне от общего дела. Ведь это позор!.. И все мы в ответе за то, что примирились с нынешним нашим положением. Ведь мы пока берем от природы лишь то, что она сама нам дарит, а не ищем, не используем скрытые ресурсы. Говорят, под лежащий камень вода не течет. Надо обнаружить, вскрыть родники — все, какие тут когда-то действовали. Они выльются в горные реки, и Узумсай, и Янгаксай, а значит, и Алтынсай уже не будут пересыхать летом. И мы направим на поля их живительную влагу. Удивляюсь, как до сих пор никто до этого не додумался... Ведь все просто, как дважды два. Отец, Алимджан-ака, что же вы молчите?

Умурзак-ата, озадаченный горячностью и решительностью дочери, сидел с опущенной головой, покусывая усы. Он не любил спешки в серьезных делах и думал с осуждением: «Ишь, для нее все ясно и просто!.. Но зерно, прежде чем дать всходы, созревает в земле, наливаясь соками. Так и мысль — она сперва должна вызреть, обрести силу, а уж потом с ней можно и к людям идти. А дочка торопится... Мысли-то у нее еще не поспели, а ей уже не терпится поделиться ими да тут же начать и в жизнь проводить. Ох, дочка, так-то и голову можно расшибить...»

Но Алимджан, внимательно слушавший Айкиз, согласился с ней:

— А ведь это и правда хорошая идея, Айкиз. — Он стукнул кулаком по ковру. — Пора, пора нам браться за дело. А то мы все болтаем о преобразовании природы, а у себя, в Алтынсае, не спешим ее преобразовывать, а только ждем от нее милостей, — тут вы, Айкиз, совершенно правы. Нам давно уже надо было бы извлечь воду из-под земли и заставить Алтынсай служить народу.

— Ну да, кому же за это и взяться, как не нам? — перебила его Айкиз.

— Возьмемся, Айкиз, возьмемся. Сейчас самое время... Такое нельзя откладывать на будущее, в будущем-то наверняка родятся новые идеи, новые замыслы, какие сама жизнь подскажет. Сейчас же она подсказывает: мы достаточно сильны, чтобы вступить в схватку с природой. Я вот недавно читал Мичурина, кое-что постарался запомнить — выучил наизусть, как стихи. Он писал, что в лице колхозника история земли всех времен и народов имеет совершенно новую фигуру земледельца, вступившего с чудесным техническим вооружением в борьбу со стихия-

ми. Слышите? В борьбу со стихиями. Это словно для нас сказано, Айкиз!

— Замечательные слова! — восторженно откликнулась Айкиз. — И ведь когда это написано? А сейчас колхозы технически оснащены еще лучше.

— Да, и русские колхозники уже идут путем, о котором писал Мичурин. Вот тот же Гриша, мой фронтовой друг. Сейчас он живет в Поволжье, агрономом работает. Мы с ним переписываемся, и вчера пришло от него очередное письмо. — Алимджан со значением глянул на Айкиз. — Оно прямо на тему нашего разговора. Григорий сообщает, что они высаживают полезащитные лесные полосы, которые оградят их от суховеев и будут задерживать снег на полях, сооружают в степях водоемы и водохранилища. В общем, они бьются за то, чтобы урожаи становились все богаче. И я уверен, подчинят себе природу!

— Вот и мы, — вскинулась Айкиз, — должны последовать их примеру!..

— Должны и последуем! — твердо сказал Алимджан. — Вот вам моя рука, Айкиз. Партбюро вас поддержит.

Он протянул девушке руку, но та сгоряча даже не заметила этого движения. Устремив вдаль сияющий взгляд, она увлеченно продолжала:

— Вот видите: и в Поволжье и в Голодной степи — всюду воюют со стихиями!.. Страна победила фашизм — сколько же сил освободилось у нас для преобразования земли! И наш долг — внести свою долю в общее дело. Мы добудем воду, освоим целину, засеем ее хлопчатником! Ведь родине нужно все больше хлопка. Мы дадим его! От нас одно требуется — смелость. Алимджан-ака, вы ведь смелый? Вы готовы взяться за освоение новых земель? — Не дожидаясь ответа, Айкиз обратилась к Умурзаку-ата: — А вы, отец, вы разве нам не поможете?

Умурзак-ата смотрел на дочь с обидным спокойствием. Старика, судя по всему, не зажгла ее проникновенная речь. Пожевав губами, он медленно опустил голову, и его белую, распластавшуюся на груди бороду пошевелил легкий ветерок, пролетевший через двор. Айкиз почему-то стало жалко отца... А он заговорил сердито и назидательно:

— Не надо торопиться, дочка. Торопливый подобен слепцу. Он может споткнуться на ровной дороге... В народе

недаром говорят: семь раз отмерь, один раз отрежь. Подумай хорошенько, дочка: стоит ли будоражить людей, отрывать их от посевной ради поисков воды, которую вы то ли обнаружите, то ли нет. А если вам не удастся ни родники раскопать, ни Алтынсай перегородить? Что ж ты думаешь, прежде-то не пытались люди добыть воду? Пытались, да ничего из этого не вышло...

— Другое было время, отец.

— Люди-то те же.

— Нет, и люди за войну переменились. Почувствовали себя более сильными! Они... они способны горы передвигать!

— Ох, дочка, легко ты словами бросаешься. Но сколько ни тверди: халва, халва, — во рту слаще не станет. Гляди, как бы не опозориться...

— За меня не бойтесь, отец.

— Да кому ж еще за тебя и тревожиться, как не мне? Твой позор — мой позор... Ведь если вы не найдете воду...

— Раз вода есть, то мы ее найдем.

— А о Кадырове ты подумала? Он ни за что не примет твое предложение.

— Кадыров... — Айкиз пренебрежительно махнула рукой. — Мы ведь сперва с народом посоветуемся, привлечем его на свою сторону, пусть-ка Кадыров попробует с нами не посчитаться.

— Привлечете ли? Народ-то, он мудрый. На явный риск вряд ли пойдет.

— Так вы полагаете, ата, что искать у нас воду — дело безнадежное? — спросил Алимджан.

— Сказать по чести — рискованное. Если уж отрывать людей от работы на богаре, так надо быть полностью уверенным, что нас ждет победа. Я вот в этом сомневаюсь. И ты, дочка, не горячись. Твои предположения и планы поспешны. Потому и рискованны.

Лицо у старика было хмурое, глаза потемнели. Поднявшись, он спустился с супы, направился к цветникам.

Алимджан тоже встал, вопросительно поглядел на Айкиз:

— Что это с ним? Странно, что он не хочет нас понять...

— Да он все понимает, только за меня боится. — Голос Айкиз звучал тихо, мягко. — Мы ведь на природу замахиваемся — доля риска тут и правда есть. Вот отец и тревожится, как бы я не остушилась и не подорвала свой ав-

торитет.— Последние слова она произнесла с улыбкой.— Случись неудача, мне ведь пришлось бы краснеть перед народом. Это-то больше всего отца и пугает. Ох, он ведь меня все за маленькую принимает.

— Ушел он все-таки как-то неожиданно...

— Видно, не хотел спорить со мной при постороннем человеке.

— Это я, значит, посторонний?

Айкиз не ответила, отвела глаза. Принялась прибираться на хаштахте. И, уже слезая с супы с полными руками посуды, чуть лукаво сказала:

— И-ну... не совсем. Но пока все же посторонний.

Она понесла посуду в дом, с айвана крикнула:

— Я в сельсовет иду. А вы на богару собрались?

— Нет, мне сперва надо заглянуть в правление.

— Тогда нам по пути. Обождите меня.

Вскоре они уже шли к калитке.

Умурзак-ата, склонившись над цветником, сосредоточенно осматривал тугие бутоны на кустах роз. Проходя мимо, Айкиз произнесла чуть виновато:

— До свидания, отец.

— Будьте здоровы, Умурзак-ата,— попрощался и Алимджан.

Старик не разогнул спины, не оглянулся, только пробурчал что-то себе под нос.

Как только они очутились за калиткой, Алимджан достал из кармана письмо и протянул его Айкиз:

— Почитайте хоть теперь.

Айкиз, не останавливаясь, лишь немного замедлив шаг, принялась читать письмо.

«Алимджан, дорогой, здравствуй! Знал бы, как я радуюсь твоим письмам. Сразу вскрываю, читаю сначала про себя, потом вслух, потом еще раз про себя. Пожалуй, лишь на фронте мы радовались так весточкам от наших друзей и подруг. Помнишь?.. Я-то часто вспоминаю наше фронтовое житье-бытье. В каких только переделках не довелось нам побывать... Позабудешь разве ту деревню, где ты взорвал вражеские дзоты, а потом нашел меня на поле боя раненого, истекающего кровью.... Что там ни говори, а это я тебе обязан своей жизнью. Ну ладно, ладно, не буду. Помнишь, денек тогда стоял серый, промозглый, и лил, как из ведра, холодный дождь. Да, нам есть что вспомнить.



Повидаться бы да наговориться вволю. Уж я бы обнял тебя крепко, по-гвардейски, так, что у тебя кости затрещали бы. Не раз я собирался к тебе поехать, да все недосуг. Мы сейчас ведем наступление на засуху, на суховеи, атакуем саму мать-природу...»

Подробно рассказав о борьбе с засухой, которую они начали у себя в районе, Григорий дальше переходил к «личным делам»:

«Дома у меня — праздник. Можешь поздравить меня с сыном, Алимджан!.. Мальчишка — настоящий богатырь, палван по-вашему. Представляешь себе, весит четыре килограмма! Рождение его мы торжественно отметили всем колхозом.

Ну, а тебя с чем поздравлять? Сыграл ли ты наконец свадьбу со своей Айкиз?»

Тут Айкиз чуть не споткнулась на ходу, листок задрожал у нее в руках. Алимджан заметил, как порозовели ее щеки... Он ждал, что она взглянет на него, но Айкиз, не отрываясь от письма, продолжала читать:

«Большой ей привет — и от меня и от Вали. Было бы славно, дорогой друг, если бы собрались вы с ней да махнули к нам в гости. Почему бы, в самом деле, осенью, после уборки урожая, не наведаться вам на Волгу — этак на месяц, на полтора? Нет, правда, приезжайте. Мы будем вас ждать. А пока мы с моей половиной дружески обнимаем тебя и Айкиз. Бывай, друг. Твой Григорий».

Айкиз наконец подняла глаза от письма и обнаружила, что стоит посреди дороги на самом солнцепеке. Она и не заметила, когда остановилась.

Молча возвратив письмо Алимджану, она шагнула в тень чинары.

Алимджан сильно волновался, он долго расстегивал карман гимнастерки, маленькая медная пуговица не повиновалась сильным его пальцам. Когда же он наконец справился с ней, то возникло новое препятствие: он никак не мог засунуть письмо в карман, оно то одним, то другим углом цеплялось за край кармана.

— Давайте я помогу, — тихо сказала Айкиз.

Стоило ей коснуться кармана, как письмо сразу исчезло в нем.

Алимджан глянул на нее нежно и благодарно и тут же насушился:

— Гриша в каждом письме спрашивает меня о свадьбе. Что же мне ему ответить?

Айкиз, отвернувшись, следила за муравьями, облепившими ствол чинары: черные цепочки ползли вверх-вниз.

— Айкиз! Когда же мне приглашать Валю и Григория?

Ни требовательности, ни настойчивости не было в голосе Алимджана, — только просьба.

— Вы слышите, Айкиз?

— О чем вы, Алимджан-ака?

— Когда наша свадьба?

Айкиз приставила палец к стволу, преградив путь муравьям, они суетливо побежали по ее обнаженной руке. Страхнув их, она смущенно глянула на Алимджана.

— Алимджан-ака, о таких вещах не говорят посреди улицы. Ой, мне надо торопиться, глядите, сколько народу ждет меня у сельсовета. До свидания, Алимджан-ака!

Девушка быстрыми шагами направилась к зданию сельсовета. Алимджан долго еще потерянно топтался на месте.

Опять она ускользнула от ответа...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Через полчаса должно было начаться заседание колхозного партбюро.

Алимджан сидел за столом в светлой, с окнами на восток, небольшой комнате, отведенной для него в правлении колхоза, и внимательно, с карандашом в руках просматривал тезисы своего выступления.

Вопрос предстояло обсудить серьезный: об освоении и орошении предгорных земель в колхозе «Кызыл юлдуз». Предложение это вынесла на партбюро Айкиз, но Алимджан и сам уже успел загореться ее идеей. Он убежден был в своевременности и правильности смелых замыслов Айкиз и глубоко верил в возможность их осуществления. Это чувство уверенности и горячей сопричастности к предложению Айкиз рождало в нем и сознание своей силы, бодрость и вместе с тем сознание ответственности.

Айкиз призывала воплотить заветные чаяния и мечты алтысайцев. Расчистив родники, соорудив большое водохранилище, прорыв канал, они смогут пустить воду на доселе безжизненную землю и вплотную займутся хлоп-

ководством. Это счастье для дехканина, и Алимджан не сомневался, что большинство колхозников и прежде всего коммунисты поддержат Айкиз, — кто же будет отказываться от своего счастья?.. Однако он понимал также, что найдутся у Айкиз и противники и кое-кто встретит ее предложение в штыки.

Дело затеяно новое, масштабное, иных может напугать и размах и новизна задуманного. Топтаться-то на месте безопасней, чем шагать в неведомое.

Значит, надо тщательно подготовиться к защите своих позиций, к защите правого, но рискованного дела.

И Алимджан все это время, предшествовавшее заседанию бюро, не сидел сложа руки — он объехал, осмотрел, изучил и места с предполагаемыми выходами родников, и старые родники, затерянные в горах, и земли, подлежащие орошению. Ночи он проводил за книгами по мелиорации предгорных земель, перечитал все, что только смог разыскать в районной библиотеке.

И сейчас ему не терпелось поскорей ринуться в бой с возможным противником.

Он чувствовал себя подготовленным к этой борьбе.

Правда, не мешало лишний раз проверить свои аргументы. И, ероша левой рукой черные волосы, Алимджан водил карандашом по строчкам конспекта, зачеркивая одни из них, четче выделяя другие и заноса на бумагу приходившие ему в голову новые, более убедительные мысли и доводы.

Он давно взял себе за правило всякий раз, готовясь к выступлению, особенно на партбюро или партийном собрании, придирчиво, в деталях обдумывать, глубоко «пропахивать» вопросы, включенные в повестку дня, тщательно взвешивая каждую мелочь, пытаясь угадать возможные возражения, чтобы потом, в ходе обсуждения того или иного вопроса, ничто не могло сбить его с толку. Являясь на собрание во всеоружии, Алимджан умел направить разговор в верное русло, не давал сворачивать в сторону, на окольные пути.

Так он действовал еще с комсомольских лет. Но тогда маловато у него было жизненного опыта, порой ему не хватало выдержки, подводила юношеская запальчивость, категоричность суждений, не подкрепленная вескими доводами.

Фронт закалил Алимджана. Нет, он не утратил былой

горячности, натура у него осталась пылкой, увлекающейся, однако теперь он уже не терялся ни при каких обстоятельствах, научился владеть собой и, что бы ни случилось, сохранял завидное хладнокровие, даже не хладнокровие, а способность четко и трезво оценить возникшую обстановку и предпринять необходимые шаги.

Несмотря на молодость, Алимджан обладал и житейской мудростью — в смысле умения разбираться в людях. Доводилось ему, конечно, и ошибаться, но в общем-то он довольно быстро угадывал в человеке лодыря, бесчестного подлеца, тщеславного карьериста, самовлюбленного пустозвона, которому дай только покичиться, покрасоваться перед окружающими, или, наоборот, преданного своему делу труженика, с чистой, как родниковая вода, душой, патриота-энтузиаста с пылающим, словно факел, сердцем, которое освещает другим дорогу вперед, к новой жизни, прекрасной, как сама мечта.

Коммунисты колхоза уважали его за принципиальность, твердость убеждений, прямоту и стойкость. Они знали: уж если он «зажжется» какой-либо идеей, так будет, как воин, отважно отстаивать свою позицию.

Как-то, в порыве откровенности, первый секретарь райкома Джурабаев, выдвинувший в свое время Алимджана на должность секретаря колхозной партийной организации, сказал своему воспитаннику:

— Веришь ли, я радуюсь за тебя, как за родного сына. Ты здорово вырос на фронте. Честное слово, тебе можно доверить любое дело. Ты справишься. Что тебя сделало таким, Алимджан?

Алимджан тогда пожал плечами:

— Не знаю. Я просто хорошо помню один ваш совет: побольше читать Ленина. Что бы ни затевалось в колхозе, какой бы вопрос ни решался, я всегда ищу опору в ленинских произведениях. Он видел на много лет вперед. Его мудрому взору все было открыто, даже будущее такого маленького предгорного кишлака, как наш Алтынсай. Да, да, он предвидел, по какому пути пойдет жизнь Алтынская, — это-то меня и удивляет и восхищает больше всего. Вот я и стараюсь прислушиваться к Ленину...

Алимджан не только у коммунистов — у всех колхозников пользовался авторитетом. Бывало, соберутся алтынсайцы поговорить о том, о сем, зайдет речь об Алимджане, и кто-нибудь обязательно заявит:

— Повезло нам с партийным секретарем. Уж если ты хочешь добиться правды, иди к Алимджану.

— Верно. Он-то поймет тебя скорее, чем наш раис, Кадыров.

— К нему можно с любым делом обратиться,— вступит в разговор еще кто-либо из колхозников.— Надо тебе получить аванс под строительство дома или там мешок муки, риса — ступай к Алимджану, он поможет. А кому пожаловаться, если, к примеру, дочка надумает ехать учиться в Ташкент? Опять же — Алимджану...

— Ну, тут-то он тебя не поддержит!

— Сам знаю, что не поддержит. Но уж наверняка даст дельный совет, переубедит. И ты пошлешь дочку в Ташкент и будешь думать, что сам так решил...

Иногда какой-нибудь местный скептик вставлял с усмешкой:

— Чему ж тут удивляться-то, Алимджан у нас грамотей, газетки почитывает...

Его тотчас дружно одергивали:

— А ты не скаль зубы. Газеты-то, мы видели, ты и сам читаешь. Только за советом к тебе почему-то никто не идет. С чего бы это, приятель?

Обычно эти слова встречались веселым смехом.

Сам Алимджан относился к себе весьма критично и вечно был недоволен собой. Однако же он знал не только свои слабые, но и сильные стороны, знал, что может положиться на свою выдержку, терпение, упорство.

Вот и теперь, просмотрев тезисы, он удовлетворенно откинулся на спинку стула,— все вроде было в порядке, доводы он подобрал всекие и мог любому доказать, что, приняв предложение Айкиз, они пойдут по правильному пути. Потянувшись, он поднялся со стула и еще раз потянулся, расправив плечи, широко раскинув сильные руки. Так... С тезисами покончено. Ну, а сам-то он в порядке? Одернув на себе гимнастерку, Алимджан провел пальцами по щекам, по подбородку. Черт, колючие. Ведь брился недавно, и вот уже опять появилась щетина. «Неужто, — подумал он весело, — когда мало спишь, то борода растет быстрее?..»

В это время дверь за его спиной распахнулась. Алимджан обернулся и увидел Айкиз — она вся сияла, словно пожаловала к нему с радостной вестью.

— Салам, Алимджан-ака!

— Салам, Айкиз!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Алимджана приятно удивило, что Айкиз такая оживленная, уверенная в себе. Ведь только вчера в кабинете Кадырова у нее произошла стычка с председателем колхоза, далеко не первая, но, пожалуй, самая резкая за последнее время. Тот, как и следовало ожидать, сразу же ополчился на предложение Айкиз и вчера возражал ей особенно яростно. Огорчительней всего было то, что Кадырова поддерживал Умурзак-ата, присутствовавший при споре дочери и раиса. Видно, права была Айкиз, когда говорила, что отец боится, как бы она не опозорилась... Да, им, судя по всему, руководила только эта боязнь, потому что свои выпады против предложения Айкиз он ничем не мог подкрепить.

Сегодня — это Алимджану было ясно — Айкиз придется отбиваться не только от Кадырова. И Алимджан готов был и утешить ее и подбодрить. Однако, кажется, Айкиз не нуждалась в утешениях, вид у нее был веселый и решительный. И Алимджан, почувствовав облегчение, сказал, пододвигая гостью стул:

— Садитесь, Айкиз. Рассказывайте, что у вас нового. Я вижу, вы после вчерашнего не пали духом и не собираетесь сдаваться.

— Нет, не собираюсь! — тряхнула головой Айкиз. — Интересы дела не позволяют мне выкидывать белый флаг.

— Молодчина, Айкиз. Впрочем, я в вас и не сомневался. Меня ваш отец тревожит... Ну как он снова начнет упрямяться?

— Что ж, без борьбы нет движения вперед. Вы и сами это отлично знаете. Вот и будем бороться, убеждать, доказывать. И отца тоже вынудим признать нашу правоту. Он ведь не такой уж упрямый, каким кажется. И глаза у него хоть старые, но зоркие...

Айкиз достала из сумочки общую тетрадь в коричневой обложке, положила ее на стол.

— Вот, целый роман написала. Уж постаралась хорошенько подготовиться к бюро. Просмотрите, если у вас есть время.

Алимджан взял тетрадь, начал ее перелистывать, но не успел проглядеть и первых страниц, как в комнату вошли Кадыров и бригадир Бекбута.

На Кадырове, как всегда, был шерстяной полувоенный китель защитного цвета, синие галифе, хромовые сапоги. А на Бекбуте — черный стеганный халат, подпоясанный темно-коричневым бельбогом, а сапоги старые, порыжелые. Однако в этой простой крестьянской одежде бригадир выглядел молодым, статным, а Кадырова не спасала и щегольская форма: он погрузнел в последнее время, устало сутулился, словно под бременем тяжелых забот, отчего руки, висевшие вдоль отяжелевшего тела, казались непропорционально длинными.

Видно, перед тем, как появиться у Алимджана, раис спорил о чем-то с Бекбутой. Ни на кого не глядя, по-бычьему наклонив голову, он хмуро бросил, обращаясь к бригадиру:

— Так могут думать лишь несерьезные люди. Или зеленые юнцы.

Придвинув к себе стул, он медленно опустился на него, по-прежнему не поднимая головы.

Бекбута спокойно возразил:

— Я ведь почти твой ровесник, раис. Стало быть, тоже уже не мальчишка. Но я на стороне этих «зеленых юнцов», потому что они предлагают идти вперед. Некоторые же руководители, — он выразительно посмотрел на Кадырова, — предпочитают иной вид движения: шаг на месте. Удобно и необременительно: вроде и маршируешь, и руками размахиваешь, и ничем не рискуешь. Земля-то под ногами все та же, утоптанная, прочная, а дальше двинешься — так бог весть, что тебя там ждет. Их подталкивают, сама жизнь тянет вперед, а они ни в какую. Мне таких руководителей от души жалко.

Насмешливо-назидательный тон бригадира привел Кадырова в ярость, он кинул на Бекбуту испепеляющий взгляд и хотел было осадить его, но в комнате уже начали собираться члены партбюро, и начальственный окрик застрял у раиса в горле. Он только клокотал от гнева, как кипящий самовар, — ведь последнее слово осталось за Бекбутой, который всегда возмущал Кадырова непочтительностью и независимым поведением.

Когда все расселись, Алимджан постучал по столу карандашом, призывая собравшихся к тишине, и открыл заседание коротким вступительным словом:

— Сегодня нам предстоит обсудить вопрос, включающий в себя, по существу, три важнейшие проблемы. Это,

во-первых, очистка родников. Во-вторых, строительство плотины, канала и водохранилища. И, в-третьих, подъем целины под посевы хлопчатника. Все члены бюро в общих чертах уже знакомы с планом этих широких мероприятий. Все же, прежде чем перейти к обмену мнениями, давайте послушаем члена бюро товарища Умурзакову. Пожалуйста, Айкиз, прошу вас.

Айкиз встала. Раскрыв свою тетрадь, положила ее на краешек стола. Не спеша окинула взглядом присутствующих. И побледнела, заметив, как тяжело, хмуро, исподлобья смотрит на нее Кадыров. Казалось, в глазах его таится чуть ли не ненависть. Сердце Айкиз обдало неприятным холодком, но она постаралась не выдать своего волнения, отвернувшись от председателя, заглянула в свою тетрадь и, окончательно взяв себя в руки, спокойно заговорила:

— Вы знаете, товарищи, что из года в год наш колхоз сеет только пшеницу на богарных землях. Трудимся мы не покладая рук, постоянно волнуемся, на небо смотрим, потому что целиком зависим от погоды, а урожаи собираем не бог весть какие.

— В районе нас хвалят! — с места сказал Кадыров.

Айкиз ждала его реплик и потому не смутилась:

— Да, хвалят, потому что мы все, что возможно, выжимаем из богары. Но сами-то мы разве вправе смириться с тем, чего удалось пока достигнуть? Позавчера — богара, сегодня — богара. Не надоело?.. Ведь наш Узбекистан — это край «белого золота». Хлопок — наше богатство, наша гордость. Почему же мы-то не участвуем в общей борьбе за хлопок? Мы что же, не узбеки? Ведь тоже можем внести свой вклад в хлопковую сокровищницу страны. Колхоз наш владеет огромными массивами плодородной земли. Только до сих пор она пропадала без пользы. И у кого не щемило сердце, когда он глядел на эту землю, способную родить горы хлопка, но пребывающую в вынужденной праздности. Мы обладатели сказочных богатств!.. Чтобы прибрать их к рукам, нужна вода. Вода, которая разбудила бы спящую землю.

— В общем, не хватает самой малости, — проницески заметил Кадыров. — Дом есть, пока только стен недостает.

— Да, без воды земля, какой бы она ни была плодородной, — это дом без стен. Но воды у нас — в избытке. —

Айкиз хлопнула ладонью по раскрытой тетради. — Да, в избытке.

— Что-то мы этого не замечали, — опять вставил Кадыров. — Не то уж давно бы освоили все земли.

— Мы прежде на многое закрывали глаза, руководствуясь пословицей: от добра добра не ищут. У нас была богара — это нас удовлетворяло, она не только нас, но и фронт кормила. Но нельзя же весь век лишь на нее и надеяться, нельзя ждать у моря погоды. Нынче повсюду идет наступление на природу, на стихии, и не пристало нам, алтынсайцам, оставаться в стороне, идти не по общему пути, а по обочине. Стыдно быть у воды — и без воды!

Увидев, что Кадыров снова собирается что-то возразить, Айкиз досадливо махнула рукой:

— Погодите, товарищ председатель, я знаю, что вы хотите сказать. Вы все время твердите: воды нет. А я утверждаю: вода есть. Надо только дотянуться до нее и черпать полной чашей! Почему бы нам не копать ее, построив плотину и водохранилище? А вода родников? Что мешает нам расчистить родники? Вода есть, и мы в силах ее добыть!

— Болтовня! — раздраженно бросил Кадыров. — Товарищ Умурзакова переоценивает наши силы и возможности. Не нам, маленьким людям, замахиваться на великана — природу.

Карандаш Алимджана запрыгал по столу.

— Товарищ Кадыров! Вы не у себя дома, а на партбюро. В свое время вам будет предоставлено слово, тогда вы и выскажете все, что сочтете нужным.

Кадыров, насупясь, низко опустил голову, и всем стала видна его побагровевшая шея.

— Продолжайте, Умурзакова, — предложил Алимджан.

Айкиз, помолчав еще немного, сказала задиристо:

— Вы напрасно прибедняетесь, товарищ Кадыров. На слабосилье свое обычно жалуются лодыри. Вы извините, я не вас имела в виду. Но это, правда, отговорка тех, кому просто не хочется браться за дело: нас, мол, призывают широко шагнуть, а мы к этому не привыкли, мы люди маленькие, уж лучше постоим на месте, сложив на животе руки, — так сказать, от греха подальше. Нет, товарищи, давайте уж шагать вперед, по-большевистски

смело и решительно! Пора стряхнуть с себя спячку! Попробуем-ка разобраться в наших возможностях...

Айкиз развернула на столе принесенный с собой большой, шуршащий лист ватмана, прижала ладонями его края.

— Подойдите-ка сюда, товарищи. Вот, взгляните. Это земельные угодья колхоза «Кызыл юлдуз».

В наступившей тишине члены бюро склонились над планом.

Айкиз одной трудно было удерживать бумагу, которая все поровила свернуться в трубку. Ей на помощь пришел Алимджан, тоже положил ладонь на ватманский лист.

Вместе со всеми приблизился к столу и Кадыров. Айкиз дала себе слово не отвечать на его язвительные, брюзгливые замечания, но он молча, заложив руки за спину и хмурясь, разглядывал синие, зеленые, коричневые линии, жирно, извилисто бежавшие по бумаге.

Айкиз, не отнимая рук от листа, принялась объяснять:

— На этом плане ясно видно, какие земли можно оросить, откуда взять для них воду. Видите синие линии? Это Янгаксай и Узумсай. Вот здесь они соединяются, образуя наш Алтынсай. В долинах этих речек много запущенных родников. Особенно там, где протекает Янгаксай. Их мы и должны расчистить. Вы вспомните, как поступают чабаны, когда в горах иссякает вода. Они тут же берутся за расчистку старых родников. Один, два родника — это, конечно, капля в море. А если найти, вернуть к жизни все? И наполнить их водой обе речки?

Айкиз говорила все более увлеченно, щеки ее разругались, в черных глазах светилось вдохновение.

— Мы тут не теряли времени даром, обследовали родники в долинах Янгаксай и Узумсай, произвели предварительные расчеты, и оказалось, что если наш колхоз расчистит самые сильные из них и подведет к Алтынсайскому массиву воду хотя бы одного Янгаксай, и то уже сделается не только зерновым, но и хлопкосеющим. Я уж не говорю о той воде, которую сможет дать Алтынсай, если на его пути соорудить плотину, водохранилище и прорыть канал. Мы получим тогда обширные пространства освоенной земли, богатые урожаем хлопка. Вы понимаете, хлопок, «белое золото», станет основой нашей колхозной экономики — наряду с зерноводством и животноводством. Колхоз наберется сил, разбогатеет, в каждый дом придет

достаток. А главное, мы родину нашу одарим лишними тоннами хлопка, которые никогда не лишние... Разве это не заманчивая перспектива?

Она обвела испытующим взглядом членов партбюро, которые рассматривали план, внимательно слушая Айкиз, и на душе у нее стало легко и спокойно. Кажется, ей всех удалось заразить своей увлеченностью. Даже лицо Кадырова утратило хмурое выражение, в его глазах читался живой интерес. Пожалуй, это была только искорка интереса. Но Айкиз с надеждой подумала: вот бы разжечь эту искорку! Насколько все было бы проще, если бы Кадыров из противника превратился в сторонника ее предложения. А почему бы нет? Что ему, не дорого благо колхоза?

И она заговорила с еще большим жаром:

— Сейчас все это богатство, природный капитал, вода, пропадает впустую. А мы жалуемся на безводье. Это ли, товарищи, не лень, не расточительство? Может ли позволить себе такое настоящий, рачительный хозяин? Ведь вода, таящаяся в земле, проносящаяся мимо нас, способна оросить не только наши поля, но и земли соседних колхозов. Сколько же тогда хлопка мы снимем с этих земель!..

Кадыров терпел, терпел, но не удержался, оторвавшись от плана, произнес с нескрываемой усмешкой:

— Красиво все это звучит: родники, каналы, плотины... Получается, что все мы тут жили дураки дураками, а вот пришла товарищ Умурзакова и открыла нам глаза.

Айкиз покраснела:

— Зачем вы так, раис? Моя роль тут небольшая. Просто... надо же было кому-нибудь, когда-нибудь начать этот разговор.

— Нет, товарищ Умурзакова, не так уж все просто. Мы ведь тоже не слепые были. И про родники знали, и про саи. Но знали еще, что мало протянуть руку за сокровищами, о которых вы тут распространялись, так-то легко они не дадутся, нет, не дадутся!.. С помощью одних речей воду не добудешь. Она от нас за семью замками.

— Вот и попытаемся их взломать!.. Конечно же, сделать это будет нелегко, тут я с вами согласна, раис. Но разве возможные трудности — достаточная причина для того, чтобы отступить от борьбы за воду, за процветание нашего колхоза? Что ж заранее-то пугаться трудностей?

Вы лучше скажите, раис: в принципе-то наши планы реальны?

— Риск слишком велик.

— Любой риск можно свести на нет точными расчетами, упорным трудом. Вот, смотрите.

Айкиз разложила на столе второй лист ватмана.

— Чертеж этот выполнен не так искусно, но все же дает четкое представление о будущей оросительной системе.— Она провела пальцем по толстой синей черте.— Вот тут должна пройти трасса канала. А начало он возьмет вот отсюда, из ущелья, где сливаются Янгаксай и Узумсай. Это ущелье, расположенное выше кишлака и Алтынсайского массива, мы превратим в естественное водохранилище. В нем будет собираться и вода родников, после того как мы расчистим их и они устремятся в Янгаксай и Узумсай. Так что воды мы получим столько, сколько нам потребуется для того, чтобы выращивать и хлопчатник, и люцерну, и овощи. И скоро алтынсайцы забудут, что когда-то их колхоз считался середнячком, занимавшимся только богарным земледелием. «Кызыл юлдуз» умножит свои доходы, его хозяйство будет крепнуть из года в год. Больше того: мы сможем взяться за орошение всего предгорья, то есть и земель, принадлежащих другим колхозам нашего сельсовета. Думаю, соседи уже и сейчас не откажутся нам помочь. Об этом мы поговорим в райкоме... В общем, я убеждена: народ нас поддержит. Все зависит только от нас, от нашей энергии, решительности, смелости!

Айкиз вытерла лоб, покрывшийся легкой испариной, белым батистовым платочком.

Члены бюро молчали, разглядывая чертежи. Лишь Алимджан что-то торопливо писал в блокноте. Первым заговорил Бекбута. В его голосе слышались и сомнение и надежда.

— Умурзакова, а ты не ошибаешься насчет родников? Хватит ли нам их воды?

— Мы ведь станем накапливать ее в водохранилище! Должна вам также сказать, что подсчетами и разработкой планов занималась не я одна, а райводхоз. Точнее, Иван Никитич Смирнов. Ему-то вы верите?

Бекбута кивнул:

— Знающий мужик.

— Ну вот. Он, как вам известно, не бросает слов на ветер, и уж если пришел к выводу, что воды в родниках

достаточно, — значит, так оно и есть. В планах несколько даже занижен объем возможных водных ресурсов. Мало ли какие могут быть неожиданности! На самом деле воды, видимо, больше, чем мы предполагаем. Но и плановые данные вселяют самые радужные надежды.

Тут Айкиз выдержала паузу, а потом, повысив голос, сказала:

— Товарищи! Колхоз «Кызыл юлдуз» сможет посеять хлопок уже этой весной, не дожидаясь завершения всего оросительного комплекса! Мы ведь сейчас берем воду из Янгаксай. И воды этой летом и осенью кот заплакал. Но стоит нам расчистить родники в Янгаксайской долине, и ручей превратится в реку! Вот что предлагает Иван Никитич: расширить, углубить Янгаксайский арык и продолжить его до ближайших целинных земель. А также заменить сипаи, которые прежде задерживали воду Янгаксай, набросом из камней. И тогда Янгаксай, уже полноводный, потечет по арыку на поля в самом скором времени! Да, да, если мы немедля примемся за дело, то в этом году вырастим хлопок. Нет, вы только подумайте, — хлопок!..

— Кстати, в плане ничего не говорится о Кокбулаке, засыпанном басмачами. А вы, верно, слышали, какой это мощный был родник. Если бы нам удалось найти, раскопать его, то только он один дал бы воды не меньше, чем сейчас дает Янгаксай!

— Здорово! — Бекбута азартно потер ладони. — А ведь я помню этот родник. Бывало, подойдешь к нему — слышно, как скала гудит! Неужто нам не под силу вырвать его из плена?

— Его еще раскопать надо, — буркнул Кадыров.

— Овчинка стоит выделки. Поднатужимся, так и раскопаем. Зря его в план не вставили.

— Мы вынесли план на обсуждение партбюро как раз для того, чтобы вы сделали свои поправки, — сказала Айкиз. — И если вы проголосуете за возрождение Кокбулака, то мы займемся и этим родником.

— Кокбулак... — раздумчиво пробормотал Бекбута. — Нет, это дело. Я первый пошел бы на него в атаку.

Кадыров покосился на него с осуждением, потом медленно повернул голову к Айкиз. У него уже не только шея, все лицо было багровое от гнева.

— Не понимаю — тут партбюро или детский сад? Ей-богу, нашли место в игрушки играть. Да, да, все,

что тут говорится, по меньшей мере несерьезно. Речи-то произносятся длинные, но и в длинных речах — короткий смысл. Вы, бахвальством да радужными прожектами, именно прожектами, а не проектами, пытаетесь заслонить правду, истинное положение дел. Затвердили, как попугай: Кокбулак, Кокбулак!.. А где он, ваш Кокбулак? Родник ведь не просто засыпан — он взорван, и сделал это не сам курбаши, — им руководил ближайший его советник, английский офицер, хитрая лиса, доложу я вам. Он-то и подсказал, как навечно похоронить родник под скалами. Слышите — навечно! А вы: раскопать, возродить. Да для этого надо там все камни перекинуть с места на место. А перекидывать их можно и полгода, и год, и больше. И ведь сами они передвигаться не умеют, ног у них нет, хе-хе... Потребуется немалая рабочая сила. А где вы людей возьмете? А? Рабочие руки — вот в какую проблему вы сразу же упретесь. Вы ведь не станете утверждать, что это пустячная проблема? Вон ведь как вы размахнулись: родники, канал, плотина... Преображение земли!.. А у нас сейчас страдная пора, весенний сев. И надо брать от земли то, что она дает, кормилица, а не заниматься пустыми фантазиями...

Алимджан слушал Кадырова заинтересованно и, когда тот сделал паузу, вежливо попросил:

— Продолжайте, продолжайте, товарищ Кадыров.

Кадыров усмехнулся:

— Да я не мастер воду-то лить...

— Все же ознакомьте нас поподробней с вашей точкой зрения. В спорах, говорят, рождается истина.

— В спорах? А я не собираюсь ни с кем спорить: слишком уж несерьезный ведется разговор...

Но видно было, что Кадыров приготовился к обстоятельному выступлению. Он уперся в стол кулаками, в глазах уже не светились искорки, которые недавно так обрадовали Айкиз, весь он налился мрачной тяжестью.

— Вы, может, думаете, товарищи, что я против воды? Что же я, последний идиот, что ли? Да если бы имелась хоть малейшая возможность добыть ее, так я отправился бы за ней босиком, без рубашки через все Кызылкумы, под палящим солнцем, под знойным ветром!.. Я бы без оглядки пошел за Умурзаковой! Уж поверьте, — я вам не лгу. Но... — он приложил к груди тяжелый кулак, —

но в данном случае я отказываюсь за ней идти. Она плохой лаучи и не знает, куда вести караван. Планы ее составлены непродуманно, второпях... Я-то могу ее понять: молодости свойственно пороть горячку... Но ведь недаром молвится: коль утка спешит, так и головой, и хвостом ныряет. Зачем же нам, людям, умудренным жизненным опытом, уподобляться такой утке?.. Я уж не говорю, что Умурзакова слишком разбрасывается: предлагает и родники расчищать, и сооружать канал и водохранилище...

— Проблему и надо решать в комплексе, — заметила Айкиз.

— Комплекс, по-вашему, — это когда под мышкой пытаются удержать два арбуза?.. Ну да ладно. Комплекс так комплекс. Да ведь только если разобраться в каждой части этого комплекса, то что получится? А получится, что товарищ Умурзакова топкает нас на весьма рискованное дело. Любое блюдо сперва ведь на вкус пробуют, а потом едят. А тут нас зовут, зажмурив глаза, нырять в омут. Возьмем Алтынсай... Да летом его воду верблюдов может выпить в один глоток. Скажете, не так?

— Пока — так, — спокойно отозвалась Айкиз. — Я ведь и сама говорила об этом. Но вы почему-то прослушали все остальное. После расчистки родников воды в реках станет больше. И не забывайте о водохранилище! У нас ведь, уважаемый раис, на руках цифры. А вам, простите, приходится прибегать лишь к сравнениям. И повторять доводы, уже опровергнутые!

— А вы не кипятитесь, товарищ Умурзакова. Мы вас слушали, дайте и другим высказаться. Хм... Родники... Слишком это рискованно, на родники надеяться. А вдруг они иссякнут?

— Запасы родниковой воды высчитаны райводхозом. Их хватит надолго.

— Райводхоз предполагает, а аллах располагает. Подумайте сами, ведь если бы возможно было использовать для полива воду родников, так она давно была бы использована. Нам ученые сказали бы: действуйте, это по науке! И государство выделило бы нужные средства. Но никто до сих пор ничего нам не говорил...

— Руки до этого пока не доходили, — опять вскинулась Айкиз.

— Может, оно и так. Только зачем же нам-то заниматься опасной самодеятельностью? Уж в крайнем случае

подождем, пока кто другой за это возьмется, у кого побольше сил и возможностей. А мы поглядим, что из этого выйдет...

На этот раз Бекбута не удержался от насмешливой реплики:

— По-вашему, пусть другие идут в атаку, а мы пока в кустах будем отсиживаться да поджидать, чем эта атака кончится?

Кадырова бесило, что никто не желает его понять, что ему в одиночку приходится отстаивать интересы колхоза. И от ярости, от внутреннего напряжения багровость на его лице сгустилась до свекольного цвета...

— А хоть бы и так! — сказал он с вызовом. — В бессмысленную атаку бросаются только дураки. Любая атака требует тщательной подготовки. А я что-то не уверен, что мы готовы к бою. Предположим даже, что все запасы воды вы подсчитали верно, хотя цифры всегда обманчивы и, возможно, из ваших родников нельзя будет выжать и капли влаги. А людские ресурсы? О них Умурзакова подумала? Повторяю: проблема рабочих рук — главная проблема. Ведь придется скалы ворочать, долбить камень. Это вам не волосок из теста вытягивать! Кто же этим будет заниматься? Святой дух? Людей-то у нас мало. И я не позволю отрывать их от текущих работ. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да, и не смотрите на меня так, товарищ Умурзакова, ничего крамольного я не сказал. Если мы и сев сорвем и из вашей затеи пшник получится, так кого к ответу притянут? Председателя колхоза, Кадырова! А я не согласен страдать за чужие грехи. Нет, не согласен! Я — против предложения Умурзаковой. Оно не учитывает реального положения вещей. Надо глядеть на все глазами опыта.

Отдуваясь, Кадыров грузно опустился на стул, устался в пол хмурым взглядом.

Слово взял Бекбута.

— Ну, товарищи, раис совсем запугал нас трудностями... Нет, доля правды в его словах есть: нужны четкие расчеты, тщательная подготовка... Кто ж с этим спорит? Для того мы тут и собрались, чтобы хорошенько все взвесить, продумать. Но, в общем-то, Айкыз стоящее дело предлагает, ей-богу! А у председателя — одни возражения. К чему он, по сути, нас зовет! А вот к чему: ничего не предпринимать, оставить все таким, как было, и не пытаться

ся даже пальцем пошевелить, чтоб двинуть наш колхоз вперед! А ведь известно: стоять на месте — значит отстать от других. От тех, кто ищет, пробует, борется за лучшую жизнь. Согласен, путь перед нами лежит нелегкий. Но ведь не зря говорится: дорогу осилит идущий. И чем скорее мы сделаем первые шаги, тем скорее выйдем на передовые рубежи преобразования природы. Трудностей тут не миновать. Это ясно. Но если ты смел, решителен и уверен в своих силах, так никакое дело не покажется тебе тяжелым. Председатель наш плачется: людей у нас мало. Так и из этого есть выход: каждый должен работать за двоих, за троих. Вспомните войну: солдаты наши били врага не числом, а умением, мощью духа, и колхозы, где оставались лишь старики, женщины да дети, крепко помогали фронту, прославили себя героическим трудом. Надо было — человек шел на подвиг. И порой не предполагал, какой он сильный. Да, перед нами была святая цель: поскорей разбить фашистов. А разве нынче у нас цель не менее высокая — крепить экономику страны, коммунизм строить? Стоя на месте, к нему не приблизишься...

— Вот, вот, еще зачислили и меня в противники коммунизма! — выдавил из себя Кадыров.

— Ну, это ты уж хватил, раис. Но я так скажу: тебе спокойней жить сегодняшним днем. Лучше, как говорится, сидеть, чем идти, а еще лучше лежать, чем сидеть... Оттого-то ты и отмахиваешься и от всякого риска, и от лишних хлопот.

Кадыров надулся, замолчал. Он отошел к окну, встал спиной к собравшимся, заложив руки за спину. В дальнейших прениях он уже не участвовал...

Все члены партийного бюро горячо поддержали Бекбуту. И единогласно приняли решение: немедленно приступить к осуществлению плана, который они обсуждали, с учетом внесенных в него поправок и уточнений.

Кадыров, воздержавшийся при голосовании, остался в одиночестве. Он все торчал у окна, мрачно насупясь, и лишь когда все начали с шумом вставать с мест, оживленно переговариваясь, повернулся к ним лицом и вкрадчиво, с тайным злорадством спросил:

— Значит, порешили все вопросы? Баракалля, баракалля...

— У вас есть еще что сказать? Что же вы до сих пор молчали? — в голосе Алимджана звучало раздражение.



— Думал, секретарь. Кому-то надо же подумать над некоторыми вещами. Весьма, между прочим, важными.

— Мы слушаем вас.

— Мне хотелось бы знать, — уже с откровенной издевкой продолжал Кадыров, — откуда вы возьмете средства на свои «мероприятия»? На какие деньги собираетесь природу преобразовывать?

— При чем тут деньги? — нахмурился Бекбута. — Мы сделаем все своими руками.

— Ах, своими руками? Ну, пу. И деньги, значит, вам не потребуются? Я гляжу, здорово вы во всем разбираетесь. Ну, а ежели копнуть поглубже? — Злость и торжество были написаны на лице Кадырова. — Вы что, думаете обойтись вот этой бумажкой? — Он взял со стола свернувшийся лист ватмана, сильно тряхнул им в воздухе. Лист с хрустом раскрутился, на мгновение сверкнули красные и синие линии, а когда он снова свернулся в трубку, Кадыров швырнул его обратно, на стол. — Это кустарщина. Детская мазня. Нужен настоящий проект, составленный специалистами. А за него придется выложить денежки... Ну, а взрывные работы? За них тоже надо платить. И за механизмы. И за арматуру, цемент, без которых плотину не построишь. Так что раскрывай шире карман! Прежде чем вы воду добудете, вам понадобится раздобыть средства, и немалые. Так откуда вы их возьмете, а?.. Или вы намереваетесь строить плотину и водохранилище из речей, а вместо взрывчатки заложить собственный энтузиазм?

Воцарилось пеловкое молчание. Все были смущены — ведь они и правда не подумали о деньгах, требующихся на оплату строительных материалов, механизмов, взрывных работ. Как-то само собой разумелось, что государство не откажет им в средствах на такое важное дело, как ирригационное строительство и освоение новых земель. Они и сейчас были уверены: не откажет. Но сколько пройдет времени, пока будут рассматриваться, утверждаться их заявки? А им немедленно хотелось взяться за работу, на этом, собственно, и основывались их планы.

Кадыров переводил победный взгляд с одного на другого. Молчание затягивалось. Наконец Алимджан сказал:

— О деньгах мы хотели поговорить отдельно. В общем-то, мы рассчитываем на помощь государства...

— В иждивенцы запрашиваетесь? Как будто у госу-

дарства нет сейчас других забот. Хозяйство-то еще не восстановлено... Просителей и без нас хватает.

Бекбута вздохнул.

— Председатель прав. Негоже нам теревить государственную казну... — Поперек его лба легли глубокие морщины. — Никуда не денешься — надобно искать нужные средства у себя в колхозе.

У Кадырова в усмешке дрогнули усы.

— Ишь какой пряткий! В колхозе... С огорчением вынужден доложить: свободных денег у нас ни гроша. Мы ведь пшеничку растим, а не хлопок...

— Да, растили бы хлопок, были бы побогаче, — усмехнулась и Айкиз. — Вы, раис, только подтверждаете своевременность и правильность намеченных нами мероприятий.

— Да разве ж я против них? Я только трезвей, чем вы, смотрю на вещи. Хлопка у нас пока нет. И денег лишних нет. Если бы были, так я не спрашивал бы у вас, где их взять. С превеликим удовольствием выложил бы на стол.

Судя по выражению лица Кадырова, удовольствие он испытывал как раз в эту минуту, приперев к стене слишком уж ретивых «добытчиков» воды.

Бекбута хмуро, осуждающе взглянул на него, отошел к двери, зачем-то развязал свой бельбог, встряхнул его, снова им подпоясался. Все следили за ним, ожидая, что он предложит что-нибудь конкретное. Но бригадир молчал... Тогда Алимджан, решительным движением расправив у ремня гимнастерку, твердо заявил:

— Бекбута верно сказал — грешно сейчас тянуть деньги с государства. И раис нас не обманывает: свободных денег в колхозе действительно нет. Но и мы не имеем права откладывать на неопределенное время реализацию наших планов. Они продиктованы самой жизнью, и откажись мы от них, так колхоз вечно будет сидеть без денег. Заколдованный круг получается, а? Денег нет, потому что нет у нас земель под хлопком, а освоить их мы не в силах, потому что денег нет. А если подумать хорошенько, деньги, может, найдутся?.. Ведь у нас имеется неделимый фонд. Скажите, товарищ Кадыров, какое назначение у неделимого фонда колхоза?

Кадыров насторожился:

— У неделимого фонда?.. Он предназначен для особо важных колхозных нужд.

— Расплывчато. Вы не договариваете, Кадыров. Уточню: неделимый фонд используется на расширение общественного хозяйства. То есть на приобретение сельскохозяйственного оборудования, на капитальное строительство, на освоение новых посевных площадей. А у нас ведь и запланировано поднятие целины. И если часть неделимого фонда пойдет на расчистку родников, сооружение плотины, канала и водохранилища, то это будет и разумно и законно. Ведь, засеяв вновь освоенные земли хлопком, сняв богатый урожай, мы сможем существенно пополнить тот же неделимый фонд.

— Верно! — с облегчением воскликнул Бекбута и в радостном порыве чуть не забил в ладоши, но, оглянувшись и увидев, как серьезны присутствующие, примолк и заложил руки за бельбог.

Всем было не до восторгов, потому что Кадыров снова ваартачился. Набывчившись, он жестко проговорил:

— Нет, неверно. И неразумно. Я этот неделимый фонд копил годами, не досыпая ночей, себя не жалел... За каждой крохой дохода охотился, приобщая ее к неделимому фонду. Что ж, по-вашему, я собирал его, чтобы нынче потратить на рискованные затеи? Нет, любезные, я не дам вам из него ни копейки. Слышите — ни копейки!

— А ради чего ты его так бережешь, раис? — спросил Бекбута.

— Ради чего? А ну как беда какая случится? Нашлет на нас небо град или засуху? Пока ведь не мы стихиями распоряжаемся, а они нами. Чем я тогда кормить колхозников буду, а? Вот тут-то неделимый фонд и пригодится, еще как пригодится. Теперь поняли, почему я над ним так трясусь?

— А если не будет ни града, ни засухи? — спокойно сказал Алимджан. — Тогда вы уподобитесь скупцу, сидящему на мешке с золотом: мол, ни мне, ни другим. Кстати, мы ведь не собираемся тратить весь неделимый фонд, оставшегося хватит на всякие неожиданности...

Но Кадыров не слушал его. Напуганный страшной, им же самим нарисованной картиной возможных бедствий, ослепленный собственным упрямством и яростью, он сейчас никого не желал слушать. Лицо и шея у него опять побавровели, трудно стало дышать; он долго непослушными пальцами расстегивал ворот кителя, потом рванул его в сердцах, хрипло выкрикнул:

— Я сказал: не дам ни копейки! Не позволю растранижировать неделимый фонд, пускать его на ветер! Хоть режьте, ничего от меня не получите!

— Товарищ Кадыров, возьмите себя в руки, — с каким-то сожалением, строго произнес Алимджан. — И что вы все «якаете»? Создание неделимого фонда не только ваша заслуга. И не вы его единоличный хозяин. Это деньги не ваши и не наши, они — народные. Вот мы и попросим их у народа. Созовем общее колхозное собрание, посоветуемся с дехканами, обсудим этот вопрос всем миром... Разрешат нам колхозники взять деньги из неделимого фонда — возьмем, не разрешат — что ж, тогда считайте, ваш верх. Будем искать другой выход...

Кадырова вовсе не прельщала перспектива предложенного Алимджаном колхозного «референдума», он привык сам решать все важные вопросы, своей рукой ставить жирную точку. Однако ему нечего было возразить Алимджану: еще, не дай бог, обвинят в пренебрежении внутриколхозной демократией. Некоторое время он тупо смотрел на Алимджана, не замечая, как с бритой головы из-под тубетейки текут по щекам струйки пота, потом выругался про себя, повернулся и вышел из комнаты.

Спиной он чувствовал осуждающие взгляды, которыми проводили его члены партбюро, но ему было безразлично, что о нем подумают или скажут. Он весь кипел от злости и обиды. С ним не посчитались! Всем плевать на его опыт, на то, что он столько лет стоял у колхозного руля. Он брел по улице, и ему вспоминалось, как кричал он в бешепстве, что не даст растранижировать колхозный фонд, а Алимджан спокойно возражал: деньги это не твои — народные. И все смотрели на него, на Кадырова, с укором и жалостью. Почему с жалостью? А Айкиз вообще отвернулась к окну — ишь, еще и молоко на губах не обсохло, а уже нос задирает. Что ей Кадыров? Так, коряга на пути в «светлое будущее». А Бекбута почему-то уставился на его хромовые сапоги с высокими твердыми голенищами. «Шайтан его знает, что он нашел в моих сапогах?» — с недоумением подумал Кадыров и остановился, разглядывая сапоги — прочные, добротные, с округлыми носками, высокими каблуками... Он пожал плечами: сапоги как сапоги, ничего в них особенного. А хороши — сносу им не будет! Они, любезный Бекбута, еще и тебя переживут. И все ваши кустарные планы!..

Эта невольная задержка на дороге несколько охладила Кадырова, и когда он снова зашагал по направлению к дому, мысли его, которые еще минуту назад кружились, как опавшие листья, подхваченные ветром, приняли более спокойное направление. Чувство ярости отпустило Кадырова, хотя он все еще испытывал возмущение, смешанное теперь с каким-то мстительным торжеством. Ничего... Эти молокососы еще пожалеют о своих решениях. Принять решение легче всего. А дальше? Ох, расшибут они себе головы!.. Как пить дать — расшибут. Ведь что надумали: добыть воду, поднять предгорные земли!.. Будто это так же просто, как опорожнить миску шурпы. Конечно, куда как лестно прослыть новаторами, инициаторами, застрельщиками!.. Ну, а он, Кадыров, в их глазах замшелый консерватор. Еще бы, все «за», а он «против»!.. Значит, трус, противник всего нового, человек, оставший от жизни. Нет, любезные, он, Кадыров, просто более опытен и потому осторожен, предусмотрителен. Он отвечает за благополучие колхоза. И в случае неудачи с него снимут голову!.. Вот потому он и не желает идти за вами тропой, которая тянется по краю пропасти. Пускай сперва другие испробуют этот путь... Да, да, вот если бы ваши «новаторские» идеи, любезные, прошли уже необходимую проверку и были взвешены на точных весах, и измерены опытным глазом, и одобрены знающими людьми, — тогда бы и он, Кадыров, проголосовал за них обеими руками. А пока — извините... Он вам не попутчик. И это не от перестраховки, а от житейской мудрости. И пусть его обвиняют в том, что он будто бы не хочет добра своим колхозникам. Кто этому поверит? Как раз он-то и болеет по-настоящему за свой колхоз, потому что это он, Кадыров, и создавал и крепил его.

И тут Кадыров чуть не споткнулся на ровной дороге. Ба, ба, ба! Как же это он сразу-то не сообразил!.. Уж не метит ли Алимджан на его место?.. И все эти проекты — лишь повод для того, чтобы смешать Кадырова с грязью, выставить его перед всем народом упрямым тупицей, «консерватором», восстановить против него сперва партбюро, а потом и всех колхозников. Ну да, это Алимджан и подбил Айкиз на рискованную затею. С нее какой спрос? Молодо-зелено. Она-то еще девчонка. А Алимджан, видно, тертый калач, карьерист, и хитрый... Войну-то он закончил офицером, вот и нынче хочет командовать. «Новаторская»

пнициатива — это недурная возможность покрасоваться перед людьми, заработать себе дешевый авторитет да заодно свалить Кадырова, — ведь Алимджан заранее знал, что Кадыров не пойдет у него на поводу и всеми силами будет сопротивляться опасным «начинаниям»... Мало ему, что он возглавляет партийную организацию колхоза, теперь весь колхоз решил прибрать к рукам. Ну уж, дудки!.. Свой колхоз Кадыров тебе без боя не отдаст. Да, да, свой! Он заслужил это право — называть колхоз «своим». С первого дня организации колхоза Кадыров его бессменный председатель. И колхозники ни разу на него не жаловались. Худо ли, бедно ли, а колхоз прочно стоит на ногах. И пусть не сеет хлопок — и без этого Кадырова хвалят и в районе и в области. Дался им этот хлопок!.. От добра, говорят, добра не ищут. У колхоза весомый неделимый фонд, колхозники живут хоть и небогато, но без страха перед завтрашним днем. Вспомнить, что довелось пережить в войну, так обеими руками ухватишься за сегодняшние блага... Еще неизвестно, что таят в себе дальние-то дали. Печенка, которая варится в котле, лучше курдюка, болтающегося на баране! Да, да, разлюбезный Алимджан, не думай, что я так легко сдамся, подо мной твердая земля, трезвые люди поймут, кто из нас прав. Председательское место — это конь не про тебя, Алимджан. Каждый ходит под своей тубетейкой...

Эти мысли и будоражили и успокаивали Кадырова. Он не замечал пути. И удивился, увидев себя стоящим уже перед калиткой собственного дома. Ну и ну, вон ведь как быстро дошел...

Стукнув кулаком в калитку, он подождал с минуту, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Взгляд его упал на носки сапог, он снова вспомнил Бекбуту, усмехаясь, покачал головой: «Ишь, сапоги мои ему не понравились... Да вы все и меня самого рады бы вышвырнуть из председательского кабинета, вместе с сапогами. Ох, велики ваши аппетиты, да глядите, как бы вам зубы не обломать о Кадырова, кость у меня крепкая!..»

Он еще раз постучался, уже более сердито, и опять помедлил, прислушиваясь. Со двора не доносилось ни звука. Тогда он в ярости замолотил по калитке сразу двумя кулаками. И угодил по острию гвоздика, торчавшего из доски. Взвыв от боли и чертыхнувшись, он высосал кровь из ранки и принялся бешено колотить в калитку

сапогами, стараясь наносить удары не поском, а всей подошвой. Вышибленная особенно сильным ударом, одна створка калитки с грохотом повалилась на землю вместе с оторванной цепочкой, а другая, стукнувшись со стороны двора о дувал, отскочила и ушибла Кадырову плечо — он в это время как раз шагнул вперед. Кадыров света неувидел, весь двор огласили его ругательства. И когда перед ним появилась жена, выскочившая из дома и на ходу вытиравшая руки и лицо, которые были в тесте и в муке, он заорал, вымещая на ней накопившуюся злость:

— Ты что, оглохла? А ну, прочь! Прочь с моих глаз!

Оттолкнув жену, он метнулся к дому, поднялся на айван, прошел через него быстрым шагом, ворвался в комнату и запер за собой дверь на крючок. Ему никого не хотелось видеть. Он присел на кровать, застланную поверх стеганого одеяла тонким атласным покрывалом, бормоча проклятья, с трудом стащил с себя сапоги, в сердцах швырнул их далеко под кровать. Только после этого он почувствовал некоторое облегчение.

Но его в этот день прямо-таки преследовал злой рок. Вещи отказывались ему подчиняться.

Стоя босиком на мягком багрово-красном ковре, Кадыров извлек из кармана кителя изящную насклады — табакерку из маленькой тыквы-горлянки, откупорил ее и, держа в правой руке, несколько раз стукнул горлышком о левую ладонь. Из табакерки не высыпалось ни крошки насвая. Он переложил ее в левую руку и стал трясти над правой ладонью. Табакерка была пуста. Тогда, совсем уже выйдя из себя, Кадыров хватил табакеркой о дверь — насклады разлетелась вдребезги, мелкие кусочки рассыпались по ковру, упали на холодный сандал, покрытый желтой скатертью и служивший хантахтой, на белые подушки и атласное покрывало, лежавшие на кровати.

Некоторое время Кадыров бессмысленно смотрел на рассеянные всюду жалкие остатки любимой своей табакерки, потом тяжело вздохнул, снял китель, небрежно кинул его на радиоприемник, набросил на плечи плотный стеганный халат, прошелся по комнате, опять вздохнул, шагнул к кровати, сграбастал подушки, швырнул их на ковер да так прямо на ковре и улегся, заложив руки за голову и упершись недвижным взглядом в холодный сандал...

На душе у него тоже было холодно и пусто.

Айкиз рассказала отцу о заседании партбюро, вышедшем решении о расчистке родников и строительстве плотины, канала и водохранилища. А вечером Умурзак-ата, сидя в переполненном клубе на колхозном собрании, сам стал свидетелем того, с каким единодушием и жаром одобрили алтынсайцы это решение. Они как будто только и ждали, когда же поднимут их, позовут на этот трудовой подвиг. Во время выступлений Айкиз, Алимджана, Бекбуты с мест то и дело раздавались выкрики:

— Правильно! Давно уж пора!

— Молодец, Айкиз!

— Не надо с этим тянуть — время дорого!

Противников предложения Айкиз на собрании не оказалось, если не считать Кадырова, но он почему-то помалкивал и восседал за столом президиума с таким видом, будто хотел сказать: ладно, разорьяйтесь пока, а мы посмотрим, что выйдет из вашей затеи, погодим, пока вы лоб себе расшибете, нам-то что, с нас взятки гладки.

Он один воздержался при голосовании. И это было не только выражением его мнения, но и житейской осторожностью — он страховал себя на случай провала принятых планов.

А Умурзак-ата тревожно удивлялся, слушая взволнованные, но все же дышавшие уверенностью речи, восторженные реплики, шумные аплодисменты. Да что они, с ума все походили? Ишь, на какое дело дочку толкают! Старика так и подмывало выступить, сказать своим разгоряченным землякам: поостыньте малость, образумьтесь да вместо того, чтоб потакать затеям Айкиз, одерните ее, поправьте, — она ведь еще молодая, неопытная, сама не ведает, на какой риск идет, ей не по плечу груз, который она надумала на себя взвалить, еще, того гляди, оступится, надорвется... А потом ей краснеть придется перед людьми. Однако подобным выступлением он только опозорил бы дочь раньше времени. А позора-то он больше всего и боялся... Да и что греха таить, Умурзаку-ата было приятно, что колхозники так дружно поддерживают его дочь, хвалят ее, верят ей... И в глубине души его шевелился червячок сомнения: а может, напрасны все его страхи и дочь права — иначе ее предложение не прошло бы на

«ура»?.. Народ-то убежден, что будут в Алтынсае и вода и хлопок, а народ — это сила, народ — это мудрость.

После собрания Умурзак-ата говорил с дочерью о чем угодно, только не о том, что творилось у него на душе. Ему не хотелось омрачать Айкиз, портить ей настроение. Вон ведь какая она веселая, воодушевленная.

Но ночью он не мог сомкнуть глаз, постель казалась ему жесткой, одеяло жарким, он беспокойно ворочался с боку на бок, взбивал и поправлял подушки, стараясь улечься поудобней. Сомнения и страхи навалились на него с новой силой. Если Айкиз права, так почему Кадыров не соглашается с ней? Ведь ему не занимать ни мудрости, ни опыта. Слава богу, он знает землю и знает цену воде. Что же он так противится замыслам Айкиз? Ладно, за ней готово пойти большинство колхозников, и партбюро — за нее, но ведь и мнение Кадырова нельзя скинуть со счетов. Его слово весомо, как камень. А он считает, что планы Айкиз и ее сторонников построены на песке и могут только отвлечь колхозников от неотложных дел. Что тут возразишь? Сейчас и правда самое горячее время, когда для дехканина не то что день — каждый час дорог. Упустишь драгоценные эти часы — после их не наверстаешь...

Умурзак-ата поднялся утром с постели хмурый, разбитый. Но Айкиз, занятая своими мыслями, не заметила его состояния. Даже не позавтракав, она убежала в сельсовет.

И опять остался старик наедине со своими сомнениями. Все валилось у него из рук. Несколько раз он принимался подметать двор, вдруг застывал на месте, отбрасывал веник и шел в дом. Он осторожно толкал дверь в комнату, принадлежавшую когда-то Алишеру и Тимуру. Обычно она была закрыта, туда не приято было заходить, Умурзак-ата ревностно сохранял все таким, как при Алишере и Тимуре, словно сыновья могли вернуться в эту комнату. Однако сегодня он трижды сюда заглядывал, бесшумно ступая по кошке, как будто боясь разбудить спящих сыновей, приближался к их портретам, висевшим над кроватями, и долго смотрел на них.

Он спрашивал старшего, Алишера: что ты, сынок, думаешь обо всем этом? В чуть помятой солдатской гимнастерке, в пилотке, лихо сдвинутой набекрень, Алишер выглядел бесшабашно смелым, он открыто улыбался отцу,

и тому чудилось, будто Алишер доволен поступками своей сестры. Тогда он переводил взгляд на портрет Тимура, тоже заключенный в простенькую деревянную рамку, и его спрашивал: ну, а ты, сынок, тоже за сестренку? С фронта Тимур не успел прислать ни одной фотографии, поэтому в рамку была вделана старая, довоенная, где заснят он был совсем мальчишкой — в летней рубашке-тенниске, в повенюхой чувской тубетейке, из-под которой выбивалась смоляная прядка. Лицо его дышало задором — ну, конечно, он непременно поддержал бы сестру. Такой же неумный...

Вздохнув, старик покидал комнату, плотно прикрывая за собой дверь.

Снова взявшись за веник, он заметил, что двор давно уже чисто подметен. Злясь на себя, на свою рассеянность, он швырнул веник под навес, уселся на супе, подобрав под себя ноги. Надо было немного успокоиться, привести в порядок мысли и чувства... Долго сидеть без дела он, однако, не мог и решил заняться починкой сапог. Работа эта всегда доставляла ему удовольствие и спорилась в его руках, но сейчас и она не клеилась. Он терял то дратву, то иглу, то вар и после долгих поисков обнаруживал их под кошмой или лоскутом кожи. Потом куда-то запропастилось шило. Старик долго шарил под кошмой, слез даже с супы на землю, оглядывая все вокруг, потом снова на нее взобрался, плюнул в отчаянии: куда же оно, треклятое, могло подеваться?

И опять привязались к нему мысли об Айкиз. Вот он сейчас мучается, а ведь сам во всем виноват. Надо было мягко, по-отцовски объяснить ей, что она, по молодости, просто не вправе замахиваться на большие дела, к тому же еще и рискованные. Ведь если она потерпит неудачу, то как будет смотреть в глаза людям? Получится, что она обманула их. И тогда стыда не оберешься, а стыд страшнее смерти... Она и себя опозорит и отца. А ведь Айкиз у него единственная, один свет в окошке... Может, сходить к Кадырову, с ним посоветоваться?

Умурзак-ата засунул в недочиненный сапог иглу, клубок дратвы, кусок черного вара. В сапоге оказалось и проклятое шило — старик даже выругался с досады. Спрятав сапог под кошмой, он поспешил в дом.

Он не стал менять халат, лишь потуже подпоясал его бельбогом да вместо калош надел рабочие сапоги. И заша-

гал к центру кишлака, где находилось здание колхозного правления.

На главной кишлачной улице царило необычное оживление. Старик нахмурился: с чего это в страдную пору люди шатаются по кишлаку? И у всех рты до ушей, все улыбаются, как будто нынче праздник какой...

Встречные почтительно кланялись ему, прикладывая руку к сердцу, некоторые останавливались, пытаясь заговорить, но Умурзак-ата не склонен был ни с кем беседовать, вид у него был хмурый, рассеянный, он порой даже не отвечал на приветствия. Односельчане недоумевающе пожимали плечами: что это с ним?..

Неожиданно старик остановился. Через улицу, пылая, как заря, тянулось широкое малиновое полотнище, на котором было выведено крупными белыми буквами: «Преобразуем природу родной земли! Все на борьбу за воду! Все на борьбу за высокие урожаи хлопка!»

Умурзак-ата, вскинув голову, прочитал лозунг, в растерянности поморгал ресницами... Вот оно что. Уж и лозунги успели повесить. Спешит, спешит дочка. А спешка до добра не доводит.

Полотнище было прикреплено к зеленым ветвям тополей, стоявших друг против друга по обеим сторонам улицы. Ветви чуть покачивались под ветром, и полотнище колыхалось, переливаясь алыми оттенками. В этом было что-то не только красивое, но и торжественное, величественное. Люди здесь замедляли шаги, задирали вверх головы; прочитав лозунг, задумывались...

Умурзаку-ата буквы казались огромными, они на весь кишлак вещали о сумасбродной идее Айкиз.

Но почему лишь Айкиз? Тут ведь не обошлось и без Алимджана, с готовностью подставившего ей плечо. Да, да, это дело и его рук. Вроде ведь неглупый парень... Умурзак-ата в последнее время относился к нему, как к сыну. С любовью и уважением. Да, он достоин уважения. Бывший фронтовик. Вожак колхозных коммунистов. А вот поди ж ты, вместо того чтобы остановить Айкиз, он горячо поддержал ее.

Старик в каком-то недоумении покачал головой и продолжил свой путь.

Он шел и вспоминал недавнее утро, когда Алимджан заглянул к нему и они мирно беседовали, поджидая Айкиз. Алимджан тогда беспокоился об Айкиз... Уж его,

Умурзака, не обманешь: равнодушен секретарь партбюро к его дочери... Вот бы и предостерег ее от рискованного, необдуманного шага. Так нет, он с ней заодно!.. Надо бы потолковать с ним по-свойски, откровенно. Он, наверно, сейчас в правлении. И он должен понять Умурзака-ата... И ему и Айкиз еще не поздно одуматься.

Новый лозунг огнем полыхнул в глаза старика: «Товарищи алтынсайцы! Приведем воду с гор на наши поля! Все на борьбу за воду! Мы победим!»

Лозунг — большой, чуть не во всю стену — рдел на доме Бекбута. Старик задержался перед ним, долго в него вчитывался и все покачивал головой. Что ж это делается? На своем доме лозунг мог укрепить только сам Бекбута. Он, значит, тоже с Айкиз. Да он и на собрании выступил в ее поддержку... А ведь Бекбута — лучший бригадир в колхозе. Вот и выходит, что передовые люди колхоза — и Алимджан и Бекбута — все на стороне Айкиз! А противостоят ей лишь Кадыров да он, Умурзака-ата... Что-то тут не так. Не может же быть, чтобы все ошибались и лишь двое видели опасность. А вдруг нет никакой опасности, и Айкиз права, и осуществление давней мечты алтынсайцев о воде — вполне реальное дело?

В который уж раз старик перечитал: «Приведем воду с гор на наши поля!» И, как воочию, возникла перед его глазами отрадная картина: по дну широкого канала с шипеньем мчится струя воды, первая струя, а впереди бежит Бекбута, приплясывая и хлопая в ладоши, и струя настигает его, оплетает прохладой его босые ноги, и Бекбута, обезумев от счастья, кричит: «Ое-ой! Вот она, водичка! Вот она, дорогая!» А следом за водой и бригадиром по обеим берегам канала льется поток колхозников: все в белых рубашках, подпоясанных нарядными бельбогами, и все тоже кричат что-то восторженное, некоторые пытаются даже запеть, и песня то тонет в общем радостном шуме, то выплескивается к небу. Шлепая пятками по воде и перекрывая и песню и беспорядочный гам, Бекбута вопит: «Эй, кто там сомневался в нашей победе? Кто был против нас?»

Умурзака-ата в испуге оглянулся и покачал головой. Привидится же такое, да не во сне, а наяву!.. Видать, не очень-то он уверен в своей правоте. Бекбута зря не вывесил бы лозунг на своем доме, он всегда знает, на что идет. Но тогда, значит, напрасно Умурзака-ата тревожится

за Айкыз? Ох, если бы вышло по-ихнему и на заброшенной целине зацвели бы сады, вырос хлопчатник! Приманчиво все это, ох, приманчиво!..

От дум и мечтаний Умурзак-ата пробудил густой бас, раздавшийся над самым ухом:

— Салам, атаджан!

Умурзак-ата, вздрогнув от неожиданности, обернулся и увидел рядом с собой своего соседа Суванкула с большим — по его богатырскому росту — кетменем на плече.

— Салам, — сухо отозвался старик, недовольный тем, что Суванкул помешал его мыслям. — Куда это ты собрался?

— Как куда? Вы разве ничего не слышали? Мы всем колхозом готовимся в поход за водой.

— Значит, вода у нас появилась неведомо откуда? — Умурзак-ата не скрывал иронии.

— Не появилась, так появится. Мы достанем ее хоть из-под земли!

— Разлетелись!.. Что-то до вас никто не мог ее достать.

— Да вы, ата, будто с луны свалились. Вчера же собрание решило...

— Был я на этом собрании, — прервал его Умурзак-ата. — Пошуметь-то вы мастера.

— Да наше решение всеми одобрено. Вы Смирнова из райводхоза знаете?

— Знаю. Толковый специалист.

— То-то. Толковый. Так он все подсчитал и сказал, что если мы расчистим родники да Кокбулак вернем к жизни, так зальемся водой! И сам товарищ Джурабаев, секретарь райкома, дал нам «добро». Вы, говорит, великое дело начинаете.

— Великое? Это доподлинные его слова? Ты сам слышал?

— Ну, я при этом не присутствовал, но мне передавали, будто он так и заявил: великое. — Суванкул легко перекинул кетмень с левого плеча на правое. — А вы что, ата, сомневаетесь в этом?

Умурзак-ата промолчал, сделав вид, что не слышал вопроса.

— Не сомневайтесь, все будет в порядке. Товарищ Джурабаев сказал: вы только начните, а там и соседи на подмогу придут. Мы, говорит, затеем большой хашар!



— Хашар? Он так и сказал? — снова переспросил Умурзак-ата, и непонятно было, то ли его обрадовали слова Джурабаева, то ли он усомнился в них.

Неожиданно старик повернулся и, даже не попрощавшись с Суванкулом, заложив руки за спину, быстро зашагал по улице Ленина к правлению колхоза.

— Эй, Умурзак-ата! Куда же вы? — крикнул вслед ему Суванкул. — Нам по пути! Погодите!

Старик даже не оглянулся.

Умурзаку-ата было не до Суванкула, его вновь охватили сомнения. Что же это делается на белом свете? Его дочка взбудоражила весь кишлак, всех дехкан увлекла своими планами, даже таких опытных, расчетливых, как Бекбута и Суванкул. По словам Суванкула, и инженер Смирнов на ее стороне. Тут остается только руками развести... Ведь столько уж лет знает Умурзак-ата инженера — с тех пор, как тот мальчишкой пришел работать в райводхоз. Потом он уехал учиться в Москву, оттуда подал на фронт... Воротился с войны уже с белыми висками. «Жизнь-то бежит, Иван-ака, ты успел за эти годы опыта поднабраться, и мысль у тебя стала зрелая. И ты Айкиз поддерживаешь? Да если бы только ты один, а то вон и Джурабаев поверил в ее затею. Джурабаев, секретарь райкома, уважаемый человек, тоже бывший фронтовик. Это что же получается? Все верят дочке, кроме родного отца! Может, глаза у меня уже слабые, и я не в силах разглядеть то, что увидела Айкиз! Как же мне теперь быть-то? Грех это, против всех-то идти. Да ведь и дочку толкать на такое рискованное дело тоже грешно. Ну-ка споткнется? Совсем ведь еще девчонка, боязно за нее...»

Здание, где размещалось правление колхоза, находилось на перекрестке двух улиц. Сливаясь, они образовывали площадь, где обычно проходили многолюдные митинги и собрания. Приближаясь к этой площади, Умурзак-ата все больше удивлялся: и улица, по которой он шел, и площадь были запружены народом. Старик придержал шаг, присматриваясь и прислушиваясь, и вдруг врасплох встал, шаркая по дороге тяжелыми сапогами, бесцеремонно расталкивая толпившихся на улице дехкан.

На низком каменном крыльце колхозного правления, рядом с Айкиз и Алимджаном, стоял инженер Смирнов, он говорил что-то, обращаясь к толпе, но из-за шума голо-

сов старик не слышал его и еще усиленной заработал локтями, настойчиво пробиваясь поближе к крыльцу.

Внезапно он вздрогнул, оглушенный взрывом дружного хохота. Спустя минуту дехкане снова захохотали, еще веселей и раскатистей. Умурзака-ата грызли зависть и досада: как он ни напрягал слух, ему не удавалось поймать ни словечка из речи Смирнова. А тот, видимо, сыпал шутками, потому что площадь снова грохнула смехом и люди долго не могли успокоиться.

Иван Никитич Смирнов, и родившийся и закончивший школу в Самарканде, отлично владел узбекским языком, знал много острых пословиц, веселых аский мудрого Насредина Афанди и любил сдабривать ими свои выступления.

Умурзаку-ата так хотелось послушать Смирнова, что он принялся всем корпусом таранить толпу. Раздались голоса:

— Эй, кто там сзади толкается?

— Нормат! Ты что, мусалласа с утра глотнул?

— Я уж давно его не пробовал.

— С чего же ты на меня навалился?

— Да я не виноват, это старик какой-то прет напролом, словно бешеный верблюд.

— Эй, молодежь!.. Нельзя так о старом человеке...

— Прошу прощенья... А толкаться — можно?

— Вай, братцы, да это Умурзак-ата!

— Точно, он. Куда ж это он так торопится?

Умурзак-ата не обращал внимания на эти шуточные реплики и продолжал прорываться к крыльцу. Когда он наконец очутился в первых рядах толпы, кто-то положил ему руку на плечо:

— О-о, почтенный ровесник! Ассалом алейкум. Посто-стой-ка со мной, не то ты, словно танк, людей передавишь.

Это был садовод Халим-бобо. Умурзак-ата как-то ошалело глянул на него, но остановился, буркнул не слишком-то приветливо:

— Здравствуй, уважаемый. А ты, гляжу, раньше всех сюда поспел?

— А как же. Мы с тобой всюду должны быть первыми — молодежи пример подавать.

— Не больно она с нами считается, молодежь-то.

— Это ты о ком?

— Неважно.

— Что-то ты нынче не в духе, почтенный ровесник.

На них зашикали:

— Аксакалы, можно потише? Мешаете слушать.

Старики примолкли, и до Умурзака-ата донесся задорный голос Смирнова, который рассказывал очередную историю:

— Как-то у Афанди разболелось ухо. Покраснело, распухло. Увидел его ишан, спросил с издевкой: ты что, мол, Афанди, у ишака ухо-то занял?.. А тот спокойно так отвечает: что делать, святой отец, вам от ишака ум достался, а мне пришлось ухом довольствоваться...

Казалось, над площадью прокатился пушечный залп, эхом откликнувшись в горах.

Халим-бобо, вдоволь нахохотавшийся над прежними шутками Смирнова, видно, уже обессилел и смеялся беззвучно, схватившись руками за тощий живот и трясая головой, словно кому-то кланяясь. Не удержался от смеха и Умурзака-ата, хотя он и не слышал, о чем до этого толковал инженер.

Смирнов поднял руку, призывая дехкан к тишине, и заговорил уже серьезно:

— Вот как умел осадить Афанди своих противников. Будем же и мы мудрыми, как наш Афанди. И скажем тем, кто сомневается в успехе нашего дела, в реальности планов, которые мы разработали по инициативе Айкиз: да, Айкиз молода, но молодость — это смелость! И не случайно именно в молодую голову пришла дерзкая идея — найти, добыть воду и освоить Алтынсайский массив. Дерзкая, но осуществимая!

Голос у Смирнова был по-мальчишески звонкий.

— Кто-то, возможно, и прежде об этом задумывался. Но до революции не под силу было дехканам претворить подобные идеи в жизнь. Да и куда бы пошла вода? На поля ишана Кабулходжи и его алчного сынка Азимбая. Нынче же вы — хозяева земли и воды! И сил у вас хватит, чтобы горы свернуть. Вы, правда, как-то привыкли к тому, что, мол, воды здесь нет и взять ее неоткуда. Заслуга Айкиз в том, что она смогла перешагнуть через привычные представления! И заявила: вода есть! Прямо скажу — на слово мы ей не поверили. Но, обсудив ее идею, все подсчитав и перепроверив, пришли к выводу, что она права. Опираясь на составленный нами проект, можно смело утверждать: вода будет. Дело за вами, товарищи!

Надо дружно, энергично, засучив рукава взяться за работу!

Из толпы послышались возгласы:

— Сколько же ее все-таки будет, воды-то?

— Верно, инженер: мы должны знать, стоит ли овчинка выделки?

— А то как бы не вышло, как с тем ослом: холостили его — пятак потратили, а мыла, чтоб руки вымыть, купили на гривенник!

Смирнов рассмеялся:

— Понятно, друзья, к чему вы клоните. Ну, если я назову вам такую цифру — воды хватит для четырех-пяти тысяч гектаров земли, — вас это удовлетворит?

— Цифру руками не потрогаешь!

— Ты подходчивей, инженер.

— Подходчивей так подходчивей, — согласился Смирнов. — Тогда я так скажу: воды вы получите столько, сколько необходимо для орошения Алтынсайского массива.

— Значит, все предгорные земли можно будет подпять? Вот это здорово!

— Инженер! — надтреснутым, сорвавшимся голосом выкрикнул Халим-бобо. — А если новые сады разбить, так для них воды хватит?

— Хватит, хватит!

— Вот это славно!.. — Халим-бобо, откашлявшись, вытер тыльной стороной ладони усы, повернулся к Умурзаку-ата. — Ну, что скажешь, почтенный?

Тот недовольно нахмурился: не мешай, мол, послушаем еще инженера.

Но Смирнов уже сходил с крыльца. Толпа пришла в движение, дехкане окружили инженера, Алимджана, Айкиз, те едва успевали отвечать на вопросы.

Халим-бобо снова обратился к Умурзаку-ата:

— Так как, почтенный? Выходит, скоро расцветет наш Алтынсай?

Лицо у него так и сияло.

И Умурзак-ата, неожиданно для самого себя, кивнул утвердительно:

— Пожалуй, что и так.

— То-то! — почему-то торжествующе проговорил Халим-бобо, словно ему удалось победить старого друга в тяжком споре.

Он тут же исчез куда-то, а Умурзак-ата некоторое вре-

мя стоял, заложив руки за спину, морща лоб... Он с удивлением чувствовал, как рассеиваются последние его сомнения. Ведь и правда неплохо это было бы, если б земля алтыпсайская вспенилась хлопком, зацвела новыми садами... Ради этого он сам готов трудиться не покладая рук.

Ему хотелось подойти к дочери, Алимджану, Смирнову, послушать, о чем они там говорят, но он передумал и медленно побрел через площадь обратно, по направлению к дому. Он шел, уставясь взглядом в землю, и все боялся, что кто-нибудь его окликнет, остановит, начнет приставать с докучливыми, бередящими душу вопросами, а когда он свернул за угол, то ему вдруг стало обидно, что никто его так и не задержал...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В полдень к зданию райкома партии подкатила серая, какого-то пыльного цвета, но совершенно еще новенькая «Победа». Из нее вылез Кадыров. Встретившись на крыльце со Смирновым, он затеял с ним разговор, выжидательно поглядывая на дорогу.

Спустя минут десять на ней показалась «эмка», старая, доживавшая уже, видно, свой век, с помятой крышей и залатанными крыльями.

По правую сторону от крыльца скромненько стоял чей-то «Москвич», и «эмка», казалось, должна была остановиться возле него, поскольку там было попросторней, но она, затормозив, пристроилась рядом с «Победой» — так сказать, на добрососедских правах.

Из «эмки» вышли Айкиз, Алимджан и Умурзак-ата.

Когда они вступили на крыльцо, Кадыров сказал насмешливо:

— Опаздываете, дорогие. Уже теперь опаздываете. А что будет дальше? С такими-то темпами вам курицу не поймать, не то что целицу осваивать!

— А мы умышленно старались держаться от вас на почтительном расстоянии, — не остался в долгу Алимджан. Он снял тубетейку, хлопнул ею о ладонь, стряхивая дорожную пыль, и добавил: — Вы же такую пылицу подняли, что мы ослепнуть могли.

Смирнов с еле заметной иронией заметил, косясь на Кадырова:

— Плохо это — пускать людям пыль в глаза.

Кадыров насупился, соображая, как ему реагировать на эти слова, но так ни до чего и не додумался и хмуро бросил:

— Усманов из «Октября» уже здесь,— он показал головой на «Москвич».

— Вот видите, председатель! — улыбнулся Алимджан.

— Что я должен видеть?

— Вы все твердите, что мы, мол, взваливаем на себя груз не по плечам.

— Ну?..

— А Усманов-то, сами сказали, уже здесь.

— При чем тут Усманов?

— А при том, что он, видно, хочет и свои плечи под этот груз подставить. Добровольно!..

Кадыров исподлобья метнул на Алимджана злой взгляд и ничего не ответил. Гулко потопав по каменному крыльцу запыленными сапогами, он взялся было за ручку двери, чтобы войти в помещение райкома, но в это время за дверью раздались голоса, дверь отворилась, и на крыльцо высыпала группа людей, с ними был и секретарь райкома Джурабаев.

— О! Алтынсайцы приехали! — воскликнул он обрадованно. — Вовремя, вовремя. Хотя жаль, что не прибыли чуть раньше, я тут с учителями беседовал, не мешало бы и вам принять участие в этой встрече. Умурзаковой — в особенности... То, о чем мы толковали, всех вас касается. Правильно, товарищи? — он обращался уже к учителям.

Айкиз удивляло, как это Джурабаев успевает сразу делать несколько дел; вот и сейчас с одними он здоровался, с другими прощался и одновременно разговаривал и с приехавшими и с уходившими.

Он вообще был не по возрасту подвижным, общительным, энергичным, — полная противоположность Кадырову!

Сегодня на нем была светло-серая офицерская гимнастерка из тонкой шерсти, подпоясанная ремнем, — она очень шла к его ладной фигуре и гармонировала со всем его обликом: седеющими, но все еще волнистыми волосами, открытым, ясным, спокойным взглядом, ровным, матовым цветом лица.

На лице этом особенно выделялись и привлекали мед-

кие лучистые морщинки вокруг карих глаз. Тем, кто хорошо знал Джурабаева, трудно было представить его без этих морщинок: казалось, они появились у него еще в юности... Однако со временем их становилось все больше и больше, но они не старили Джурабаева; как и сам, они были подвижные, изменчивые и, в зависимости от того, о чем и с кем он разговаривал, то смеялись, то темнели, обретая резкость и глубину, то опять начинали словно бы светиться. А может, это смеялись, темнели, светлели глаза Джурабаева, таившие — нет, не таившие, а, наоборот, излучавшие ум, доброту, житейскую мудрость. Даже когда они темнели, в них все-таки дрожал свет.

Джурабаев был невысок, но плотен и плечист, от него веяло скрытой силой. По особой походке, по устоявшейся привычке держать голову склоненной немного вперед и вправо, как будто он летел на коне в сабельную атаку, все, кому тоже довелось повоевать, безошибочно угадывали в Джурабаеве бывшего кавалериста.

Войдя вместе с секретарем райкома в его кабинет, алтынсайцы увидели там не только Усманова, председателя колхоза «Октябрь», но и представителей еще двух колхозов — «Победы» и «Первого мая».

— Рассаживайтесь, — радушно предложил Джурабаев и поглядел на Айкиз.

Айкиз почувствовала беспокойство, потому что морщинки вокруг глаз Джурабаева, еще недавно светлые, сделались глубже, строже, темней.

И он заговорил озабоченно:

— Вам, Айкиз, надо бы обратить внимание на положение в школах вашего сельсовета. Мы порой слишком увлекаемся хозяйственными вопросами, а школы остаются вне поля нашего зрения. А ведь заботиться о подрастающем поколении — важнее йшая наша обязанность! Школа — это кузница людей будущего, строителей коммунизма! Тут малейшее упущение грозит серьезной бедой. Вы забыли про школы, и вот к чему это привело: в прошлом году в алтынсайской средней школе было восемь второгодников, в нынешнем, по всем признакам, их будет еще больше. Тревожные симптомы, товарищи! Рост подобных «показателей» нам совсем ни к чему, а несут за это ответственность и сельсовет, и председатель колхоза, и колхозная партийная организация. Что вы намереваетесь предпринять, товарищи?

Айкиз, понимая всю справедливость упрека, опустила глаза, некоторое время молчала, потом, собравшись с духом, твердо заявила:

— Вы правы, товарищ Джурабаев, школу мы как-то упустили из виду. Будем исправлять положение. Честное слово, больше я этой ошибки не повторю.

Джурабаев перевел вопросительный взгляд на Алимджана. Тот, видно, тоже был сильно смущен, но глаз не отвел.

— Моя вина, товарищ Джурабаев. Мы, правда, недавно на бюро обсуждали вопрос о посещаемости школы... С этим тоже не все ладно. А вот успеваемости как-то не придали значения...

— Ну да, забота об успеваемости — это, мол, дело самой школы. Ну, и органов народного образования. Для партийной же организации это слишком мелкий, частный вопрос... Хорошо еще, хоть о посещаемости поговорили... Только как можно разделять эти проблемы: посещаемость и успеваемость. Не успевать в школе — это все равно, что не посещать школу. Вам, товарищи, известна установка партии на всеобщее обучение. Установка эта в районе в общем выполняется. Но не успокаивают ли нас количественные данные, не забываем ли мы при этом о качественной стороне дела? Хорошо, что за парты садится все больше детей. Но важно еще — как мы их воспитываем, как учим?

Джурабаев неожиданно повернулся к Умурзаку-ата.

— Я верно говорю, отец?

Застигнутый врасплох, старик вскинул свои лохматые брови, пожевал губами, неторопливо произнес, поглаживая бороду:

— Верно, сынок, верно. Неучей-то нам растить не расчет. Ведь это им, ребятишкам, суждено продолжать дело отцов, новую жизнь строить. А даже я и то теперь вижу: без науки ее не построишь. Без науки пыпче и шагу не ступишь. И в нашем, крестьянском, деле без нее не обойтись. Ни урожаяев добрых не вырастишь, ни канал не пророешь. — Старик почему-то поглядел на Смирнова и с каким-то значением добавил: — Воду вот добывать тоже надо по науке...

Он замолчал, наступила пауза...

В кабинете было чуть душновато. Джурабаев расстегнул воротник гимнастерки, вытер платком шею. От шеи

тянулся к плечу и прятался под гимнастеркой темный, давно зарубцевавшийся шрам.

Алимджан скользнул по нему взглядом, задумался...

Впервые он увидел этот шрам еще в детстве, перед войной. Была тогда уборочная страда, и Алимджан наблюдал, как один из колхозников, Юлчи, работал на лобогрейке. Что-то у него не ладилось. Джурабаев, приехавший в Алтынсай и заглянувший на богару, подозвал к себе Юлчи, поговорил с ним и, видно, решил показать, как надо управляться с лобогрейкой. Сняв рубашку и майку, он кинул их на сухую стерню и направился к машине.

Алимджан так и замер, приметив у него на шее глубокий длинный шрам — след сабельного удара. А Алимджан и не знал, что Джурабаев сражался в гражданскую. Он видел перед собой живого героя войны. Мальчика охватил благоговейный трепет. Он, помнится, хотел спросить у Джурабаева, как и где его ранило, но тот уже взбирался на круглое железное сиденье лобогрейки. И тут в глаза Алимджану бросился второй шрам, темневший на спине, под последним ребром — рваный, бугристый... «А это, наверное, осколочное ранение», — подумал потрясенный Алимджан. Он чуть не побежал следом за лобогрейкой...

Голый по пояс, Джурабаев повел машину вдоль желтой стены несжатой пшеницы. На него сыпались колючие колосья, нагретые солнцем, он отбивался от них, ловко орудуя вилами. Юлчи, смущенный, обескураженный, стоял рядом с Алимджаном, не зная, что ему делать: то ли догнать лобогрейку, то ли терпеливо ждать, пока Джурабаев обедет круг.

Алимджан не отрывал глаз от Джурабаева.

Ныне и сам он, пройдя огонь сражений, носил на теле знаки солдатской доблести — затянувшиеся шрамы от ранений, полученных на фронте. Невольно он пощупал свою руку повыше локтя и, почувствовав под гимнастеркой твердый рубец, подумал с удовлетворением и гордостью: вот и у него теперь боевое прошлое, и это роднит его с Джурабаевым, старшим товарищем по партии.

Алимджан считал себя воспитанником Джурабаева.

Еще тогда, на богаре, восхищаясь Джурабаевым и завидуя его ранам, Алимджан сказал себе: вот с кого он должен брать пример. Позднее он более подробно ознакомился с биографией секретаря райкома, и это укрепило его в решении: во всем быть на него похожим!



Незадолго до войны Джурабаев баллотировался по Алтынсайскому избирательному округу в состав Верховного Совета республики. Комсомолец Алимджап был его доверенным лицом. С увлечением рассказывал он избирателям о жизни Джурабаева. Это была трудная, яркая жизнь... Еще в молодости получил он первое боевое крещение. В двадцатые годы по приказу Михаила Васильевича Фрунзе курсанты Ташкентского военного училища, в их числе и Джурабаев, были направлены в восточную Бухару, на борьбу с басмачеством. Долго служил Джурабаев в красной кавалерии, о его храбрости ходили легенды, немало басмаческих голов слетело под ударами его быстрой сверкающей сабли, одно его имя наводило страх на бандитов... В то время и сам он был не однажды ранен...

Когда с басмачами было покончено, Джурабаева послали учиться в Ташкент, в Комвуз, и после пяти лет занятий он целиком отдался партийной работе.

В первые же дни Великой Отечественной войны испытанный фрунзевец вновь сел в боевое седло. Он познал и горечь отступления, и радость первых побед — под Москвой и Сталинградом. Долгий путь он проделал, завершившийся в начале сорок пятого года наступлением на Кенигсберг. Там его ранило, многие месяцы кочевал он по госпиталям, пока наконец не вернулся в родной Алтынсай и снова не принял руководство районом.

Об этом Алимджану стало известно уже тогда, когда сам он демобилизовался из армии и приехал в Алтынсай.

Природное здоровье и железная воля помогли Джурабаеву справиться с последствиями тяжелых ранений, и выглядел он сейчас свежо и молодо, несмотря на седину и густую сеть морщинок вокруг глаз. Пожалуй, никто не дал бы ему больше сорока лет, хотя он был уже на подступах к пятидесятилетию.

Алимджан смотрел на его, такие знакомые, морщинки — они стянулись в веселые лучики. Обращаясь к Умурзаку-ата, Джурабаев сказал шутливо:

— Ловко же вы подвели нас к повестке дня. Что ж, поговорим о самом главном, самом заветном — о воде...

Алимджан провел ладонью по лицу, словно сгоняя воспоминания, и весь превратился в слух.

— Проблема воды всех нас волнует, — продолжал Джурабаев. — Вода — наша извечная мечта и забота. С водой у нас радость, без воды горе. Впрочем, вы это и без меня хорошо знаете...

— Ага, знаем, — совсем по-детски отозвалась Айкиз.

Морщинки вокруг глаз Джурабаева задрожали — он смеялся.

— В вас, Умурзакова, я и не сомневался. И сразу скажу: вы затеяли доброе дело, и очень хорошо, что так пылко его отстаиваете. Но вот поди ж ты, — Джурабаев развел руками, и в глазах его засветилось лукавство, — вы еще не успели приступить к осуществлению своих планов, а на вас уже жалуются.

— Кто жалуется? — вырвалось у Айкиз, но она тут же, кляня себя за несдержанность, прикусила язык. И почему-то оглянулась на Кадырова.

— Да вот соседи ваши. — Джурабаев показал рукой на представителей колхозов «Октябрь», «Победа» и «Первое мая». — Они заявили сюда с утра пораньше, чтоб выразить свое недовольство.

Все взгляды устремились на «жалобщиков». Айкиз, Алимджан и Смирнов смотрели на них чуть настороженно и недоуменно, Кадыров — с некоторым высокомерием и скрытым злорадством (не я, мол, один не в восторге от планов Умурзаковой), а Умурзак-ата с тревогой и затаенным страхом. Джурабаев, взглянув на него, даже удивился: что это со стариком?

Айкиз тихо спросила:

— Чем же они недовольны?

— А вы спросите их, они сами вам доложат.

Теперь уже в каждой джурабаевской морщинке отражалось лукавство.

С места поднялся Усманов, председатель колхоза «Октябрь». Лицо у него было хмурое.

— Товарищ Джурабаев, лучше уж вы... Умурзаковато, может, и поймет все. Да боюсь, Кадыров меня и слушать не станет... Да... Вы ведь знаете его характер. Что ему другие? Он только о себе и печется. Да... Всегда поровит свою лепешку поближе к огню подвинуть.

Тут уж пришла очередь недоумевать Кадырову. Он тяжело, исподлобья поглядел на Усманова.

— Что ты несешь? Какую еще лепешку?

— Я в том смысле, что для тебя превыше всего — собственное благополучие, собственные интересы!

Кадыров уже наливался яростью, еще не понимая, куда клонит Усманов.

— Легче на поворотах, дорогой! Какие у тебя факты, чтоб предъявлять мне подобные обвинения?

— Какие тебе еще факты? Что ты на меня взелся? Всем в районе известно, что только о своем колхозе ты и думаешь, а до других тебе дела нет. Да.

Кадыров внезапно успокоился.

— Вот ты о чем. Ну, это верно, думаю я о своем колхозе, забочусь. Вот и ты заботься о своем на здоровье.

Усманов, тоже поостыв, буркнул:

— С тем и приехал.

— Товарищи, без излишних эмоций! — прекращая их перепалку, сказал Джурабаев. — Дорогие друзья-алтысайцы, я попробую изложить главные претензии ваших соседей. Они жалуются, что вы хотите забрать себе всю воду, которую найдете. Это раз. Что водохранилище собираетесь строить только для своего колхоза. Это два. И также своими силами намерены соорудить канал и пло-

типу, дабы потом никто не имел права посягнуть на вашу воду. Это три. Вот и получается, что все вы печетесь только об интересах колхоза «Кызыл юлдуз».

Айкиз и Алимджан весело переглянулись.

Подняв руку, как в школе, Айкиз спросила:

— Разрешите, я отвечу?

— Говорите, Айкиз, — поощрительно кивнул Джурабаев.

— Ну, так вот, соседи напрасно беспокоятся. Алтынсайцы как раз очень рассчитывают на их помощь. И, естественно, если они помогут, то вода будет распределяться поровну между всеми.

— Уж не сомневайтесь — поможем! — горячо заверил ее Усманов. — Для такого дела не пожалеем сил — все бросим на расчистку родников, на стройку. Да... Говорят, если двое за валун возьмутся, так сдвинут его, а если трое, то перенесут на другое место.

Айкиз между тем достала из сумочки, лежавшей у нее на коленях, блокнот и, заглянув в него, подождав, пока Усманов закончит говорить, медленно произнесла:

— Мы были уверены, что соседи подключатся. И в связи с этим внесли некоторые изменения в первоначальные планы и расчеты. В этом нам очень помог Иван Никитич, мы глубоко ему признательны. Он принял самое активное участие в разработке проекта. Но пусть лучше он сам скажет о своих соображениях и выводах.

Джурабаев взглянул на Смирнова:

— Вам слово, Иван-ака.

«Иван-ака» — так любовно называли Смирнова все колхозники. Во всем районе, включая самые отдаленные кишлаки, не нашлось бы, пожалуй, никого, кто не знал бы и не уважал Ивана Никитича. Высокий, сухощавый, со светлыми волосами, синими глазами и крупной, величиной с горошину, родинкой на подбородке, он при первом знакомстве казался воплощением спокойствия и доброты. Но стоило ему начать говорить, как это впечатление пропадало. Он не говорил, а словно спорил с кем-то, ершисто, задиристо, и глаза у него из добродушно-синих становились серо-стальными, а родинка будто бледнела...

Как и Джурабаеву, Ивану Никитичу было уже под пятьдесят, но и он выглядел молодо, сохранил удивительную подвижность, не чувствовал своего возраста и любил шутливо повторять: «Стареть нам некогда, дел еще

сверх головы, а пятьдесят лет — для мужчины пора расцвета!»

Как всегда, одет он был сейчас в косоворотку с закатанными по локоть рукавами, с расстегнутыми верхними пуговицами, на ногах — сапоги с узкими аккуратными голенищами. Не расставался он и с армейскими брюками, застиранными до белесого цвета, — в них было удобно и ездить верхом и ходить по полям и горным тропам.

Раскрыв старую полевую сумку, сохранившуюся еще с фронтовой поры, Смирнов вынул из нее очки, протер их платком, надел, потом из той же сумки извлек большой блокнот и чуть надтреснутым, словно простуженным голосом, какой обычно бывает у людей, часто и много разговаривающих на открытом воздухе, начал, вскинув голову:

— Хвала алтынсайцам, почин их поистине неопеним! Против этого, думаю, никто не станет возражать. — Он немного помолчал, оглядывая всех так, словно как раз и ожидал возражений. — Для начала мы осуществим идею алтынсайцев в масштабах лишь одного, нашего района. Но я уверен, у нее найдется масса последователей. Да, да, она, несомненно, увлечет всех передовых людей республики!.. Вот увидите, стоит нам добиться успеха, как многие колхозы горных долин тотчас же, по нашему примеру, бросятся искать воду. Думаете, преувеличиваю? Ничуть! И смело заявляю: на этом пути их ждет удача!

Еще раз окинув собравшихся пытливым взглядом: как-то встретили они это его заявление, Смирнов полистал блокнот, произнес уже спокойней:

— Да, алтынсайцы, прямо скажу, молодцы. Но и они учли еще не все свои возможности! Они ведь полагаются в основном на водные ресурсы двух горных речек, Янгакская и Узумская, ну и родников, которые находятся в их долинах и пока запущены, забиты горными породами, затянута илом. Но запасы воды в них солидные. Это уж подсчитано, ведь так? Я вчера в долине Янгакская набрел еще на один родник, безымянный, как десятки других. Никто на него до этого и внимания-то не обращал, вода его бежала еле заметной струйкой. А когда я копнул его саперной лопаткой, которую иногда беру с собой, так из его недр вырвалась струя настолько сильная, что уже сама себе начала расчищать путь, раскидывая ил и камни. Поверите ли, у меня сердце забилося, как у юноши. Давно я не испытывал такой радости. Эта струя, чудилось, вместе со щебнем

отбрасывала в сторону и в се сомнения, какие у нас могли еще быть. Ведь кое-кто сомневается в реальности наших планов, разве не так? Так вот, я готов повторять и повторять: и родники и обе речки богаты водой! Но это еще не все. Основная масса влаги сосредоточивается в реках весной — в пору ливней и интенсивного таяния снега. И это, так сказать, вода «преходящая»: сегодня ее в избытке, завтра — ни капли. Но в наших силах, друзья, задержать ее, собрав в одно место. Мы предполагали строить водохранилище, чтобы копить в нем, как в огромной чаше, воду Янгаксая и Узумсая. А нам еще можно рассчитывать и на паводки и на весенние дожди. Сколько, вы думаете, мы сумеем в этом случае оросить земли? Не менее пяти тысяч гектаров! Заманчиво, не правда ли?

— А миллион гектаров оросить — еще заманчивей! — с насмешкой бросил Кадыров. — Я-то полагал, Иван-ака, что вы трезвый реалист, а вы в фантазию ударились...

— Нет, это не фантазия! Я как раз исхожу из трезвого взгляда на положение вещей. И лишний раз убедился в реальности наших планов вот сегодня, когда товарищи из других колхозов с такой охотой предложили алтынсайцам свою помощь. Им тоже нужна вода, и они верят, что мы в силах ее добыть, если возьмемся за дело всем, так сказать, миром. Работа по объединению всех наших водных ресурсов одному колхозу, возможно, и не по плечу. Но коль скоро у алтынсайцев объявились добровольные помощники, то теперь ясно: мы добудем воду!

— Иван Никитич, — спросил Джурабаев, — а что вы думаете о Кокбулаке?

— Я пока не включал его в свои расчеты. Правда, все говорят, что это был мощный родник. Но удастся ли его открыть? Он ведь взорван и основательно завален горными породами.

— Партийное бюро, — сказал Алимджан, — поручило мне возглавить бригаду, которая будет работать на Кокбулаке.

— Ну, значит, за Кокбулак мы можем быть спокойны, — с улыбкой промолвил Джурабаев. — Алимджан у нас закаленный фронтовик и уж добьется своего — разыщет и раскопает этот клад. — Он повернулся к Смирнову. — Иван Никитич, как я понимаю, вы водами Алтынсайа хотите оросить весь предгорный массив. Но каким образом вы

заставите Алтынсай изменить направление, «податься» к целинным землям? Ведь он течет по очень глубокому ущелью.

— Верно, ущелье глубокое, но пусть это никого не пугает — оно ведь в то же время узкое, с устойчивыми гранитными берегами. Тут удобно поставит плотину. А это поможет нам «поднять» воду Алтынсая на должную, так сказать, высоту. Вот посмотрите...

На этот раз Смирнов достал из полевой сумки чертеж и принялся его разворачивать. Чертеж был исполнен на довольно обширном листе толстой ватманской бумаги, но поскольку этот лист инженер предварительно аккуратно разрезал по сгибам, а потом подклеил узкими полосками белой бязи, то бумага легко складывалась и умещалась в сумке. Разложив на столе перед Джурабаевым ватман, весь испещренный цифрами, синими линиями, красными кружками, Смирнов ткнул пальцем в место, отмеченное красным крестом:

— Видите, тут сходятся в узел голубые жилы — это Янгаксай и Узумсай. Ущелье, в которое они вливаются, мы перегордим плотиной — вот здесь, где крестик. Сооружение плотины позволит нам собрать воду двух горных речек, пополненных расщепленными родниками, в естественном резервуаре, то есть в Алтынсайском ущелье, которое мы превратим в большое водохранилище.

Смирнов показал на голубой кружок. Увлечшись, он не замечал, что уже все столпились вокруг стола и напряженно следят за каждым его движением.

— Отсюда, от плотины, — он провел по чертежу пальцем, — под прямым углом к реке возьмет начало канал, который мы поведем вниз, к землям Алтынсайского массива. — Тут Смирнов сделал паузу и почему-то сердито оглядел присутствующих. — На создание этого крупного оросительного комплекса уйдут год-полтора. А вы ведь хотите собрать первый хлопок уже в этом году, не так ли?

Можно было подумать, что сейчас инженер начнет доказывать нереальность этих намерений. А он сказал:

— Что ж, это вполне возможно. Вот, глядите. От Янгаксай тянется к киплаку и предгорным землям старый арык. Если мы его реконструируем — углубим, расширим, удлиним, то сможем использовать воду Янгаксай, объем которой увеличится в связи с расчисткой родников в Янгаксайской долине, уже нынешними весной и летом.

Этой воды вполне хватит для того, чтобы оросить несколько хлопковых участков. Устраивает вас это?

Послышался одобрительный шум. Джурабаев пристально посмотрел на Смирнова:

— Вы, Иван Никитич, говорите так, как будто абсолютно уверены в исходе битвы за воду. И уже видите чертеж, воплощенным в жизнь даже в деталях.— Замечте, как воинственно нахмурился инженер, он поднял вверх руки.— Нет, нет, это я не в хулу вам, а в хвалу! Мне как раз по душе ваш оптимизм. Но представляете, какие нас ждут трудности? Одна плотина чего стоит. Достанет ли у нас сил и средств для сооружения такой махины? А тут еще и другие работы. Справимся ли мы и с тем, и с другим, и с третьим?

Щурясь, Джурабаев обратился к собравшимся:

— Как вы считаете, друзья?

Ему никто не ответил, но у всех на лицах написано было: справимся! Лишь Кадыров улыбался скептически; впрочем, он тут же погасил усмешку и принял отсутствующий вид: мол, меня все это не касается, и уж во всяком случае я не намерен отвечать за чужие грехи.

Пронзительно-синие глаза Смирнова потемнели, он твердо проговорил:

— Не беспокойтесь, мы обо всем подумали. В тело плотины мы, например, заложим серый и красный гранит, эти горные породы у нас под рукой. И взрывников нам дадут, я уже договорился. Ну, а все остальное будет зависеть от непосредственных строителей — от колхозников. Не скрою, им придется приложить немало труда, чтобы и родники расчистить, и реконструировать Янгаксайский арык, и построить плотину, канал, водохранилище...

Представители колхозов-соседей зашумели, перебивая друг друга:

— Чего-чего, а камни-то мы таскать сможем!

— Работой наших богатырей не испугаешь!

К ним присоединила свой голос и Айкиз:

— К труду нашим колхозникам не привыкать!.. Не забывайте еще, что за годы войны у них прибавилось и опыта и сил, вернее — сознания своей силы.

Джурабаев снова обратился к Смирнову:

— Значит, по вашим подсчетам, мы получим по Алтынсайскому сельсовету около пяти тысяч гектаров оро-

шенных земель? Что ж, овчинка, как говорится, стоит выделки. Это дело государственной важности. Иван Никитич, как по-вашему, в чем у нас будут главные трудности?

— Вся загвоздка в грунте. Это и впрямь твердый орешек: скалы, камень, гранит. Одними кетменями да лопатами тут не обойтись, строителям придется орудовать и кирками и ломami. Естественно, от всех потребуется предельное напряжение сил.

— Ничего! — сказал Усманов. — Вода, которая придет на наши поля, все окупит.

— Почти все работы, по-видимому, будут выполняться вручную? Так, Айкиз? — спросил Джурабаев.

Айкиз почему-то смутилась, словно чувствуя себя в чем-то виноватой.

— Да, вручную. А что делать, товарищ Джурабаев? Морщинки вокруг глаз Джурабаева сплелись в густую сетку — он задумался...

Смирнов, считая разговор законченным, сложил чертеж, спрятал его вместе с блокнотом в свою полевую сумку.

Все молчали.

И тогда Джурабаев всем корпусом повернулся к Умурзаку-ата, который сидел, опустив голову, разглядывая свои сухие, в узловатых жилах, руки.

— Отец, хотелось бы, чтоб и вы высказались. Для нас много значит ваше мудрое слово.

Умурзак-ата встал с места, направился было к столу, но остановился на полдороге и, прижав обе ладони к груди, проговорил:

— Сынок, я вижу, вы все твердо решили добыть воду. Понаблюдал я и за колхозниками нашими, они так и рвутся в бой... Что ж, дело благое. Уж и не помню, когда бы наш народ не мечтал о воде. Вода для нас — это жизнь. — Он замаялся. — Только вот что я хочу сказать...

— У вас есть какое-то пожелание, отец?

— Нет, сынок...

— Может, посоветовать что хотите?

— Да нет... — Старик оглянулся в растерянности, словно ища поддержки, но все смотрели на него выжидающе, не понимая, что его смущает. — Сомнение одно у меня...

— Вот как? Так поделитесь с нами, отец. Может, у вас и есть основания в чем-то усомниться. В таком деле,

за которое мы беремся, нужна полная ясность, все должно быть подробно обговорено.

— Сынок... — Взгляд старика был устремлен уже на одного Джурабаева. — Проект-то ведь составляла моя дочка, Айкиз... А она совсем еще молодая. Я вот и сомневаюсь: не допустила ли она какой оплошки?

Джурабаев заулыбался добродушно и дружелюбно.

— Ай-яй, ата, что же это вы сомневаетесь в собственной дочери?

— Боюсь я за нее. Молодость-то под ноги себе не смотрит, а ну оступится?

— Да, отец, молодость смотрит вперед, и это отлично! Вам надо не бояться за свою дочь, а гордиться ею. Ну, а оступиться мы ей не дадим. Ведь все ее расчеты проверял Иван-ака. Проект составлен под его руководством. Уж в его-то знаниях и опыте вы, надеюсь, не сомневаетесь?

— Что ты, сынок, как можно!.. Ивану-ака я доверяю больше, чем самому себе, он человек ученый, да и повидал на своем веку многое. — Умурзак-ата заметно повеселел. — Спасибо, сынок, снял ты камень у меня с души. С Иваном-ака мы в огонь и в воду...

— За водой, — шутливо поправил Джурабаев.

— Ну да...

Старик шагнул к своему месту, но тут же обернулся, с жаром добавил:

— А на колхозников наших, сынок, спокойно можешь положиться. Народ у нас дружный, работающий, в грязь лицом не ударит. Надо будет вручную потрудиться — эка важность, подвальяжем, руки-то у нас не отсохнут, мы ведь с детских лет с кетменем дружбу водим. И с киркой тоже совладаем. Вспомни-ка, сынок, как строил наш народ Большой Ферганский канал?.. Все руками, руками... А вон, гляди ж, прямо-таки реку через степь протянули!

Джурабаев кивнул:

— Помню, помню, отец. Был я там. Труд народа совершил чудо!

— А мы — не народ? Ей-ей, наши алтынсайцы тоже чудо сотворят, вы уж не сомневайтесь.

— Я рад, отец, что ваши сомнения рассеялись. И хочу попросить у вас совета...

— Э, какой из меня советчик, — отмахнулся Умурзак-ата. — Я человек старый, неграмотный. Ты за советами-то обращайся к нашим инженерам, вот к Ивану-ака.

— А мы прислушиваемся к мнению и инженеров и ученых. Только ведь не грех посоветоваться и с такими бывальыми людьми, как вы, отец. Вы прошли большую жизненную школу, и все, чему вы научились, может теперь и другим пойти впрок. Вот, к примеру, как вы думаете поднимать навверх вырытый грунт?

— А на собственных спинах, сынок. И на посылках. Нагрузимся — и вверх по тропкам. А потом вниз. И опять вверх. Не впервой нам навьюченными-то шагать по горным тропинкам.

— Так-то оно так...

— Ведь землю из Ферганского канала люди тоже всю на себе перетаскали.

— Не то сейчас время, отец. Нет, надо как-то облегчить труд колхозников. И вместе с тем ускорить темпы расчистки родников и строительства плотины. Работая только вручную, бог весть сколько мы провозимся и с плотной и со всем остальным. А перед нами какая стоит задача? Чтобы первая вода пришла на поля не позднее чем через полтора месяца. Только в этом случае колхозники успеют уже в нынешнем году посеять хлопчатник хотя бы на некоторых, пусть небольших участках. Ведь такая у нас цель, верно? А значит, занимаясь созданием Алтынсайской оросительной системы и прежде всего готовя котлован для плотины, мы в то же время должны приналечь и как можно скорее закончить расчистку родников и реконструкцию Янгаксайского арыка. Руками все это за короткий срок не выроешь, да мы и не вправе допускать, чтобы колхозники выдыхались на этой работе. Труд должен радовать, а не изнурять человека!

— Товарищ Джурабаев, — вмешался Алимджан. — А что, если использовать на переноске грунта наших ипачков? Они ведь незаменимы в горных условиях, пройдут по самой крутой, самой узкой тропинке. Взвалишь на ишака мешки с породой — он и потопает в гору...

— Уже лучше...

В разговор вступил и Смирнов:

— Товарищ Джурабаев, в нашем проекте учтен опыт народных строек, в том числе Большого Ферганского канала. Там, конечно, преобладал ручной труд...

— Опирайтесь на опыт прошлого нужно. Но лишь для того, чтоб двигаться вперед. Новое время — новый подход к труду, новые темпы. Как вы говорили, строительство

водохранилища, плотины и канала рассчитано года на полтора? А все остальное?

— Дней на сорок, если не больше.

— Больше? Нет, так не пойдет. Меньше — вот это другое дело. И плотину-то нам хорошо бы иметь уже через год, до весенних ливней и селей. Как вы полагаете, мы можем добиться такого вот сокращения сроков?

— Можем, но для этого часть работ необходимо механизировать.

— Вот! — Джурабаев удовлетворенно откинулся на спинку стула. — К этому я и вел. Да, без механизмов нам никак не обойтись. Мы просто не имеем права вести строительство теми же темпами и способами, как десять лет назад. И без механизации всех работ мы не уложимся в нужные нам сроки.

— Раздобыть бы хоть один экскаватор! — вздохнул Алимджан.

Джурабаев рассмеялся:

— Ну, ну!.. То вы готовы были перетаскать на собственных спинах да на ишаках весь грунт, а теперь уже подавай вам экскаватор! Товарищ Усманов!.. Вы, по-моему, согласны и гору на себя взвалить, лишь бы была вода?..

— А что? Надо, так взвалю. Да.

— Нет, товарищи, героически трудиться не значит надрываться. Надо разумно использовать свои силы и возможности. Мы знаем, что колхозники будут работать не покладая рук, не жалея себя. Честь им и слава!.. Но и мы, со своей стороны, обязаны оказать им необходимую помощь. Я уже привлек к этому районные организации — всю технику, какая имеется в районе, они на сорок дней передадут в ваше распоряжение. Будут у вас автомашины, бульдозеры, четыре транспортера. С экскаватором, правда, придется немного обождать, но и его вам пришлют дней через десять. Как, устраивает вас это?

Все зашевелились оживленно, Смирнов удовлетворенно кивнул:

— Вполне, товарищ Джурабаев! Экскаватор присплет как раз ко времени: он понадобится нам, когда мы начнем рыть котлован для плотины. В первую же очередь придется расчищать родники — тут мы будем работать вручную, а грунт наверх потащат транспортеры.

— Значит, уложите в сорок дней?

— С техникой, возможно, и в месяц.

Алимджан попросил:

— Дали бы нам один транспортер на Кокбулак.

— Дадим, — пообещал Джурабаев. — И самый мощный. Ну что ж, друзья, я вижу, вы достаточно подготовлены к тому, чтобы уже в ближайшее время приступить к работе. Медлить не будем. Сегодня же вечером мы обсудим вопрос об орошении Алтынсайского массива на бюро райкома. Уверен в положительной резолюции. Мы обяжем все районные организации помогать вам чем можно. Вам же надо позаботиться о правильной организации труда, о рациональной очередности работ — в этом ключ к успеху. Сейчас разумней всего бросить главные силы на расчистку родников и реконструкцию арыка.

— Я уже говорила с Керимом, секретарем комсомольской организации нашего колхоза, — вставила Айкиз. — Комсомольцы берут арык на себя.

— Отлично. А как только прибудет экскаватор, приметесь за котлован. Далее... Вы наметили, Айкиз, какие земли будут орошены в первую очередь?

— Да. Два участка в колхозе «Кызыл юлдуз». Они ближе всего к арыку.

— Так, хорошо.

Джурабаев потянулся за пачкой папирос, — он никогда не курил во время совещаний, заседаний, и если, наконец, закуривал, то это означало, что разговор подходит к концу.

— Вы знаете, товарищи, нехватка воды не позволяла колхозам нашего района выращивать хлопок, и мы поневоле довольствовались зерном, оставаясь в стороне от главного дела, которым занимается республика. Горные же кишлаки обходились лишь животноводством. Все это тормозило развитие колхозного хозяйства. Вода, которую вы добудете, всем принесет счастье. Жители горных кишлаков тоже станут хлопкоробами и смогут переселиться в долины, поближе к поливным землям. Пусть сознание этого вдохновляет вас! Алтынсайцы первыми вступили в борьбу за воду для предгорных массивов. Уверен, у них найдется много последователей. Желаю вам удачи, товарищи! И помните, нельзя запаздывать с севом хлопка, от того, когда и в какие сроки мы его поседем, зависит будущий урожай. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь... За работу, друзья!

Кадыров скривил губы и тяжело вздохнул...

Смирнов был назначен начальником строительства плотины и водохранилища, Айкиз его заместителем.

Накануне знаменательного, волнующего события — массового выхода колхозников на расчистку родников и реконструкцию Янгаксайского арыка — Айкиз допоздна засиделась в сельсовете. Надо было подписать уйму бумаг, переданных ей секретарем сельсовета, еще раз посмотреть расчеты и чертежи, относящиеся к освоению Алтынсайского массива. А главное — хотелось просто посидеть одной, в тишине, над многим подумать.

Мысли ее, конечно, были заняты предстоящим строительством, и когда она в воображении рисовала всю панораму стройки, то от грандиозности, значительности этой картины у нее захватывало дух, как когда-то в детстве, когда она с вершины Коктау смотрела вниз, на родной Алтынсай, и сердце замирало от восторга и боязни, а за спиной, казалось, вырастали крылья. В эти минуты она чувствовала в себе столько сил, что могла бы прорубить скалы, как Фархад, или поднять на руках всю землю. Во всяком случае, ей хотелось сделать что-то необыкновенное. Порой, правда, на смену этим просторным, как небо, желаниям приходили более обычные, земные, и ее тянуло побежать к Алимджану, поделиться с ним своими мыслями и чувствами, а потом обхватить руками его шею и шепнуть: «Я люблю тебя, дорогой! Люблю!..»

Иногда же ее одолевали сомнения: да такая ли уж она сильная и верны ли их расчеты? А вдруг они переоценили свои возможности, и Кадыров прав: вода — за семью замками, и из их затей ничего не получится?

Однажды она не выдержала и чуть ли не среди ночи поспешила к Алимджану. Айкиз и сама не знала, что она ему скажет, ей просто вдруг захотелось побыть рядом с ним и казалось: вот увидит она Алимджана, услышит его голос — и тревог и сомнений как не бывало...

Она постучала в темное окно. Алимджан, видно, спал, он вышел в наспех натянутой гимнастерке, забыв или не успев застегнуть воротник, и при виде Айкиз удивился и сам встревожился: «Айкиз? Так поздно? Что-нибудь случилось?» Айкиз молчала. Алимджан повторил свой вопрос: «Что стряслось, Айкиз?!» Тогда она, прислушиваясь к чему-то, сказала задумчиво, со скрытым значением:

«Слышите, как поют соловьи у вас во дворе? Послушаем соловьев, Алимджан-ака, они поют для нас...» Она подняла голову, глаза ее горели в ночи яркими, таинственными звездами... Алимджан как-то неуклюже засуетился, пробормотал смущенно: «Хотите, присядем вот тут, за домом? А может, пройдем в комнату? Вы ведь никогда не были у меня, Айкиз. Ну, прошу... Там и поговорим». Он и верил и не верил, что Айкиз согласится войти в его дом...

Девушка отрицательно покачала головой: «Нет, Алимджан-ака, час уже поздний. Я ведь к вам так, на минуточку...» — «Но вы ведь, наверно, хотели о чем-то посоветоваться?» — «Нет, я просто так... Не сердитесь. И спасибо вам...» — «За что же сердиться? И за что же спасибо, Айкиз?» — «Ну... за то, что мне всегда есть к кому заглянуть... в трудную минуту». — «А вам сейчас трудно? Да, да, я знаю, забот у вас хватает. Я могу чем-нибудь помочь?» — «Уже помогли... До свидания, я пошла».

Когда они прощались, Алимджан задержал ладонь девушки в своей руке, а она опять покачала головой: «Не надо... И не провожайте меня. На душе у меня теперь легче, надо побыть одной, подумать... Вон звезд сколько, и ночь такая светлая... Под звездами хорошо идти и хорошо думать...»

Алимджан понимал Айкиз, понимал, как нелегко ей сейчас приходится. Большая ответственность легла на ее плечи... А скоро массовый выход... Начало работы, начало борьбы за воду...

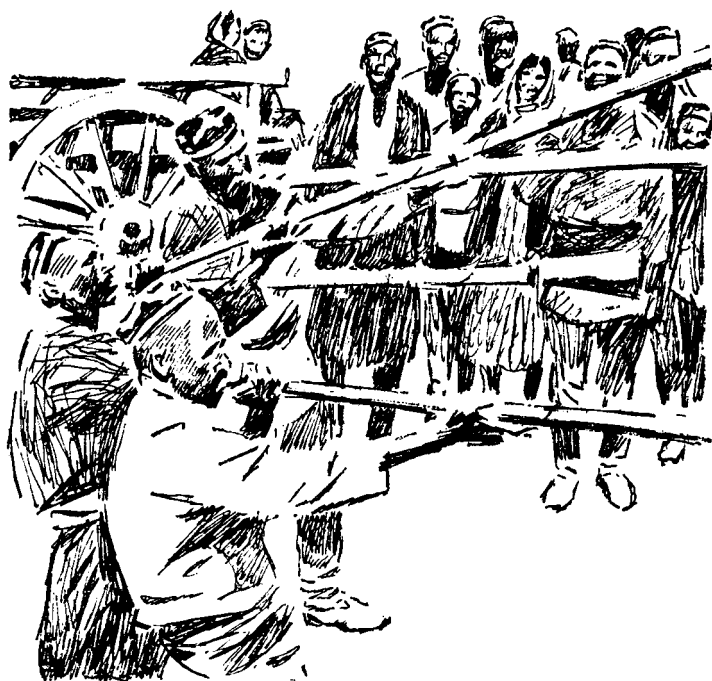
...Теперь до этого «начала» оставалась одна ночь, и Айкиз, задержавшаяся в сельсовете, мысленно проверяла себя: все ли сделано так, как надо.

Вроде они как следует подготовились к завтрашнему дню. Организованы бригады, назначены бригадиры, которые должны были тщательно изучить свои участки. Три транспортера уже находились на своих местах.

Нет, кажется, ничего не упущено.

На заре колхозники соберутся на площади перед правлением «Кызыл юлдуз» и бригадами отправятся в горы.

Айкиз думала об этом пути, как о пути в будущее, и ее чуть даже зазнобило при мысли об огромности задач, которые предстояло решить, о риске, на который они отважились: как ни вымеряй, ни рассчитывай будущее, все же оно остается неведомым и таит в себе всяческие сюрпризы...



Когда уже в полночь Айкиз вышла из сельсовета, с площади доносился шум, голоса людей, рев верблюдов, звон железа... Видно, начали съезжаться дехкане из дальних кишлаков...

Айкиз хотелось пройти на площадь, посмотреть, кто приехал, что вообще там делается. Но она подавила в себе это желание: надо было спешить домой и хорошенько выспаться перед завтрашним, решающим и ответственным днем.

Тихонько, чтобы не разбудить отца, прошмыгнула Айкиз во двор, осторожно закрыла за собой калитку, неслышно скользнула в свою комнату...

И едва успела положить голову на подушку, как тотчас же и уснула.

Она поднялась, когда над Коктау уже начало розоветь небо. Умурзак-ата стоял во дворе возле клокотавшего самовара.

— Доброе утро, отец! — весело приветствовала его Айкиз.



— Доброе утро, доченька.— Старик смотрел на нее ласково и сочувственно.— Не выспалась, поди? Вон в какую рань встала. А легла, видать, поздно... Да, не ведут между собой дружбу забота и сон. Ладно, умывайся, и будем завтракать. Самовар уже вскипел. Байчибара твоего я напоил и накормил ячменем. Поторопись, дочка, народто на площади давно шумит.

Позавтракав на скорую руку, Айкиз выехала из ворот на своем верном Байчибаре.

На крыше правления колхоза «Кызыл юлдуз», как в дни больших праздников, трепетал на свежем утреннем ветерке алый флаг с золотыми серпом и молотом.

А площадь перед правлением походила на взбаламученное море: огромная толпа людей колыхалась, шевелилась, все пространство было забито машинами, арбами, в глазах рябило от множества букетов, составленных из красных и желтых тюльпанов, от кумача лозунгов и знамен, от пестрых, нарядных платьев и халатов.

Заглушая людской гомон, загрохотали бубны, запели сурнай. Дехкане потеснились, образовав несколько широких кругов, в них поочередно входили лихие танцоры из «Кызыл юлдуз» и соседних колхозов; подбадриваемые музыкой, поощряемые дружными, ритмичными хлопками зрителей, они состязались друг с другом в ловкости, в красоте танца и двигались то плавно, медленно, то четко, быстро.

Айкиз привязала Байчибара к стволу тополя у обочины дороги, торопливо прошла к зданию колхозного правления. Ей очень хотелось задержаться, полюбоваться тапцами, но нельзя было терять дорогое время. Только она поднялась на крыльцо, как столкнулась с Алимджаном, вышедшим из дверей. Он был весел, возбужден и, увидев Айкиз, шумно обрадовался:

— Салам, Айкиз!.. Видали, что творится? А солнце-то еще и не взошло. Ох, здорово все получается... Поверите ли, даже в Кадырове совесть вроде проснулась — расщедрился и выделил в мою бригаду еще трех человек. В колхозе, говорит, как-нибудь и без них управимся.

От него так и веяло бодростью, энергией.

Айкиз, с теплотой глядя на Алимджана, спросила:

— Значит, Кокбулак вы раскопаете?

— Да по одному вашему слову я сам перерыл бы весь Коктау!

— Очень прошу: сделайте все, что можно, Алимджан...

Они шутили, но последние слова Айкиз произнесла тихо, как-то значительно.

Они вошли в правление. Айкиз направилась в помещение сельсовета, а Алимджан в свой кабинет.

Секретарь сельсовета, молодой, но уже полнеющий, сидел за столом, закатав по локоть рукава желтого чесучового кителя, и просматривал списки, которые подавали ему бригадиры, регистрируя количество прибывших от каждого колхоза.

— Все уже собрались? — спросила Айкиз.

— Зарегистрирована одна тысяча сто семьдесят человек! — отрапортовал секретарь. — По колхозу «Первое мая» я еще не закончил подсчеты.

Со стула, притулившегося у стены, грузно поднялся широкоплечий богатырь в стеганом черном халате и киргизском белом войлочном, с черной оторочкой тельпаке, — это был сам председатель колхоза «Первое мая» Норматов. Он прогудел густым простуженным басом:

— Пиши, секретарь: первомайцев прибыло триста семьдесят шесть человек. Колхоз выделил на стройку лучших работников! Отборные кадры! Можешь так и написать, парень.

Удовлетворенно кивнув, Айкиз прошла в кабинет Алимджана.

Там тоже теснились люди. Алимджан, склонившись над столом, подписывал социалистический договор: его бригада вызвала на соревнование строителей из колхоза «Октябрь», возглавляемых самим председателем, Усмановым.

Присутствующий тут же Смирнов, поздоровавшись с Айкиз, проговорил:

— Четвертый транспортер, который мы решили направить на Кокбулак, прибует сегодня же. Нам обещают и экскаватор доставить раньше срока.

Айкиз шутливо обратилась к Алимджану:

— А нынче, значит, вашей бригаде, Алимджан-ака, придется таскать камни на спинах? Не надорветесь?

— Я же сказал, что готов перетаскать хоть весь Коктау! — Алимджан тоже улыбнулся. — Да не дадут, пожалуй. Вон транспортер грозятся прислать.

— Ох уж эта техника! Лишает вас возможности проявить свою силу.

— А вы поверьте мне на слово, Айкиз.

— Верю, Алимджан-ака!

В словах, в тоне друг друга оба улавливали то, что не слышали остальные...

Вскоре все вышли на площадь.

Солнце уже стояло над вершиной Коктау, окатывая золотом весело и грозно рокотавшее, переливающееся самыми разнообразными красками людское море.

Пора было трогаться в путь.

Бригадиры построили своих людей в колонны.

Грянули медные карнаи.

Громовые раскаты музыки поплыли к горам. В мощную трубную мелодию вплели свои нежные голоса сурнай, бубны вторили им своим стуком и звоном.

Шелковые знамена рдяно пылали под солнцем.

Айкиз, Алимджан и Смирнов, сев на коней, выехали перед головной колонной.

Полуторатысячная армия колхозников с музыкой, песнями, ликующими возгласами двинулась вперед — на штурм Коктау.

Погода становилась все более жаркой. Правда, склоны гор, политые редкими дождями, были пестрые от множества цветов: желтой и розовой ромашки, синих колокольчиков, алых полевых маков. И степь до самого горизонта, где она сливалась с жаркими Кызылкумами, тоже не утеряла еще буйной окраски: по утрам она зеленела свежо, изумрудно, в полдень затягивалась знойным серебристым маревом, а перед заходом солнца, в последний раз просияв мягким малахитом густой травы, начинала темнеть, опоясываясь по линии горизонта все более широким фиолетовым кушаком...

И, однако, уже чувствовалось приближение лета.

В горах близ Янгаксяя, у крутой скалы, склон которой был завален взорванной породой, работала бригада Алимджана. Ни на минуту не смолкал грохот ломов, кирок, лопат, кетменей. Голые спины дехкан лоснились от пота...

Длинная лента мощного транспортера с сердитым скрежетом тащила битый камень, мелкий и крупный: среди щебня попадались порой булыжники величиной с добрый арбуз.

Люди, стоявшие по обеим сторонам транспортера, все подбрасывали новые порции камня на движущуюся ленту; казалось, конца не будет этому каменному ручью.

Все упрямей, все глубже вгрызалась бригада Алимджана в каменный грунт в надежде выжать из него хоть слезинку влаги, а скала, из которой когда-то бил родник, все хранила свою тайну.

На помощь призвали подрывников, и в ущелье трижды прогрехотали взрывы, но и после этого не открылось ни одного влажного камня, ни горстки сырого песка.

Правда, в результате третьего взрыва под скалистой породой обнаружился наконец галечник. Люди оживились, принялись за дело с не меньшим энтузиазмом, чем в первые дни работы на Кокбулаке. Галька, однако, была сухая, она горячо блестела на солнце.

Ветер, до сих пор немного освежавший загорелые, потные лица, стих, жара стала ощутимей, дехкане все чаще вытирали бейбогами мокрые шеи и лбы.

Все были уверены: Кокбулак похоронен басмачами где-то здесь. Алимджан дотошно расспрашивал о место-

положении Кокбулака всех, на чьей памяти действовал еще этот родник, водил к заваленной скале старых чабанов, которые знали горы лучше, чем свой родной двор, сопоставлял их рассказы с собственными наблюдениями, накопившимися за долгие дни, — по всему выходило, что район предполагаемого «захоронения» Кокбулака можно было сузить. И вот-вот должна была показаться первая родниковая влага... А она все не показывалась.

Алимджану порой вспоминался фронт, когда не раз и не два приходилось водить солдат в атаку на, казалось бы, неприступные вражеские позиции. И добывать победу ценой невероятных усилий, ценой крови. Здесь, в горах, кровь, к счастью, не лилась, но от бригады Алимджана требовались, как от солдат на войне, и мужество и упорство. И вместе со своей бригадой он упрямо продолжал поиски пропавшего родника.

С каждым днем работа спорилась все быстрее. Дехкане научились ловко орудовать ломami, кирками, лопатами, приноровились так загружать ленту транспортера, что ни один камень с нее не сваливался на землю и не оставалось на ней ни одного пустого места. Алимджан разделил бригаду на звенья, с максимальной пользой для дела распределив рабочую силу.

А результат был все тот же, и казалось — люди даром тратят время.

Уже слабо веря в успех, Алимджан мрачно пожаловался Ивану Никитичу:

— Партийную работу я, может, и умею вести, а вот геолог из меня — никакой. Ни опыта, ни интуиции. Нет, я убежден: родник здесь, а что проку?

В ответ Смирнов рассказал ему случай с Насреддином:

— Как-то пришел к ходже один приятель и говорит: напиши мне письмо, я хочу послать его своему другу в Багдад. Насреддин только головой замотал: и не проси, говорит, недосуг мне сейчас идти в Багдад. Приятель удивился: да зачем тебе в Багдад-то идти, надо ведь всего лишь письмо написать. А ходжа объяснил: понимаешь, у меня почерк плохой, только я сам его и разбираю. Поэтому, если я напишу письмо, то сам и должен буду его прочесть, без меня твой друг ничего не поймет.

Алимджан рассмеялся:

— Здорово!.. А на что вы намекаете, Иван Никитич?

— Да ни на что. Просто хотел тебя немного развеселить.

— И на том спасибо. А то и правда все мы малость приуныли. Вон Бекбута и то голову повесил.

— Хорошо, руки пока не опустил! — живо откликнулся Бекбута. — Нет, Иван-ака, вы только подумайте: какой уж день мы атакуем Кокбулак и до сих пор не смогли взять эту высоту!

— Глубину, — усмехнувшись, поправил Алимджан.

— Я — по-фронтovому.

Бекбута отставил в сторону кетмень, снял с бритой головы темный от пота бейбог, защищавший от солнца, отыскав сухой уголок, вытер им лоб и шею. Лицо его, обычно дышавшее энергией, весельем, сейчас было злое и усталое. Но Бекбута не был бы Бекбутой, если бы совсем раскис. Оглядев молчаливо работающих дехкан, он неожиданно улыбнулся:

— А славная штука этот транспортер — верно, братцы? Мы от усталости с ног валимся, а ему хоть бы что, не требует ни отдыха, ни чаю, ни маставы, крутится и крутится. Нас вон тридцать человек на него работает, и то еле за ним поспеваем. С Суванкула, я гляжу, он уже десять потов согнал. Или двадцать, а, Суванкул?..

Суванкул даже не взглянул на Бекбута, будто не слышал его вопроса. Поддевая лопатой-грабаркой камни, он сыпал их на ползущую ленту транспортера.

А Бекбута все не унимался:

— Что ж ты молчишь, друг? Или тебе совсем уж не вмоготу? Молви хоть словечко!

Молодой колхозник, который руками таскал огромные камни, осторожно опуская их на широкую ленту, поддержал Бекбута:

— Ай, не отвлекай его, все равно ты от него слова не дождешься. Наш Суванкул еще с утра набрал в рот молока, чтобы его заквасить. Все польза!

Тут уж Суванкул не стерпел, пробасил сердито:

— Слышу грохот жернова, но не вижу муки.

Парень растерянно заморгал глазами, а Бекбута добродушно проговорил:

— Ты не сердчай на него, Суванкул. Язык у него острый, но трудодни он зарабатывает не языком, а руками. Однако, братец, без шутки тоже жить скучно. Тебе-то, конечно, не до шуток... Ишь, совсем из сил выбился.—

Он сочувственно покачал головой. — Так ты отдохни, если притомился. А я, как друг, тебя выручу, поработаю пока за двоих.

На этот раз Суванкул принял вызов; опершись о лопату, сказал с усмешкой:

— Гляди-ка, какой ты у нас богатырь! Послушать тебя, так ты один способен откопать Кокбулак!.. Только боюсь, горазд ты больше на болтовню, чем на дело. Все мы — богатыри, но вон какой уж день тут потеем, а воды все не видать...

Бекбута не нашелся, что возразить Суванкулу, нахмурился, вздохнув, взялся за кетмень.

Последние слова Суванкула задели Алимджана, он с горечью подумал: «Вот уж и народ заговорил о неудаче... И верно, на других-то участках родниковая влага так и брызжет из-под кетменей, а мы тут сколько камня переворочали, и все без толку. Но все равно мы добьемся своего! Вода здесь должна быть, уж это точно».

— Друзья! — сказал он громко и упрямо. — Отчаиваться — это последнее дело. Безвыходных положений нет! У мира, говорят, четыре стороны, и хоть одна из них всегда остается открытой. То, что мы пока не обнаружили воду, еще не значит, что ее тут нет. Все говорит за то, что мы на верном пути. И возможно, прошли большую его часть. Скала-то уже почти вся открыта! Так что рано вешать нос, рано складывать оружие! Вперед, друзья!

Он так размахисто и глубоко вонзил лом в расщелину между двух каменных глыб, что они с треском отвалились в стороны. И вся бригада с новыми силами принялась за работу. Слышалось тяжелое дыхание людей, звон стали, грохот камней.

Сам Алимджан старался что было мочи, ворочал камни, дробил их ломом и думал уже не удрученно, а зло: «Стыдно, секретарь! Стыдно!.. Другие бригады каждый вечер рапортуют о новых открытых родниках, а ты докладываешь лишь о кубометрах вынутого грунта. Позор!.. Как людям-то в глаза смотреть? Нет, и нам недалеко до победного рапорта, надо только приналечь как следует. И ты будешь нашим, проклятый Кокбулак!..»

Он усмехнулся: что же это он родник-то бранит, когда виноваты басмачи?

И ему уже стало казаться, что он не только ищет воду, а сражается с басмачами, заклятыми врагами дехкан.

Бригада в первые же дни работы порешила, что, пока не появится вода Кокбулака, никто не должен отлучаться домой. И скоро дехканам стали приходить весточки от родных, от близких. Михри, которая когда-то, словно тень, бродила за Айкиз вместе со своей подругой Лолой, сестрой Алимджана, а ныне исполняла в правлении колхоза должность секретаря, каждый день на ишачке привозила в горы, где трудились покорители Кокбулака, свежие газеты и письма.

Алимджан чаще всего получал письма от председателя «Кызыл юлдуз» Кадырова. Тот аккуратно перечислял все, что Алимджану и так было известно: сообщал о прибытии долгожданного экскаватора, о работе других бригад, в каждом письме задавал один и тот же вопрос, отдававший и насмешкой и упреком, — откопал ли наконец Алимджан клад, на розыски которого так неосмотрительно пустился? — и с неизменным постоянством жаловался: «Уж кому, братец, сейчас трудней всех приходится, так это мне. Лучшие работники — в горах, я команду старыми да малыми, а с ними каши не сварить...» Писал Алимджану и старый его приятель Иван Борисович Погодин, демобилизованный вместе с ним из армии, где был механиком-танкистом, а сейчас руководивший тракторной бригадой. Тон его посланий был более веселым: «Нам дали новые трактора, так что теперь — держись, целина! Мы очистим землю и от гребенщика, и от пальчатки, приведем ее в полный порядок — только сей хлопок! Дело за вами! Поскорей откапывайте Кокбулак».

Письма Погодина и радовали и огорчали Алимджана. Огорчали — потому что пока нечего было ответить Ивану Борисовичу. Не докладывать же и ему, сколько вынуто земли и щебенки? Цифры были внушительные, но не утешали... Что хвастаться объемом работы, когда нет результата?

Пряча в карман письма, которые жгли ему душу, Алимджан вздыхал и принимался еще яростней, неутомимей долбить ломом или киркой каменные глыбы, закрывавшие склон гранитной скалы. Дехкане, увлеченные примером бригадира, старались не отставать от него.

Однажды утром они услышали, как их окликнул кто-то со скалы, которая уже высоко поднималась над участком.

— Хорманг, друзья! Эге, да я вижу, дело у вас продвигается. За вами и Фархаду не угнаться! Каждый из вас — Фархад!

На скале стоял начальник строительства Смирнов, успевший сильно загореть за последние дни. Вид у него был бодрый, жизнерадостный.

Первым приветствовал его Бекбута:

— Бор булинг, Иван-ака! Вы верно заметили: изо дня в день мы продвигаемся вперед. И в то же время стоим на месте! Чудеса, а? Но у каждой песни есть свой конец. Вот увидите, докопаемся мы до Кокбулака, и вода таким фонтаном забьет, что дай бог не утонуть!..

Алимджан молча смотрел снизу вверх на инженера, судя по всему намеревавшегося спрыгнуть со скалы. Смирнов кинул камень, проследил за его полетом и, решившись, махнул следом за ним.

— Эгей, эй! — испуганно закричал Суванкул и бросился к скале, чтобы вовремя на лету подхватить инженера, не дать ему разбиться.

Но тот уже успел «приземлиться» и, посмеиваясь, похлопывал брезентовой фуражкой по бокам и коленям, стряхивая пыль.

Суванкул с укоризной покачал головой:

— Ай-яй, Иван-ака, так ведь недолго и беде случиться.

— А я, Суванкул, человек натренированный. И не с такой высоты доводилось прыгать.

В разговор вмешался Бекбута:

— Наш инженер, Суванкул, не тебе чета. Это ты не в силах ни вниз спрыгнуть, ни вверх подпрыгнуть: хоть и молод, да тяжел на подъем, ишь сколько мяса-то нагулял!.. А Иван-ака может скакать, как архар. всю жизнь не сидел он на месте. Вот уж тридцать лет занимается ирригацией, орошает земли. И фронт у него за плечами. Много он на своем веку повидал, многому научился, а теперь ты у него поучись.

Поплевав на ладони, Бекбута снова взялся за кетмень.

Алимджан повел Смирнова по участку. Здесь недавно был произведен взрыв, и все вокруг загромождали еще не убранные камни. Вдоль участка, который расчищала бригада Алимджана, тянулась серая монолитная скальная стена, изборожденная трещинами.

Инженер внимательно все осмотрел, нахмурился. Хоть

бы один влажный камешек! Щебень всюду был сухой и горячий...

Усевшись в тени под скалой на два валуна, друг против друга, Иван Никитич и Алимджан помолчали. Смирнов закурил; глядя вниз, под ноги, и все еще хмурясь, произнес:

— Сам-то я в действии Кокбулак не видел... Но я все здесь излазил, можно сказать — каждый камень знаю.— Он обвел рукой горы, окружавшие участок.— Видишь? Они словно сторожат зарытый здесь клад. Где-то глубоко под нами, в толщах земли, находится огромный резервуар воды! Он и питал Кокбулак, самый мощный водосток в ущелье. Кокбулак извергался из этой вот скалы. И мы обязательно его найдем, но когда?

— И неизвестно, сколько еще кубометров грунта придется вынуть...

— В конечном-то результате я уверен. Но как приблизить его? — Смирнов покусал губы.— Вы пока продолжайте пробиваться к Кокбулаку. Возможно, придется произвести еще один взрыв. Правда, это дело рискованное: то ли мы откроем выход воде Кокбулака, то ли совсем его завалим. Представляешь: вдруг он уже рядом, а мы обрушим на него груды камня... М-да, рискованно.

Смирнов как-то просительно посмотрел на Алимджана, тот сказал:

— Иван Никитич, а нельзя предположить, что когда басмачи взорвали Кокбулак, то произошли необратимые сдвиги породы, и выход воды не просто засыпан, а начисто ликвидирован?

Иван Никитич поднялся с камня, скользнул взглядом по гранитной стене, похлопал по ней ладонью.

— Нет, это исключено. Чтобы вызвать подобные сдвиги, басмачам нужно было бы взорвать и эту стену. А она, как видишь, на месте. Стоит, как стояла сотни тысяч лет назад... Только растрескалась... Нет, нет, Алимджан, водосток где-то здесь. А раз так,— значит, его можно отрыть. Нельзя отыскать только несуществующее. Вы ищете спрятанное. Ведь так?

Слова Смирнова несколько подбодрили Алимджана. Он сказал повеселевшим тоном, махнув рукой в сторону долины:

— А как там, внизу, идут дела? Вас ведь не спросишь, так вы и будете помалкивать. Как плотина?

— Котлован уже почти готов. Так что и плотина скоро начнет подниматься. И с Янтаксайским арыком все в порядке. Айкиз говорила, что бригада стариков во главе с Умурзаком-ата начала уже осваивать целинный массив возле Холма рабов. Нам нужна вода, Алимджан, очень много воды!

Смирнов подошел к Суванкулу, который вроде бы и неуклюже, а на самом деле споровисто орудовал киркой, положил ему руку на твердое, как наковальня, плечо.

— Как полагаешь, Суванкул, отроете вы Кокбулак?

— Без победы домой не вернемся, Иван-ака! — пробасил Суванкул и хотел еще что-то добавить, но его перебил вездесущий Бекбута:

— Коль уж мы схватились за хвост тигра, так теперь его не отпустим! Как говорили на фронте — ни шагу назад! Позор падет на наши головы, если мы возвратимся в колхоз с пустыми руками.

— Да, я вижу, вы взяли быка за рога, — сказал Смирнов.

— Бык — это Кокбулак? — весело переспросил Бекбута. — Ну, тогда он скоро побежит к Янтаксаю, взбрыкивая копытами!..

Все засмеялись. Иван Никитич надвинул поглубже свою фуражку, чтоб не сорвал ее шальной ветер и не швырнул в пропасть, сказал, обращаясь к дехканам:

— Мне пора, друзья. А вам от души желаю удачи. Когда вы будете возвращаться домой, я соберу всех жителей долины и скомандую: смирно! Идут богатыри, покоровшие Кокбулак!

И он приложил руку к козырьку фуражки, словно уже приветствуя победителей...

Бригада Алимджана наконец добралась до лессовой почвы, перемешанной с крупным речным галечником.

Это значило одно: когда-то тут бежала бившая из скалы светлая, чистая родниковая вода. Дехкане, следовательно, достигли уже глубины, где прятался Кокбулак — «ворота» подземного озера.

Убедившись в этом, Алимджан оставил возле транспортера лишь семь человек, а остальных разбил на мелкие звенья, распределив их так, чтобы уж хоть одно из них да обнаружило эти «ворота».

День клонился к вечеру, солнце скрылось за скалами, в ущелье сразу сделалось сумрачно, прохладно. И все заволочло тишиной, в которой отчетливо слышались удары кетменей, врезавшихся в мягкий грунт, и ритмичные, свистящие придыхания людей: ых, ых!..

Алимджан выворачивал кетменем комья земли и перебрасывал их Бекбуте, который, тоже с помощью кетменя, ловко подхватывал землю и кидал ее на ленту транспортера.

Вскоре Алимджан стоял уже по пояс в вырытой им обширной яме. Кетмень, серебристо сверкая в темноте, все чаще и чаще взлетал над его головой.

— Бригадир! — окликнул его Бекбута. — Может, поменяемся местами? Замаялся, поди.

Алимджан ничего не ответил. Он вдруг почему-то отставил кетмень в сторону и, присев на корточки, начал разрывать землю руками.

Бекбута с недоумением спросил:

— Что ты там нашел, бригадир?

Алимджан, выпрямившись, повернулся к нему, протянул руки, в которых держал какие-то черепки, толстые, темно-коричневые.

Бекбута некоторое время удивленно смотрел на них, потом спрыгнул в яму:

— Что это, бригадир?

Алимджан головой показал на что-то темное, выступавшее из земли на дне ямы:

— Не видишь? Кувшин.

— Кувшин?

— Ну, да. Гляди: вот ручка, вот горлышко... Он раскололся, но черепки лежат неподалеку друг от друга.

— Откуда же он тут взялся?

— А ты подумай — откуда?..

Бекбута, морща лоб, вынимал из земли коричневые осколки, очищал их, зачем-то осторожно складывал в кучу. Да, это был кувшин. Почесав в затылке, Бекбута неуверенно протянул:

— Кажется, я начинаю понимать...

— Да тут и понимать нечего, все ясней ясного! Кто-то, еще до взрыва, оставил кувшин у ручья. Во время взрыва кувшин разбился, его занесло землей и камнем.

— Значит... — все еще не веря себе, затаив дыхание, проговорил Бекбута, — мы нашли Кокбулак? — И, не

сдержавшись, радостно завопил: — Нашли, нашли!

На его голос прибежал Суванкул, заглянул в яму:

— Что вы тут нашли?

— Кокбулак!

— Что же вы молчите?

— Это я молчу? — изумился Бекбута. — Да я орал во всю глотку.

— Ты пищал, как комар, — пренебрежительно бросил Суванкул, и тотчас все ущелье огласилось его зычным, раскатистым басом: — Эй, эгей, сюда! Все сюда! Скорее! Мы нашли Кокбулак!

Не прошло и минуты, как уже вся бригада сгрудилась вокруг ямы.

— Копайте здесь, — распорядился Алимджан. — Еще немного — и Кокбулак наш!

У дехкан, казалось, прибавилось сил: ведь Кокбулак был совсем рядом...

Это были минуты поистине вдохновенного труда.

Неугомонный Бекбута, оглянувшись на товарищей, обливавшихся потом, несмотря на вечернюю прохладу, и копавших землю с радостным азартом, с улыбкой заметил:

— Вы так сияете, будто уже хлебнули живой воды Кокбулака!

Шутку его встретили молчанием, все были заняты делом, и лента транспортера без перерыва несла вверх вырытый грунт, поскрипывая и скрежеща под его тяжестью.

Но вода все не появлялась.

Алимджана это удивляло и тревожило: ведь все говорило за то, что родник найден. А воды не было.

Он тщательно обследовал обнажившуюся часть гранитной стены. По ней ползла вверх широкая трещина. У Алимджана просветлело лицо, он повернулся к дехканам, показал рукой на серую, монолитную стену:

— Друзья! Вот тут место выхода родника. До взрыва эта сторона скалы была видимой. В течение долгих веков жгучее солнце, ветры, морозы, дожди не могли разрушить гранит. Взрыв тем более не в силах был причинить ему вреда, но скалу чуть не доверху завалило камнями. И эту вот трещину наглухо забило щебнем и землей. Они слежались и тоже сделались твердыми, как гранит. Ну-ка, Бекбута, дай мне кирку.

Яростно взмахивая киркой, Алимджан принялся долбить трещину, как бы зацементированную взорванной породой. Суванкул, внимательно следивший за ним, спросил:

— Ты думаешь, бригадир, это и есть Кокбулак?

— Не думаю, а уверен.

Алимджан выдернул из трещины жесткий куст, мешавший ему работать, кирка еще быстрее замелькала в воздухе.

Вся бригада, столпившись вокруг Алимджана, молча, с тревогой и надеждой, наблюдала за его действиями.

Удар. Еще удар... Каждый из этих ударов мог оказаться последним, решающим. И тогда долгожданная родниковая влага вырвалась бы из каменного плена.

Еще удар...

Казалось, в эти минуты сердце у каждого билось в такт этим ударам: тук... тук... тук...

Закусив нижнюю губу, Алимджан все взмахивал киркой, из трещины па дно ямы сыпались камни, щебенка. Эта трещина пересекала по вертикали лишь часть скалы, вверху и внизу заметно сужалась, а в том месте, по которому Алимджан наносил удары, была такая широкая, что даже богатырь Суванкул не смог бы загородить ее своей могучей спиной.

Выворотив киркой большой красный блестящий камень, Алимджан оглядел его внимательно, потом пошарил ладонью в образовавшемся чуть влажном углублении, сказал удовлетворенно:

— Кокбулак — здесь. Голову даю на отсечение!

Видно было, что он очень устал. И тогда Бекбута отнял у него кирку, занял его место.

Алимджан присел на камень, провел рукой по разгоряченному лицу... Впору было не расслаиваться тут, а плясать от радости: ведь заветная цель была близка!.. Все могли решить несколько ударов кирки. Но плясать что-то не тянуло: то ли он слишком утомился, то ли все-таки грызло его сомнение.

Неужели же он еще сомневается в успехе?

Алимджан поднял голову, оглянулся вокруг, удивленно сказал самому себе:

— Гляди-ка, совсем уже стемнело, а я и не заметил. Значит, еще один день миновал. А воды все нет...

В это время с дальнего конца ущелья донеслось:

— Алимджан-ака! Эй, Алимджан-ака!..

Алимджан узнал голос Михри. Встав с камня, он выбрался из ямы, крикнул, сложив ладони рупором:

— Слышу!.. В чем дело, Михри?

Сквозь сизую мглу он еле различал Михри: рядом с высокой отвесной скалой она казалась совсем еще девочкой, маленькой и хрупкой.

— Скорее идите на совещание! Там только вас и ждут!

Михри исчезла в темноте, и Алимджан сказал, обращаясь к бригаде:

— Кончайте работу, друзья. Вы сегодня славно потрудились. Отдыхайте.

Ему было немного совестно перед дехканами: на других-то участках люди, наверно, давно уж сидели за ужином.

С трудом разыскав на одном из валунов свою гимнастерку и ремень, оставленные там еще утром, он торопливо зашагал по ущелью к долине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Штаб строительства размещался в большом шатре, раскинутом на холме у подножия Коктау. Когда Алимджан поднялся на холм, горы уже окутал плотный черный мрак.

В чистом небе горели крупные, яркие звезды. В горной местности небо — чудится — простирается над самой землей и звезды кажутся такими близкими, что можно добросить до них камень...

В ущельях и на холмах земными звездами пылали костры. В низинах, среди скал, где мрак был гуще, огонь костров отбрасывал на скалы алые отблески, слепил глаза. Это были маленьккие мохнатые пожарища... На холмах, хотя пламя там раздувал ветер, костры выглядели более бледными и не такими большими. Все эти костры издалика можно было принять за расцветшие махровые розы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-желтого.

Вокруг костров мелькали силуэты людей, причудливая игра пламени делала одних крохотными, наподобие сказочных гномов, а других огромными, как великаны.

Алимджан, глядя на горы, думал: тысячи лет спали они камешным сном, никому и в голову не приходило будить их.



Но вот явились мы, советские люди, и нарушили вековой сон этих гранитных громад, нарушили давний покой этих мест, чтобы добыть воду. И рядом с человеком горы стали словно ниже ростом... Мы сильнее, могучей, потому что перед нами великая цель: благо народное, процветание любимой отчизны...

Шатер был совсем уже рядом.

«Кто же это сидит за столиком перед шатром? Иван Никитич, Айкиз... А кто между ними? Да это же Джурабаев, секретарь райкома! Совещание, значит, важное».

Алимджан ускорил шаг. Он досадовал на себя за опоздание, в котором, правда, не был виноват; но ему вообще не по душе было, когда он сам или еще кто-нибудь заставлял других ждать.

Участники совещания расположились на траве перед самым столиком. Алимджан, стараясь быть незамеченным, пристроился позади всех.

Но его уже увидели, люди оборачивались к нему, посыпались вопросы, шутки:

— Эй, бригадир, ты, говорят, уже схватил тигра за хвост? Верно это?

— А может, тебе помочь нужно? Отрыть Кокбулак — это тебе не орех расколоть.

— Ты слышал пословицу: не говори «виноград», пока не положил его в свою корзину?

— Ладно, что вы на него напали? Он у нас джигит смелый. А смелый, говорят, и из камня хлеб добудет. Погодите, он вам еще себя покажет!

— Алимджан, а ты приложи ухо к земле да слушай. Услышишь журчанье да бульканье — тут и копай.

— Э, нашему партийному секретарю трудно распознать, где там булькает, он человек непьющий. Лучше, Бабаджан, тебя самого послать к Кокбулаку. Уж ты-то бульканье сразу услышишь...

Последние слова были заглушены громким хохотом.

Джурабаев, Айкиз и Иван Никитич, о чем-то разговаривавшие, подняли головы, вглядываясь в темноту и тоже улыбаясь. Фонарь «летучая мышь», стоявший перед ними, освещал только стол, лица, фигуры собравшихся терялись в густом мраке.

Смирнов, встав, громко сказал:

— Товарищи, начинаем совещание! Алимджан здесь? Значит, явились все, кого приглашали. В первую очередь

послушаем сообщение секретаря райкома партии товарища Джурабаева.

Джурабаев, откашлявшись, заговорил взволнованным голосом:

— Дорогие друзья! Я привез вам радостную весть. Мы недавно доложили правительству о наших планах, рассказали, как будем осваивать Алтынсайский массив, где намереваемся брать воду для этого, к каким работам уже приступили. Ну, попросили о кое-какой помощи, причем просьбы наши были очень скромными. Но мы, оказывается, и сами не представляли, какое огромное дело затеяли. Руководство республики оценило нашу инициативу лишь как часть решительного, масштабного наступления на целину. Мы — пионеры, авангард этого наступления, широкого освоения предгорных земель. Понимаете, друзья? Нам сказали: мыслить надо крупнее, смотреть далеко вперед. Шагайте смело и ведите за собой других. Так что на нас, получается, возложили большую ответственность. Но в то же время и нам пошли навстречу, не только сполна удовлетворив все наши просьбы, но и выделив дополнительные средства и технику. В пределах возможного, конечно. Вот, товарищи, постановление правительства...

Джурабаев достал из кармана гимнастерки сложенный вчетверо лист бумаги, принялся бережно его разворачивать. Все молчали, и в этой напряженной тишине слышно было, как шуршит бумага.

Но Айкиз не выдержала, и над горами взвился ее звонкий голос:

— Спасибо, товарищ Джурабаев! Ой, спасибо!

И все зааплодировали, раздались возгласы:

— Да здравствует наша родная партия!

— Слава нашему правительству!

Захваченный общим энтузиазмом, Алимджан порывисто встал с места, прошел к столу президиума, крепко пожал руку Джурабаеву.

— И от наших коммунистов большое спасибо вам. Такая весть!..

Джурабаев, улыбаясь, пожал плечами:

— Меня-то за что же благодарите? Это вам и Айкиз мы должны сказать спасибо. Или лучше так: Айкиз и вам. Освоение Алтынсайского массива — это ее идея.

Айкиз покраснела.



— Идея, как говорится, носилась в воздухе...

— Не скромничайте, а то мы подумаем, что вы бежите от ответственности.

У Джурабаева было хорошее настроение, он шутил, и среди собравшихся царило веселое возбуждение.

Подождав, пока все успокоится, Джурабаев зачитал постановление. В нем была определена площадь вновь осваиваемых земель, установлены очередность и сроки выполнения всех работ — от расчистки родников до сооружения канала, плотины, водохранилища, а впоследствии и электростанции на этом водохранилище. В заключительной части указывалось, что существует реальная возможность уже в скором времени частично засеять хлопчатником земли Алтынсайского массива.

Джурабаев закончил чтение в полном безмолвии. Собравшихся, казалось, охватило какое-то оцепенение. Все сидели молча, недвижно, и опять слышался лишь шелест бумаги, сворачиваемой секретарем райкома.

Заветная это была бумага: давние чаяния алтынсайцев обрели форму закона. И выполнить этот закон значило осуществить самые затаенные мечты каждого дехканаина о воде, о хлопке. С этого мгновения мечта и закон как бы сливались воедино и борьба за воду становилась и долгом алтынсайских тружеников и велением, зовом их сердец. И, как когда-то Умураак-ата, каждый сейчас мысленно видел поля в сахарной белизне созревшего хлопчатника, высокую плотину, за которой плескались волны неиссякающего голубого озера, и канал, несущий — могуче и неустанно — живительную влагу, способную воскресить мертвую степь, одеть ее, как невесту, в праздничный, веселый наряд.

Мечта, сказка... Но об этой сказке деловито говорилось в постановлении правительства. Мечта приняла очертания конкретного плана.

Словно угадав мысли собравшихся, Джурабаев сказал:

— Друзья мои, когда-то в народе нашем бытовало такое выражение: «хом хаёл» — «сырая мечта». Сырая, то есть неосуществимая. Родила это выражение сама жизнь, сама действительность того времени. Ведь когда полновластными хозяевами Алтынсай были ишан Кабулходжа и его сын Азимбай, могла ли осуществиться хоть самая скромная мечта народа? А ныне эти слова — «хом хаёл» — навсегда исчезли из нашего обихода. Под руководством партии мы превращаем в явь самые смелые мечты, самые дерзкие замыслы!.. Такова уж природа нашего строя, что насущные нужды народа находят удовлетворение и заветные народные чаяния планомерно претворяются в жизнь. Все, о чем мы мечтали вчера, уже стало реальностью. Следующая наша цель — покорить Кызылкумы. И она тоже достижима, потому что неутомимы золотые ваши руки, строящие новую жизнь!

Джурабаев поднял высоко над головой сложенный лист бумаги:

— Друзья, этот документ открывает перед нами невиданные просторы. Это наша путевка в коммунизм. Обеспечить же надежность этой путевки мы можем лишь одним: самоотверженным трудом. Что от нас требуется сегодня? Прежде всего — в установленные сроки завершить работы первой очереди. И тогда колхоз «Кызыл юлдуз» сможет уже в этом году посеять хлопчатник на участках хотя бы двух бригад. Завидная возможность... Так

за дело, друзья! Мы с вами люди удачливые: ведь жить в Советской стране — это уже счастье. А говорят, если удачливый человек подойдет к голым скалам, то и те зазеленеют.

Смирнов и Джурабаев пригласили к столу президиума бригадиров, попросили их рассказать о ходе работ. Тесно сгрудившись вокруг стола, все принялись оживленно подсчитывать, что уже сделано, что еще предстоит сделать. И тут неожиданно выяснилось, что на завершение очистки родников понадобится всего дней девять-десять.

Синие глаза Смирнова так и засияли:

— Здорово! Значит, управитесь за декаду?

— Может, и скорее!

Один Усманов, председатель колхоза «Октябрь», молчал, что-то прикидывал в уме. Закончив подсчеты, он хмуро, жалующимся тоном сказал:

— Десять дней... Навряд ли мы успеем. Людей у меня маловато. Нет, я не хочу бросать слова на ветер. Обещать можно что угодно, но я человек дела.

Ему не дали договорить, со всех сторон полетели насмешливые реплики:

— Не нойте, Усманов! Вам ли немощным-то прикидываться?

— Ты на Кокбулак наведайся. Погляди, сколько камня перекидывает каждый день Алимджан! Поставить бы тебя на его участок, ты бы в голос завыл!..

— Да что вы, не знаете Усманова? Этого ловкача не перехитрить самому Афанди! Он сейчас при всех слезы проливает, а глядишь, первым отрапортует об окончании работ!

Усманов только молча развел руками: что, мол, с вами спорить. Погом задумался, как будто снова одолеваемый сомнениями. И словно нехотя, через силу уступая требованиям окружающих, как-то лениво объявил:

— Ну, первым не первым... Но, возможно, дня через три-четыре и отрапортую.

Слова его вызвали одобрителный шумок:

— Вот это дело! Молодчина, Усманов!

— Так мы и думали.

— Эй, а где же Керим? Почему молчит бригадир комсомольцев?

— Ха, разве вы не знаете, что молчащая кошка опасней мяукающей?

Керим подошел к столу, проговорил шутливо:

— Ну, я хитрить не умею, молчу или мяукаю — до Усманова мне все равно далеко. Скажу прямо: на арыке работы тоже хватает. Но то, о чем сообщил товарищ Джурабаев, наверняка вдохновит моих ребят. Я посоветуюсь с ними и убежден, что мы не отстанем от других бригад. Если мобилизовать все силы, то можно уложиться в самые сжатые сроки.

— Только не за счет качества работ, — вставила Айкиз.

— Уж это само собой. Товарищ Джурабаев как-то говорил, что темпы и качество должны не враждовать, а дружить.

У Керима голос был глуховатый, мягкий, а когда он волновался, то голос его не звенел, а, наоборот, становился еще тише. Сейчас Керим, видимо, испытывал волнение, потому что добавил совсем глухо:

— И вот еще что... Комсомольцы поручили мне вызвать на соревнование кокбулакскую бригаду. Если, конечно, они примут наш вызов. Как, Алимджан-ака?

Алимджан тут же отозвался — громко, задорно, горячо:

— Согласен! Боевые орлы готовы потягаться силами с молодыми орлятами! Хотя мы уже и соревнуемся с Усмановым.

Айкиз смотрела на него и думала с нежным восхищением: «Вон как у него глаза сверкают... Словно у мальчишки. Душа у него юная, хоть и опалена фронтом. Да, да, он сильный — и юный!»

Все разошлись. Уехал и Джурабаев. На холме, возле шатра, остались только Смирнов, Айкиз и Алимджан.

Костры в ущелье постепенно гасли. Потух и фонарь, стоявший на столе. Лишь призрачное сияние звезд разливалось вокруг...

— Алимджан-ака, а вы не боитесь проиграть Кериму? — спросила Айкиз.

— Поднатужимся... И разве дело в том, кто выиграет соревнование? Керим прав: главное — мобилизовать все силы. Моя бригада будет еще упорней сражаться за воду Кокбулака. И мы добудем ее, сколько бы дней на это ни понадобилось!

— А по-моему, как раз важно, — возразила Айкиз, — чтобы вы, именно вы, Алимджан-ака, освободились как

можно скорей. Ведь если в ближайшее время придется сеять хлопчатник, то кто этим займется?

— У нас есть председатель колхоза — Кадыров. Он и начнет сев.

— Кадыров... Как будто вы не знаете нашего рапса! Он как огня боится ответственности, потому и переложил на наши плечи всю работу по освоению целины. Вот увидите, он будет кричать, что с него хватит и богары, что и так он совершил подвиг, отдав нам людей и все-таки вырастив на богаре пшеницу. Он найдет тысячи отговорок, чтоб только не связываться с целиной, поскольку, — Айкиз надула щеки и важно проговорила, подражая Кадырову, — это дело непроверенное, рискованное, и он, человек с практическим опытом, никогда не пойдет на опасные эксперименты. Он не верит в наш успех, а я перестала доверять Кадырову. Если даже с гор хлынет сель, он исхитрится не замочить щиколоток. Нет, нет, на Кадырова нельзя положиться...

— Не круто ли ты забираешь, Айкиз? — осторожно заметил Смирнов.

— Я сейчас говорю только об одном — о первом севе хлопчатника. Кадыров может его провалить. А вас же не надо убеждать в том, как это важно — успешно провести этот сев!.. Пусть пока только на участках двух бригад. Важен почин. И у меня будет беспокойно на душе, пока вы сами, Алимджан-ака, не возьметесь за это. Вы должны вернуться в колхоз в ближайшее же время, независимо от того, даст Кокбулак воду или нет.

Алимджан улыбнулся:

— Вы же слышали, Айкиз, что говорят люди: мы, дескать, уже держим тигра за хвост. И, уверяю, не собираемся его отпускать. Мы нашли место выхода Кокбулака и домой вернемся только с победой! Так решила бригада. А вы предлагаете бригадиру дезертировать в самый напряженный момент.

— Не дезертировать, а возглавить другое, не менее важное дело.

— Нет, Айкиз, пока я не попробую на вкус, какая она, кокбулакская вода, я бригаду не оставлю.

— Ты, значит, не сомневаешься в успехе? — спросил Смирнов.

— Не сомневаюсь!

— Подпаями, Алимджан! Ты же фронтовик, тебе приходилось брать и укрепленные города, и высоты, с которых обрушивался на вас огненный шквал. Считаю, что время — это та же крепость, та же высота. В атаку — на время! Не подводи Айкиз, Алимджан.

Алимджан взглянул на Айкиз, она опустила голову, но даже в темноте было видно, как заалели ее щеки.

— Иван Никитич, мы сделаем все, что в наших силах.

— Вот, вот. Держись, Алимджан! Не вешай носа. Завтра я наведаюсь к тебе в бригаду. А пока спокойной ночи. Я лично намереваюсь как следует поспать.

Взяв со стола свою полевую сумку, Смирнов ушел.

Айкиз временно жила в одной из «девичьих» палаток, расположенных в арчовой роще, — чтобы сэкономить время, которое потребовалось бы на дорогу до дома и обратно.

Алимджан вызвался проводить ее до рощи, и они медленно спустились с холма.

Было уже далеко за полночь. Над Коктау висела ущербная луна. Арчовые деревья, в эти весенние ночи терпко пахнущие хвоей, кусты терновника, огромные валуны и даже трава под погами — все, казалось, замерло, притаившись, но жило в эти минуты какой-то своей, таинственной жизнью. Или это луна окутывала все тайной?..

Айкиз ласково тронула Алимджана за руку:

— Может, я что не так сказала? Вы не обиделись?

— На что же обижаться? Вы были правы. И я зря с вами спорил.

Айкиз, неожиданно остановившись, прижала к его губам свою маленькую ладошку:

— Ладно. Не будем об этом.

Алимджан, задохнувшись от счастья, некоторое время стоял в сладком оцепенении, не отрывая от Айкиз покорных глаз, а потом схватил ее ладонь обеими руками, словно пытаясь удержать у своих губ навеки, Айкиз же, подчиняясь неведомому порыву, положила голову ему на грудь. У Алимджана совсем перехватило дыхание. Он даже глаза закрыл на мгновение... И вдруг, уже не владея собой, принялся нежно и жадно целовать ее косы, шею, лицо. Айкиз чувствовала, что слабеет все больше и больше, у нее не было сил сопротивляться его поцелуям.

Какая-то большая птица, с шумом вырвавшаяся из

густого орешника, пронеслась над ними, шелестя сильными крыльями, и скрылась в ночи.

— Сова, — тихо сказала Айкиз. — Она все видела.

— Ну и пусть. Нам нечего стыдиться. Ведь мы любим друг друга, да?

Алимджан попытался снова поцеловать Айкиз, но она мягко отстранилась:

— Не надо, Алимджан-ака.

— Вы сердитесь на меня?

— За что?

— Тогда...

Он взял ее за плечи, она покачала головой:

— Потом, Алимджан-ака...

Тут уже в голосе Алимджана прозвучали сердитые нотки:

— «Потом»!.. Сколько раз я это уже слышал. Вы все откладываете на «потом». Но когда ж оно настанет, это «потом»? Честное слово, добиться от вас одного короткого слова «да» труднее, чем получить воду Кокбулака.

Он привлек Айкиз к себе.

— Вот не отпущу вас, пока вы не скажете, когда же наша свадьба.

— Скоро, Алимджан-ака.

— «Скоро» — это все то же «потом».

— Ну, хорошо. Я скажу. Но дайте мне сперва хоть вздохнуть!..

Алимджан позволил ей высвободиться из своих объятий, она отступила на шаг; не отводя глаз от его требовательного, выжидающего взгляда, сказала:

— Вот найдете живую воду, за которой я вас послала... Потом минет еще... ну, две недели. И тогда вы услышите короткое слово...

— Правда, Айкиз?

Вместо ответа она быстро наклонилась, сорвала пучок травы, приблизившись к Алимджану, расстегнула ворот его гимнастерки и сунула траву ему за пазуху.

— Это сонная трава, Алимджан-ака! Отправляйтесь спать, завтра у вас важное свидание: с Кокбулаком!

Она повернулась и, взмахнув руками, как крыльями, резво и бесшумно, словно паря над землей, побежала к арчовым деревьям, за которыми белели в лунном свете палатки.

Алимджан долго смотрел ей вслед...

Как уже говорилось, местом слияния двух горных рек, Янгакская и Узумская, служило глубокое каменное ущелье. По нему они текли как одна река — Алтынсай.

Ранней весной, в пору ливней и таяния снегов, Алтынсай отличался буйным нравом. Сжатый высокими скалами, он бесповался, гудел протестующе, ему было тесно в узкой расщелине, он походил на пленника, рвущегося на волю.

Выбравшись наконец из ущелья, Алтынсай бежал дальше уже веселей, раскованней, хотя его по-прежнему окружали голые скалы. Подскакивая на камнях, река взметала ввысь густые брызги. В ее праздничном плеске и шуме слышались трубный рев карная, удары звонкого бубна, нежная песня зурны.

К лету в Алтынсае оставалось так мало воды, что она еле прикрывала дно и не пенилась, не перемахивала через камни, а прозрачно сочилась меж ними.

В Алтынсайском ущелье почти всегда висела мрачная, сырая мгла. Лишь в полдень, когда солнце стояло в зените, его лучи ненадолго проникали в каменную теснину, каким-то зловещим светом озаряя отвесные склоны скал — то черные, как уголь, то желтые, со слюдяным блеском или с темно-красными потеками, напоминающими запекшуюся кровь.

Испокон веку тут было пустынно, безлюдно. Лишь птицы гнездились на скалах, — их, видимо, привлекала дикость этих мест. Человеку же грозная, суровая красота Алтынсайского ущелья внушала страх.

Но нашлись смельчаки, надумавшие поставить в ущелье плотину, перегородить путь Алтынсаю, направить его в новое, искусственное русло.

Сначала сюда явились ученые люди, специалисты: геологи, геодезисты, гидрогеологи. Они тщательно осмотрели местность, взяли образцы скальных пород, измерили глубину ущелья, определили скорость течения Алтынсаю и составили проект строительства плотины.

Следом за ними пришли колхозники. Они возвели перед ущельем временную перемычку из суглинка. Натолкнувшись на эту преграду, река заметалась, ища выход. Люди указали ей выход, пробив аммоном в скальном откосе тоже временное русло. По нему и устремился Алтынсай,

начавший уже мелеть, с глухим, негодующим рокотом. Вскоре он, однако, стихал, словно примирившись со своей участью, и покорно огибал место сооружения плотины.

Первым делом строители принялись готовить котлован под плотину. Горы, привыкшие к молчанию, огласились громкими голосами, песнями, скрежетом машин, стуком и звоном ломов, лопат, кетменей, взрывами, грохотом рушившихся скал.

К котловану тянулись вереницы грузовиков и арб, они везли скальный камень, раздробленный аммоном, — агатово-черный, гранитно-серый и красный, словно раскаленное железо. Камень этот, теперь уже «строительный материал», сверкая на солнце, горами высился вокруг строительной площадки.

После совещания у «штабного» шатра Айкиз Умурзакова, заместитель начальника строительства, решила: если уж все стремятся закончить работу раньше срока, то не след отставать и строителям плотины. Надо завтра же приступить к закладке ее основания.

Над вершиной Коктау только еще занимался рассвет, а Айкиз была уже на ногах. Она спешила. Но время, казалось, обгоняло ее, утро разгоралось с молниеносной быстротой, и, седлая Байчибара, пасшегося возле ее палатки, Айкиз увидела в его глазах розовый отблеск уже окрепшей зари и мысленно упрекнула себя: надо было встать еще раньше.

— Поехали, Байчибар, — сказала она вслух. — Впереди сегодня столько дел...

Она поскакала в кишлак, отправила секретаря сельсовета Рахмата с приказом о закладке плотины на строительную площадку, к прорабу Джалалову, потом позвонила в райком. Услышав знакомый голос Джурабаева, Айкиз с радостным волнением доложила ему, что котлован уже готов и в полдень начнется сооружение плотины.

— Поздравляю, Айкиз! — сказал Джурабаев. — От души поздравляю!..

— Вы приедете к нам?

— К сожалению, не смогу.

— Такое событие, товарищ Джурабаев...

— Знаю. И желаю вам успеха! Но... не всегда я сам распоряжаюсь своим временем.

Айкиз спросила упавшим тоном:

— Может, отложим на завтра?

— Ну, нет! Зачем же откладывать? Если у вас все готово... то малейшая задержка — это преступление. Начинайте без меня. Поменьше торжественности, побольше ответственности. Это ведь наши будни, Айкиз. Вот завершим полностью строительство, тогда устроим праздник.

Айкиз, покраснев, положила трубку. С минуту она сидела, справляясь со смущением, потом решительно сказала себе: «Что ж, начинать так начинать».

Выйдя на улицу, она вскочила на Байчибара, ожгла его камчой и понеслась в горы.

Такие поездки были для нее делом обычным, и она привыкла размышлять на скаку, в седле. Вот и теперь она раздумывала над тем, действительно ли все подготовлено для закладки плотины. Вроде все... Работы проводились согласно указаниям Ивана Никитича. Правда, сам Смирнов в последнее время наблюдал за расчисткой родников, реконструкцией Янгакасайского арыка и почти не занимался «плотинным» участком, целиком полагаясь на Джалалова. Но Айкиз помнила все его советы и наставления, знала наизусть все чертежи. «Все в порядке, все в порядке, — убеждала она себя. — А Иван Никитич сегодня, наверно, у нас появится. Побывает у Алимджана — и к нам. И все станет на свое место. Он одобрит мое решение».

Дело в том, что Айкиз намеревалась несколько отступить от ранее намеченного плана. Это намерение укрепилось сегодня ночью.

Неделю назад, когда она и Смирнов, в который уж раз, сидели над чертежами, инженер разъяснял: «Оба бока плотины должны будут войти в эти выемки в скалах. Поняла? Вот гляди: это левый, это правый фланг плотины. Здесь, в скалах, сверху донизу вы вырубите длинные, глубокие выемки. И камень, который вы при этом добудете, тоже вам пригодится». — «Еще бы, — кивнула Айкиз, — это намного облегчит нам работу. Нам не придется возить камень из дальних карьеров».

Однако за неделю колхозники навезли к строительному участку столько камня и гравия, что нужда в дополнительных запасах отпала.

И Айкиз подумала: «Зачем же, при таких обстоятельствах, вынимать камень еще и из стен ущелья? На

это ведь потребуется столько лишнего труда, а главное, столько лишнего времени... Разве нельзя оставить скалы нетронутыми? Плотина и без выемок плотно сомкнется с ними, как бы обопрется на них богатырскими своими плечами, и ничто не сможет сдвинуть с места эту махину. Зато сколько дней мы сэкономим! А каждый день на вес золота. Нам во что бы то ни стало надо засеять хлопчатником будущей весной весь Алтынсайский массив».

Охваченная молодым нетерпением, Айкиз уговаривала себя, что, мол, если имеется возможность сократить объем и сроки работы, то просто грешно от этого отказываться.

Зеленая, бугрившаяся холмами земля вся была в пестрых цветах, но это цветенье не радовало Айкиз. Скорей бы зацвел здесь хлопок... Да ждать-то уж недолго: в будущем же году потянутся тут к солнцу не трава, не гребенщик, а кустики хлопчатника. А на полях, орошенных водой Янгахсайского арыка, хлопковые всходы появятся уже этой весной... «Славно-то как!... Все-таки удивительный человек Иван Никитич. Он на лету подхватил нашу инициативу да еще такой размах ей придал!.. И народ у нас — богатырь: надо — горы свернет! Дехкане все наши наметки ломают: чуть не со всеми работами управились раньше срока. Это-то и надо принимать в расчет, внося в проекты необходимые изменения. Плотины мы можем построить быстрее, чем предполагали. Еще немного, и она поднимется в ущелье, вровень со скалами. Скорей бы!..»

Айкиз на все была готова, только бы приблизить заветный день, когда завершится весь комплекс строительства. И она чувствовала в себе столько сил... «Как это верно сказано: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. А у нас три точки опоры: мечта, и план, и мощь народа. Поэтому наши возможности безбрежны». Так думала Айкиз, и мысли эти бодрили, будоражили душу. Ей вдруг показалось, что Байчибар еле плетется, хотя он бежал по дороге резвой иноходью. Она прикрикнула на коня:

— Ты что, заснул, что ли? А ну, прибавь шаг!

Хлестнув Байчибара камчой, она пустила его в намет. Ветер парусом надул ее косынку, подвязанную под подбородком.

Айкиз любила мчаться вот так по горным дорогам,



когда ветер свистел в ушах, трепал ее волосы, развевал платье, теплой волной бил в лицо.

Сквозь свист ветра она все же расслышала доносившийся из котлована грохот машин.

Свернув с наезженной дороги, Айкиз перевела Байчибара на шаг и направила его к обрыву, откуда вся строительная площадка видна была как на ладони. Айкиз увидела котлован, уже освобожденный от машин и людей, и вокруг него горы камня и гравия, увидела спящие грузовики, казавшиеся отсюда совсем маленькими, и экскаватор, выползающий из ущелья и тоже словно бы игрушечный: с ковшом величиной не больше спичечного коробка, с ажурной, хрупкой стрелой... У противоположной стены ущелья стояла группа людей, уж и вовсе крохотных, а поближе к Айкиз, посередине котлована, двое мужчин о чем-то спорили, энергично жестикулируя. Айкиз узнала в одном из них Рахмата,

а в другом прораба Джалалова. У Джалалова, кряжистого, коренастого, тибетейка была сдвинута на самый затылок — верный признак того, что прораб горячился.

Рахмат первым заметил Айкиз на краю обрыва. Он дернул своего собеседника за рукав. Джалалов вскинул голову, помахал рукой, стал что-то кричать всаднице, то рупором прикладывая ладони ко рту, то снова размахивая рукой. Но голос его не долетал до Айкиз, и как она ни напрягала слух — не разобрала ни слова. Ладно, она еще сюда заглянет. А пока надо бы съездить на каменный и гравийный карьеры. Айкиз посмотрела на часы. Да, время у нее еще есть.

На гравийном карьере Айкиз задерживаться не стала, она даже не слезла с коня. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: работа тут шла слаженно, ритмично. Мимо Айкиз спокойно, с некоторой медлительностью двигались тяжело нагруженные машины и арбы, а навстречу им, по направлению к карьере, громыхал порожняк — шоферы и возчики торопились, бесцеремонно обгоняли друг друга, слышались смех, шутки, беззлобная ругань. В самом карьере дехкане, добывавшие гравий, без усталости взмахивали лопатами-грабарками.

Айкиз едва успевала отвечать на приветствия земляков: «Хорманг, хорманг!» — и в душе радовалась, что тут не надо давать никаких советов и указаний — люди и сами понимали значение своего труда, старались поскорей загрузить и отправлять к котловану последние машины и арбы.

Обстановка на каменном карьере поразила Айкиз — настолько все там изменилось по сравнению со вчерашним днем. Куда только девались черные скалы, громоздившиеся еще вчера? Какая сила смела их и размолола?

Это было делом рук подрывников, они, выходит, не спали всю ночь, бурили шурфы, возлились с аммоналом. Айкиз вспомнила, как перед самым рассветом ее разбудил гулкий взрыв, от которого задрожала земля вокруг. Она не сразу сообразила, что же это происходит, а когда догадалась, то улыбнулась удовлетворенно, радостно и подумала про себя: «Чудно — люди скалы взрывают, и гудят горы, трясется земля, а у меня от этого на душе хорошо и спокойно. Все идет, как надо!» Тогда же она и решила наведаться в каменный карьер, посмотреть,

что «натворили» подрывники, пожать им руки, поговорить об их работе, нелегкой и опасной.

Взрывы в горах в последнее время грохотали часто, и Айкиз не раз встречалась с подрывниками и не раз пыталась с ними заговорить, но все безрезультатно, потому что это были люди замкнутые, молчаливые. Особой хмуростью отличался бригадир подрывников — высокий, худой, с рябым лицом. Айкиз никак не могла определить, каков же его возраст, и как-то сказала Смирнову: «То мне кажется, что ему лет двадцать, то — что все сорок». Иван Никитич только усмехнулся...

Бригадир был русский, звали его Николаем, и бригада его состояла всего из трех человек, словно бы состязавшихся с ним в молчаливости. Смирнову, правда, удавалось их расшевелить, а когда в беседу вступала Айкиз, они даже не удостоивали ее ответом и поглядывали на нее — нет, не сердито, а с той обидной снисходительностью, с какой обычно смотрят взрослые, занятые своими важными делами, на крутящуюся вокруг детвору. А ведь Айкиз не лезла к ним с какими-то «руководящими» указаниями, это было бы просто глупо по отношению к таким мастерам, как эти молчуны. Ей всего лишь хотелось узнать, что это за люди — подрывники, что движет ими, почему они выбрали именно эту профессию? Ведь каждый день они шли на риск, и Айкиз интересно было разобраться, что стояло за этим: любовь к своему делу, романтическое к нему отношение или обыкновенное желание подзаработать побольше денег, — труд подрывников хорошо оплачивался.

Но стоило Айкиз завести с ними об этом речь, как они замыкались в себе, а бригадир, слушая ее, кивал головой, словно во всем с ней соглашаясь, хотя она и не утверждала ничего, а, наоборот, обращалась к подрывникам с вопросами.

И, как ни странно, но она не испытывала досады ни на Николая, ни на его ребят. Что-то ей нравилось в них, особенно в Николае. И даже их неприветливость не обижала: люди дела и не должны много болтать да рассыпаться в любезностях. Она сразу же отмела мысль о «стяжательстве» подрывников, они казались ей сказочными богатырями — батырами, крушащими горы, вздымающими к небу тонны земли и камня, способными на любой подвиг!

Все же она жалела, что так ни разу и не довелось ей вызвать их на откровенный разговор.

Сегодня у нее не было такого намерения, она хотела просто поблагодарить их за ту помощь, которую они оказывали алтынсайцам, пожать им руки... У одного парня она спросила, где сможет найти подрывников; тот ответил, что после ночной работы они сильно устали и, наверно, спят сейчас в какой-нибудь палатке.

«Не буду их тревожить, пусть хорошенько выспятся,— с каким-то благоговением подумала Айкиз.— Вот сколько они наворочали за ночь, только поспевай нагружать машины!»

Тут люди работали еще более споро, чем на гравийном карьере,— споро и в то же время как-то по-особому сосредоточенно. Молча, с заметным напряжением, поднимали они с земли тяжелые камни, кидали их в кузова грузовиков и на арбы. Возчики и шоферы здесь тоже помалкивали — не перебрасывались шутками, не оглушали окружающих озорным свистом. Машины не обгоняли одна другую, а въезжали в карьер и выезжали из него осторожно, ловко лавируя между грудами камня, стараясь не зацепить встречный грузовик бортом.

Айкиз собралась уже было покинуть карьер, как вдруг увидела Кадырова: тот стоял за большим валуном. Позади высившейся поодаль горы битого гранита происходило, судя по всему, что-то тревожившее Кадырова, потому что он смотрел туда недовольно и, как показалось Айкиз, испуганно. Она подъехала к нему сзади и только тогда поняла, что так занимало Кадырова. Два подростка пытались взвалить на арбу серую гранитную глыбину. Им удалось приподнять ее на уровень арбы, но не хватило сил уложить ее туда. И бросить глыбу на землю ребята не отваживались: она могла упасть им на ноги.

Айкиз, ахнув, соскочила с коня, крикнула Кадырову: — Что же вы стоите? Ребят же раздавит!

И метнулась к подросткам, подставив под глыбину плечо.

Только тогда к ним подошел и Кадыров, подпер глыбу снизу широкими ладонями. Общими усилиями ее водворили наконец на арбу,— глыба легла так тяжело, что толстые оглобли подскочили вверх, потянув за собой и хомут.

Отряхнув ладони, Кадыров внимательно осмотрел свою одежду: не запачкался ли пенароком.

— Ах, вот оно в чем дело! — насмешливо протянула Айкиз. — Вы боялись замарать свой новый китель!.. Да и сапоги, я гляжу, на вас тоже новые. Что ж, человек должен следить за своим внешним видом. И одеваться красиво. Но красиво ли наблюдать со стороны, как ребята мучаются?

— Никто не заставлял этих сопляков хвататься за такую громадину, — Кадыров кивнул в сторону гранитной глыбы, уже покоящейся в арбе.

— Так они же дети! А детям всегда хочется выглядеть героями.

— Ха!.. Им захотелось в героев поиграть, а я-то тут при чем? Не мое это дело — камни вместе с ними ворочать. Да и не ваше, товарищ Умурзакова. У нас с вами иные функции и обязанности. Не забывайте: вы заместитель начальника строительства.

— Я и не забываю.

— Тогда зачем же нам с вами ронять свой авторитет — выступая в роли грузчиков?

— А если бы ребята камень уронили себе на ноги, было бы лучше? Нет, уж я предпочитаю помочь им.

Немного пожуриив подростков, Айкиз принялась вместе с ними кидать камни на арбу. Кадыров стоял рядом, презрительно морщась. Айкиз, не разгибаясь и не глядя на него, сказала:

— Помогли бы и вы нам. Поза стороннего наблюдателя не прибавляет авторитета. Покажите своим колхозникам, как надо работать!

Кадыров нехотя приблизился к арбе, швырнул в нее несколько небольших камней.

— Смелей, смелей, товарищ Кадыров! Не стесняйтесь. Это и для здоровья полезно.

Дехкане с улыбками следили за действиями председателя: он поднимал камни с земли и бросал их на арбу с какой-то брезгливостью, тут же отряхивая ладони и оглядывая свой китель.

Ему и неловко было перед колхозниками заниматься не свойственным его положению делом, и в то же время он опасался, как бы они не подумали, что он чурается «черной» работы.

Выручил раиса прораб Джалалов, появившийся в

карьеру; остановившись возле Айкиз, он сказал с облегчением:

— Уф!.. Вот вы где, оказывается. Насилу разыскал вас, товарищ Умурзакова.

Он, видно, шел сюда быстро, лицо было красное, высокий лоб с большими залысинами блестел от пота.

Обмахиваясь тубетейкой, Джалалов продолжал:

— Вы, значит, велите нынче же в полдень начинать закладку основания плотины?

— А что вас смущает?

— Товарищ Умурзакова, а как же проект? Ведь согласно проекту...

Айкиз перебила его:

— Необходимо вырубить выемки в стенах ущелья? Вы это хотите сказать?

— Именно это.

— Так вот, необходимость в этой дополнительной работе отпала.

— Как так отпала?

— А так. Нам не нужен камень из выемок. Хватит и того, который доставлен из карьеров.

— Разве дело только в камне?

— А в чем же еще? Проблема стройматериалов решена. Это главное. Камня у нас будет даже с избытком: видите, его все везут и везут.

Джалалов пожал плечами:

— Простите, товарищ Умурзакова, но вы рассуждаете по меньшей мере наивно.

Айкиз вспыхнула:

— Я следую указаниям инженера Смирнова. Что ж, по-вашему, он тоже не прав?

— Иван Никитич не мог отдать такого глупого распоряжения! — вспылл и Джалалов. — Я знаком и с проектом и с указаниями Ивана Никитича. Для меня они закон. А вот вы с ними почему-то не желаете считаться. Вы самовольно отступаете от проекта!

— Значит, я... самовольничаю?

Айкиз незаметно покосилась на Кадырова: тот и не пытался скрыть злорадную усмешку. Он явно наслаждался тем, что Айкиз при нем отчитывали, как несмышленную девчонку. Вот это-то больше всего ее и угнетало. И ей захотелось осадить Джалалова, дать ему достойный отпор.

— А вы что же — слепой раб проекта? Для комму-

нистов план — не догма. И в проект мы вправе вносить коррективы, подсказанные самой жизнью. Тем более если это поможет нам быстрее построить плотину.

— Сроки строительства надо сокращать другим путем. Не перечеркивая важнейшие детали проекта. Одним словом...

Джалалов стиснул зубы, на его бронзово загорелых щеках перекатывались желваки. Словно через силу, он резко закончил:

— Я бы попросил вас, товарищ Умурзакова, не вмешиваться не в свое дело.

Айкиз оторопела от неожиданности, лицо ее вмиг сделалось бледным и как бы даже осунулось. Преодолев минутное замешательство, она тихо сказала:

— Я вас не понимаю, товарищ Джалалов.

Тот, уже успокоившись, пожал плечами:

— Что же тут не понимать? Если человек в чем-то не разбирается, ему надо отойти в сторону и не мешать другим.

— Вы, кажется, забыли, что я заместитель начальника строительства?

У Айкиз уже и губы стали серыми.

— Да. Вы заместитель. И у вас свой круг вопросов. Но конкретно за плотину отвечаю я.

— Только вы?

— Нет, еще и инженер Смирнов — как начальник строительства. На нас двоих и лежит вся ответственность за сооружение плотины.

— А я, значит, никакой ответственности не несу?

— За плотину — нет.

Оглянувшись, Айкиз увидела, что вокруг них начали собираться колхозники. Они, хмурясь, прислушивались к спору прораба и Айкиз. Что ж, тем лучше. Земли всегда ее поддерживали и знали цену ее словам. Часто с гордостью говорили: «У нашей Айкиз слово идет за мыслью».

Она встала на гранитный камень, похожий на мельничный жернов, сказала, обращаясь к колхозникам:

— Товарищи! Здесь работу можно пока закончить. Готовьтесь к переходу в котлован. — Айкиз посмотрела на ручные часики. — Через сорок минут мы начнем закладку основания плотины.

Она была уверена, что и на этот раз найдет поддержку

у колхозников и после ее слов народ разойдется и все направятся на строительную площадку.

Но она ошиблась: люди оставались стоять на месте и молчали, ожидая завершения спора между ней и Джалаловым. Внутреннее чутье работника, близкого к народным массам, подсказало Айкиз, что колхозники не на ее стороне. «Что же это такое? — подумала она в растерянности и тревоге. — Неужели я не права?»

В настороженности земляков ей чудилось осуждение. Она соскочила с камня и почувствовала на своем плече чью-то тяжелую ладонь. Айкиз быстро обернулась и встретилась глазами с взглядом Кадырова, вроде бы сочувственным, серьезным. И тон, которым он заговорил, тоже был серьезный и искренний:

— Умурзакова, послушайте моего доброго совета: отмените приказ, пока не поздно. Не забывайте: вы заместитель начальника строительства.

Сколько уж раз звучала сегодня эта злосчастная фраза, приносимая то Кадыровым, то самой Айкиз.

Кадыров многозначительно добавил:

— Вы за все в ответе.

— Ах, значит, и за плотину отвечаю все-таки я?

— И вы. И прораб. И Смирнов. Потому я и советую вам не торопиться.

В глазах райса мелькнули насмешливые огоньки.

— Правда, и я, как и вы, не слишком-то большой специалист в строительном деле. Но мне кажется, Джалалов прав. Вы малость поспешили, товарищ Умурзакова, а спешка до добра не доводит. — Теперь уже в голосе Кадырова слышалась откровенная издевка. — Что ж, и вас можно понять: молодо-зелено, на месте-то не сидится, хочется весь мир удивить — неважно чем. Но опыта-то у вас маловато, а неопытность всегда приводит к ошибкам. — Кадыров развел руками. — Впрочем, у кого их не бывает.

Каждое слово Кадырова камнем падало в душу Айкиз. Кадыров говорил громко, чтоб все могли его слышать. Айкиз понимала: он рад случаю унижить ее перед колхозниками. Он готов подорвать чужой авторитет, чтоб поднять свой.

Ей стоило немалых усилий взять себя в руки. Выдержав паузу, необходимую для того, чтобы речь ее, даже после всего происшедшего, прозвучала веско и зна-

чительно, Айкиз подняла спокойный взгляд на Джалалова, твердо сказала:

— Товарищ Джалалов, неужели же вы полагаете, что, прежде чем отдать приказ, я не обдумала его хорошенько? Я ведь одного хочу: чтоб на всем Алтынсайском массиве уже через год можно было посеять хлопок...

— По-моему, это наша общая забота.

— Вот. Значит, если у нас есть возможность сжать сроки строительства плотины, мы просто обязаны, да, обязаны это сделать!.. Мне бы не хотелось опираться на чужой авторитет... Но сегодня утром я разговаривала по телефону с товарищем Джурабаевым. И он сказал, что уж коли котлован готов...

— В том-то и дело, что не готов! — прервал ее Джалалов. — Ведь еще нет выемок в стенах ущелья!

Айкиз досадливо сдвинула брови:

— Дались вам эти выемки! Я думаю, они внесены в проект лишь для подстраховки. И с тем, чтобы у нас появился добавочный камень. Но я уже говорила: камня и гравия и без того достаточно. Разве не так? — Айкиз снова посмотрела на часы. — Мы не имеем права задерживать закладку плотины ни на одну минуту. Как заместитель начальника строительства приказываю вам, товарищ прораб, ровно через двадцать пять минут приступить к закладке.

Джалалов смотрел на Айкиз словно с каким-то сожалением. В глазах его не было ни гнева, ни враждебности. Вздохнув, он махнул рукой:

— Ладно, будь по-вашему. Мы начнем закладку плотины. Но на всякий случай я поищу Ивана Никитича. Как знать, может, он и даст нам «добро». Но так или иначе, а мы должны поставить его в известность о вашем приказе.

Кадыров с преувеличенным испугом воскликнул:

— Нет, нет, товарищ Джалалов, вам никак нельзя отсюда уходить! Кто знает, что еще взбредет в голову нашей уважаемой новаторше! Горяча она больно, и тороплива, и прямо-таки переполнена идеями!.. Ох, молодость, молодость! Завидки берут...

Непонятно было, старался ли Кадыров оправдать Айкиз или побольшей уколоть ее.

— Вы, прораб, идите лучше к котловану. А я уж не сочту за труд — сам съезжу к Смирнову, поскольку

у меня есть машина. Объясню ему все, пусть сам судит, кто тут прав, а кто... хм... по молодости заблуждается.

Заложив руки за спину, Кадыров тяжелым, неспешным шагом направился к своей машине, стоявшей неподалеку.

Колхозники в молчании разбрелись по всему карьеру, чтобы взять свой инструмент.

«Не похоже, чтобы они одобрили мое решение, — с горечью подумала Айкиз. — Впервые я осталась в одиночестве». Сердце у нее защемило, и неожиданно для себя она крикнула вслед Кадырову:

— Пойдите, товарищ Кадыров! Ведь Иван Никитич сейчас скорее всего в долине Янгатая. На машине вы туда не доберетесь. И на коне вам ехать нелегко — можете помять китель. Давайте я уж лучше сама пойму инженера. Не бойтесь, я все ему доложу как есть. — Айкиз повернулась к Джалалову. — А вы приступайте к закладке, как мы и договорились. И не разводите особой торжественности. — Ей вспомнились слова Джурабаева, и она повторила их: — Поменьше торжественности, побольше ответственности.

Она подошла к Байчибару, который жевал, потряхивая головой и позвякивая удилами, раздобытый где-то зеленый кустик тамариска, легко, уверенно вскочила в седло. Конь, почувствовав взволнованность и нетерпение хозяйки, с места взял в галоп, только огненные брызги полетели из-под копыт, загремевших по осколкам гранита, которые устилали карьер.

Колхозники, работавшие в долине Янгатая, сказали Айкиз, что инженер Смирнов только что был здесь, а потом направился в бригаду Алимджана. Какой-то молодой незнакомый парень в красной майке и тюбетейке, почему-то вывернутой наизнанку, принялся объяснять Айкиз, как проехать к Кокбулаку. Та нетерпеливо оборвала его:

— Ладно, ладно. Уж где Кокбулак, я как-нибудь и сама знаю.

Она хлестнула коня. Подпрыгивая в седле, думала с иронией: «Теперь все меня взяли учиться, давать советы, объяснять то, что мне и самой известно. Вон сколько советчиков: Джалалов, Кадыров, даже этот неоперивший-

ся птенец... Что-то я прежде его не видела — наверно, не из нашего колхоза».

Байчибар вступил на узкую горную тропу с крутыми поворотами. Айкиз торопила его, подстегивая камчой, но конь ее не слушался и шел мелкой рысью. Он словно понимал, на какой риск толкала его хозяйка. Здесь, среди скал, опасно было мчаться галопом: споткнешься с ходу, налетишь на неожиданное препятствие — конец и коню и седоку. Как ни размахивала Айкиз камчой, как ни прищипывала Байчибара, он только остервенело поводил глазами, поджимая уши, но ничто не могло заставить его перейти с рыси на галоп.

— Ну, погоди, — злилась Айкиз, — ты у меня победишь, трус несчастный! Ишь какие все медлительные!

Неожиданно ей пришлось так резко осадить Байчибара, что он даже присел на круп.

В нескольких шагах от Айкиз под нависшей темной скалой стоял Смирнов. Он смотрел на Айкиз, добродушно улыбаясь:

— Салам, заместительница! А я слышу — гул идет по ущелью. Ну, думаю, не иначе, как это Айкиз скачет: другой такой лихой наездницы у нас вроде нет. Вот остановился, решил тебя подождать.

Айкиз, спешиваясь, сказала с явным облегчением:

— Ох, как хорошо, что я вас встретила, Иван Никитич! Здравствуйте. Я ведь как раз вас и разыскиваю. Мне сказали, что вы пошли к Кокбулаку.

— Верно, я туда путь держал.

Смирнов пригляделся к девушке: на ней лица не было, в глазах металась боль и тревога.

— А ты вроде не в себе, Айкиз, — озабоченно сказал он. — Стряслось что-нибудь?

— Да ничего особенного не случилось, Иван Никитич. — Айкиз старалась говорить спокойно, но в голосе ее звучали сердитые, упрямые и опять-таки тревожные нотки. — Видите ли... я отдала приказ о закладке плотины, а Джалалов отказался его выполнять.

— Вот так «ничего особенного»!.. Налицо серьезный конфликт. Объясни-ка мне потолковей, почему Джалалов воспротивился твоему приказу. Он ведь дельный прораб.

— Ну... он считает, что к закладке приступать рано: котлован, мол, еще не готов.

Смирнов насторожился:

— А твое мнение — котлован готов? Вот уж не предполагал, что вы так стремительно со всем управитесь.

— Котлован готов! — горячо сказала Айкиз. — Не сделаны только выемки в стенах ущелья, но они сейчас и ни к чему. А Джалалов уцепился за эти выемки...

— Погоди, погоди, — остановил ее Смирнов. Он насутился, синие его глаза потемнели, голос приобрел необычную для инженера строгость. — Так ты говоришь — выемки ни к чему?

— А зачем они, Иван Никитич, когда камня у нас и так много?

— Так разве дело только в камне?

Айкиз вспомнила, что такой же вопрос задавал ей и Джалалов, и краска смущения залила ей щеки.

А инженер еще строже переспросил:

— Так, значит, выемок нет?

— Нет, Иван Никитич...

— А ты отдала приказ начать закладку плотины?

— Да, Иван Никитич.

Сердцем Айкиз уже чуяла беду, и голос у нее был тихий, виноватый.

— Так. И вы уже приступили к закладке?

Айкиз только кивнула утвердительно.

— Нет, ты мне ответь: приступили?

— Да...



Смирнов некоторое время молчал, словно не веря своим ушам, и вдруг сухо, зло произнес:

— Так знай, товарищ Умурзакова: без выемок наша плотина уже через месяц полетит к чертовой матери!.. Вода размочит ее, сотрет в порошок, опрокинет! И как тебе пришло в голову отдать такой непродуманный приказ?! Почему ты мне ни о чем не доложила?

— Я... полагала... — Айкиз чуть не плакала, — чем мы скорей...

— Скорей!.. Из-за тебя мы уже потеряли целый день. Одна надежда — что строители выполняют твой приказ без особого энтузиазма. Чем меньше они уложат камня в тело плотины, тем меньше придется его вынимать.

Айкиз стояла покурясь, глаза ее были полны слез. Смирнов понял, что переборщил, сказал утешающе:

— Ну-ну... Вот слезы действительно ни к чему — в отличие от выемок. Ладно, не переживай. Все еще можно поправить. Ты давай вместо меня отправляйся на Кокбулак — погляди, как там и что. А я, с твоего разрешения, возьму Байчибара и потороплюсь на стройплощадку.

Айкиз молча передала ему повод и камчу. Иван Никитич, едва коснувшись ногой стремени, вскочил в седло, повернул коня, и в тот же миг по ущелью словно гром прокатился: это грохотали камни, летевшие из-под копыт Байчибара.

Топот копыт быстро удалялся и вскоре совсем затих.

Айкиз долго еще стояла на тропинке, устремив недвижный затуманенный взор в сумрак ущелья, поглотивший Байчибара и Смирнова. Казалось, все тело у нее было налито свинцовой тяжестью, и сил не хватило даже на то, чтобы откинуть за спину толстые косы, упавшие на грудь. Айкиз только вытерла мокрые глаза рукавом платья, как вытирала их давно, в далеком детстве, и опустила на камень, положив на колени вялые ладони.

Что же все-таки произошло?

Айкиз не поняла — сама ли себя она об этом спросила, или вопрос прозвучал со стороны...

Но в ущелье было безлюдно, тихо, лишь Япгаксай звенел внизу, перепрыгивая с камня на камень.

Айкиз вспомнила сегодняшнее утро, такое светлое, обнадеживающее, счастливое. Ей чудилось тогда, что

конца не будет ни этому свежему, ясному утру, ни счастьем — огромному, бездонному, как небосвод.

А сейчас она внушала себе, что уже никогда больше не будет счастливой, и чудесное утро ушло в прошлое, стало невозвратимым, как детство, такое же легкое, полное надежд...

Все вокруг было каким-то чужим, горьким, от синего неба веяло холодом, и шум Янгаксая рождал в душе томительную тоску...

Что же все-таки случилось? В чем ее ошибка?

Айкиз представила себе котлован, стиснутый гранитными стенами. Там по ее приказу началась закладка основания плотины: уже пошла в рост махина из гравия и камня, схваченных цементом. И люди не знают, что занимаются напрасным трудом, — ведь Иван Никитич еще не успел туда прибыть.

Скорей бы уж он оказался на строительной площадке и исправил ее промах!..

Всем тогда станет ясно, что она натворила... Как теперь смотреть в глаза людям? Ведь они доверяли Айкиз и гордились ею. А она обманула их, обрекла на бессмысленные, бесполезные действия. Ох, если бы только бесполезные, — нет, вредные!

И нет ей оправдания. Какой прок объяснить, что она хотела как лучше, что у нее была одна цель: как можно скорей возвести плотину и пустить воду на истомившуюся от жажды целину... Ее приказ не приблизил эту цель, а, наоборот, отдалил. И Айкиз кляла себя за самоуверенность, торопливость, горячность. Кадыров сказал: молодо-зелено... Ах, при чем здесь молодость! Просто она переоценила свои силы. Прав Кадыров, прав Джалалов: она действительно мало что понимает в строительном деле, так нет, сунулась в воду, не зная броду...

Свинцовая тяжесть все ощутимей наваливалась на ее плечи, и Айкиз почувствовала, какие же они на самом-то деле слабые.

Или это Кадыров положил ей на плечо свою железную ладонь? На минуту Айкиз показалось, что Кадыров и впрямь стоит рядом и поглядывает на нее с притворным сочувствием и торжествующей усмешкой.

Нелегко признать, что на этот раз правда на его, а не на ее стороне. Больно и горько сознавать, что ты виновата.

Но наберись мужества, Айкиз!.. Ты ведь судишь сама себя — судом разума и совести. Не прибегай же к педостойным уловкам, не ищи лазеек, чтобы уйти от сурового приговора. Ты вот думаешь: а не причастен ли к происшедшему Кадыров? Мол, не будь его возле, ты бы не стала так горячо и упрямо настаивать на своем. Мол, это именно перед ним тебе не хотелось ударить лицом в грязь, потому ты и приказала Джалалову выполнять свой приказ.

При чем здесь Кадыров, Айкиз? Ведь приказ тобой был уже подписан. И ты уверила себя в том, что твое решение не принимать в расчет такой пустяк, как какие-то выемки, подсказано самой жизнью.

Но не опытом, не знаниями!

Ты торопилась и легкомысленно отметала все разумные доводы Джалалова.

Вот и получила от жизни хороший урок.

Кадыров, конечно, сейчас злорадствует. Ты ведь знаешь, он тебя недолюбливает за то, что ты мешаешь ему отдохнуть, насладиться достигнутым, удобно расположившись на долгий привал.

Айкиз прикусила губу... Да бог с ним, с Кадыровым, пусть злорадствует!.. Это для нее не самое страшное. Страшно, что она причинила ущерб делу, в которое сама же вкладывала всю душу. И стыдно, очень стыдно перед Джалаловым. О Смирнове уж нечего и говорить: как, наверно, упала она в его глазах!.. И навсегда, бесповоротно потеряла его доверие.

Айкиз стиснула виски ладонями.

Как все уравновешенные, спокойные люди, Смирнов в гневе становился сухим и жестким. Правда, довести его до такого состояния было не так-то легко! А она вот довела. Какой резкий у него был голос, когда он отчитывал ее. И острый как нож.

Айкиз стало жалко себя, она снова заплакала. И снова принялась вытирать слезы рукавом и ладонями, запоминая, что как раз в рукаве у нее спрятан носовой платок.

Как тут не плакать, если она подвела Ивана Никитича, человека, который всегда был с ней по-отечески ласков и верил в нее... Ведь это он настаивал в райкоме, чтобы именно Айкиз назначили его заместителем. А Айкиз не оправдала его надежд. Она замахнулась на проект,

составленный Смирновым, хотя и благоговела перед инженером. Как же это она осмелилась поставить себя выше такого специалиста, как Иван Никитич?

Видно, закружилась у нее голова от постоянных успехов, от того доверия, которое ей было оказано, от полного презрения к риску...

А рисковать-то надо умеючи, полагаясь на знания, а не подчиняясь всецело пусть благородным, но чисто душевным порывам!..

Кадыров, выходит, и прежде был прав, предупреждая всех, что Айкиз молода и неопытна. Теперь он будет потирать руки: «А что я говорил? Умурзакова, по молодости, подвела нас всех: и меня, и Джурабаева, и Смирнова, и всех колхозников».

Он не преминет опорочить Айкиз и перед Алимджаном...

Айкиз вдруг улыбнулась сквозь слезы. А Алимджан и слушать его не захочет, он не поверит ни одному его слову! Ведь он любит ее, Айкиз...

Она сейчас сама пойдет к нему и расскажет все, все, без утайки, поведает обо всем, что она натворила, и обо всем, что потом передумала. И он поймет ее, только он и способен понять ее по-настоящему! Алимджан, родной! Ведь так? А может, и он накричит на нее, как Иван Никитич?.. Что ж, так ей и надо. Все равно она должна с ним поговорить, излить душу... И принять безропотно любой его укор. Потому что нет на свете человека родней Алимджана!..

Айкиз торопливо заплела концы распустившихся кос, откинула их за спину, поднялась с камня и чуть не бегом припустилась по горной тропе, ведущей к Кокбулаку.

Желтые ее сапожки скользили на гладких камнях, она часто оступалась, но все бежала и бежала, и сердце у нее билось взволнованно, радостно. Скоро она увидит Алимджана. И он снимет тяжесть с ее души. Он у нее молодец, Алимджан! Она вправе им гордиться. Он обещал ей во что бы то ни стало отыскать Кокбулак и возродить его к жизни, и она уверена: так и будет!.. Ведь он трудится на своем участке не жалея сил, с раннего утра и до позднего вечера не выпуская из рук кирку или лом. Ох, и нелегко же ему, бедняге...

Айкиз невольно замедлила шаг.

Да, нелегко сейчас приходится Алимджану... А она

с чем прибежит к нему? Со своим горем, со своими слезами? Вряд ли это прибавит ему бодрости... Вместо того чтобы поддержать любимого, она сама спешит к нему за поддержкой. И только расстроит его. Нет, этого делать нельзя!..

Айкиз остановилась. Голова у нее раскалывалась от боли. Она устала от тяжелых покаянных мыслей, от путаных чувств, разрывающих сердце...

Нет, к Алимджану ей путь заказан. Только ее излияний ему и не хватает!..

Но она не могла и оставаться наедине со своими горькими думами.

Айкиз решительно сдвинула брови. Вот что: она пойдет в сельсовет и оттуда позвонит Джурабаеву. Ему все и расскажет. И пусть коммунисты судят ее без жалости.

Сама себя она уже безоговорочно осудила.

Круто повернувшись, Айкиз побрела по каменной тропе, тянувшейся вдоль пропасти, на дне которой тускло поблескивал Янгаксай.

Когда она выбралась из ущелья на наезженную дорожку, то снова вспомнила о нынешнем утре, таком светлом и радостном. Ведь утром она ехала по такой же дороге, и небо было просторным, как мир, а воздух чистым и свежим, и вокруг все цело, благоухало, и на холмах буйно пламенел мак, словно тут и рождались алые утренняя зори, и птицы пели весело и беззаботно...

Как все изменилось за несколько часов!.. Небо казалось Айкиз блеклым, будто выцветшим, и маки на холмах побледнели, и цветы привяли, и не слышно было пения птиц...

Она видела все словно сквозь темные очки, на душе у нее было пусто и сумрачно.

Айкиз не помнила, как добрела до Алтынсая... Когда она уже приближалась к кишлаку, позади послышался стук копыт. Она хотела было оглянуться, посмотреть, кто это скачет, но передумала и только посторонилась, сойдя с дороги на обочину.

Копыта гремели уже совсем рядом, и Айкиз не выдержала, подняла голову, обернулась.

Смирнов и Джалалов ехали по дороге верхом на конях, в одном из которых она узнала Байчибара. При виде их у Айкиз радостно встрепенулось сердце, встре-

пенулось — и опять упало... Лица всадников, покрытые пылью, были утомленные, хмурые.

Куда же они держат путь? Наверно, в Алтынсай. А может, и в район. И скоро все узнают о позоре Айкиз... Бедный отец, как он боялся за нее!.. Как предостерегал от неверного шага! Он изведется теперь, переживая за дочь...

Айкиз остановилась, пропуская всадников мимо себя, но и они, немного не доехав до нее, спешили и, перекинувшись несколькими словами, уселись в сторонке под деревом, словно бы намереваясь передохнуть после долгого пути.

Айкиз не знала, что ей делать. Шагать дальше как ни в чем не бывало? Неудобно. Подойти к инженеру и прорабу? А что она сможет им сказать?

Видя, что она мнется в нерешительности, Иван Никитич сам позвал ее:

— Иди сюда, Айкиз. Потолкуем.

Он достал из кармана помятую пачку «Беломора», предложил папиросу Джалалову; оба закурили, выжидательно глядя на Айкиз. Сгорая от стыда, она несмело приблизилась к ним и встала позади, обняв рукой ствол дерева и по-детски прижавшись к нему щекой.

Смирнов и Джалалов некоторое время молча дымили своими папиросами, потом Иван Никитич, вытирая лоб тыльной стороной ладони, сказал:

— Здорово нынче печет.

— Да, — откликнулся Джалалов, скрывая улыбку. — Солнце жаркое. И работа у нас горячая. И некоторые товарищи слишком горячие. Оттого, наверно, так знойно в Алтынсае.

Иван Никитич повернулся к Айкиз:

— Что ты к дереву-то приклеилась? Все переживаешь душевную трагедию?

Айкиз не приняла шутки.

— Не надо так, Иван Никитич. — У нее дрожали губы. — Мне и без того свет не мил. А тут вы... смеетесь. Я знаю, надо мной, конечно, не грех посмеяться... Вон ведь что наделала... Как дурочка какая...

Она вдруг громко, судорожно всхлипнула и еще крепче прильнула щекой к шершавому стволу дерева.

— Пойди-ка к лошадям, прораб, поправь седла, — сказал Смирнов, а сам, поднявшись, шагнул к Айкиз и

ласково, как маленькую, потрепал ее по руке, обнимавшей дерево. — Ну, ну, Айкиз. Довольно сырость-то разводить: ты уж вроде вышла из детского возраста. Да и не из-за чего реветь. И напраслину на себя не возводи, ты у нас умница. Ты вообще чудесная девушка, Айкиз! Ну ладно, ошиблась. И ошибку допустила серьезную. Так ведь это впервые в жизни, разве не так? Точнее, впервые за годы самостоятельной работы. А кто из нас не ошибался, Айкиз? Недаром молвится: кто не падает, тот и не поднимается. Зачем же так отчаиваться из-за первой же ошибки? Выше голову, Айкиз! Не казнить себя ты должна, а собраться с силами для новых дел. Да отлепись ты от дерева, наконец!..

Смирнов легонько тряхнул Айкиз за плечи, она повернула к нему заплаканное лицо.

— Как мне не казниться, Иван Никитич? Такие ошибки не прощаются. Я сама себе никогда не прощу!

— Ну и хорошо. Хорошо, что ты все поняла, осознала, это уже залог того, что ты впредь меньше станешь ошибаться.

— Чтоб я... когда-нибудь еще...

— А ты не зарекайся. Вот как ты думаешь, я — неглупый человек?..

Айкиз невольно улыбнулась:

— Вы мудрый.

— Скажем, неглупый. Так как, по-твоему, у меня никогда не было промахов?

— Не знаю...

— Да целый ворох!.. Говорят: нет дров, которые не дымят, нет людей, которые не ошибаются. А если сложить все ошибки умного человека, так получится гора. Так что у тебя все еще впереди: и успехи и ошибки. В этом плане ты еще начинающая. — Смирнов засмеялся, но тут же глаза его посерьезнели. — Главное — не унывай! Сильным не к лицу уныние. А ты сильная, я в этом убежден. И сумеешь переломить себя. Ты не обижайся, но есть в тебе и упрямство, и заносчивость, и болезненное самолюбие. Хуже всего вот эта заносчивость, самонадеянность, когда ты считаешь себя гроздью винограда, а других — опавшими виноградинами. Самомнение может привести к таким просчетам, перед которыми сегодняшний твой промах покажется пустяком. Вот это и старайся в себе побороть. А что касается плотины, так это дело

поправимое. Собственно, и поправлять-то тут нечего. Джалалов — специалист грамотный, его трудно сбить с толку. Он без меня и не думал приступать к закладке. Правда, не начал делать и выемки. Так что какое-то время мы упустили... А ты, наверно, была о Джалалове невысокого мнения, ведь так?

— Неправда!.. Я с ним очень считаюсь.

— Что ж ты тогда на него так навалилась со своим приказом?.. Тебе бы прислушаться к его словам, с другими посоветоваться, спокойно во всем разобраться, а ты вгорячах принялась командовать... Теперь вот расплачиваешься за это.

— Иван Никитич, вы верно сказали: самолюбие мое легко уязвить. Если б не вмешался Кадыров и не поставил меня в неловкое положение перед колхозниками... А, о чем это я? Я одна во всем виновата.

— Что ж, я вижу, урок пошел тебе на пользу. Больше подобной ошибки ты не допустишь. Говорят, только слепец может угодить дважды в один и тот же колодец. От других просчетов ты, конечно, не гарантирована, но то, что произошло нынче, я уверен, не повторится. Конечно, я имею в виду не закладку плотины, а всю ситуацию. И помни, Айкиз: у тебя много искренних, верных друзей, на которых ты можешь положиться. Любой из них в трудную минуту с готовностью придет тебе на помощь. И не позволит тебе зря проливать слезы...

Смирнов усмехнулся уголком губ, тронул Айкиз за плечо:

— Поняла? А с плотиной все в порядке. Строители уже вырубают выемки. Через пять дней мы начнем закладку. Не раньше, Айкиз!.. Ты сама убедилась, какие плоды приносит горячность и торопливость.

У Айкиз на ресницах еще дрожали капельки слез, но черные глаза были привычно ясными и лучистыми:

— Спасибо, Иван Никитич...

Она произнесла эти слова тихо, но с такой проникновенностью, что сразу было видно: они шли из самой глубины души.

Боясь, как бы она снова не расплакалась, Смирнов суховато проговорил:

— Возвращайся на стройплощадку. Тебя там ждут. Садись на своего Байчибара — и к котловану. Погляди, как идет работа.

Войдя в свой шалаш, Алимджан присел на топчан, застланный курпачой, снял сапоги, освободился от ремня, расстегнул медные пуговицы на воротнике гимнастерки и, не раздеваясь, бухнулся на курпачу... Расслабившись, чувствуя, как поет в уставшем теле каждый мускул, он закинул руки за голову, с наслаждением вздохнул... Наконец-то можно заснуть...

Но, как ни странно, сон не шел к Алимджану. Его продолжали одолевать дневные заботы. И было о чем подумать.

Вся бригада слышала, как Алимджан обещал, что буквально на днях родинка вырвется наружу из каменного плена. Но все оставалось по-прежнему.

Какой уж тут сон!..

Алимджан вскочил, стал шарить руками возле топчана, ища сапоги. Уже спустя минуту он вышел из шалаша и по горной змеевшейся в ущелье тропинке направился в ореховую рощу, где последнее время в маленькой брезентовой палатке ночевал Смирнов.

Выбравшись из ущелья, Алимджан увидел огонек, светившийся сквозь кустарник. Неужели же и Ивану Никитичу не спится? Слава богу, не придется его будить.

Но инженер сладко спал в глубине палатки, на ворохе мягкого сена. Фонарь же с привернутым фитилем он оставил у входа, на низком столике, сколоченном из двух сосновых горбылей,— должно быть, для того, чтобы каждый, кому мог вдруг понадобится начальник строительства, легко нашел бы его по мерцающему огоньку.

От сена исходил такой пряный запах, что Алимджан, остановившись, глубоко вдохнул воздух и только потом негромко окликнул Смирнова:

— Иван Никитич! Слышите, Иван Никитич?! Прошу вас, проснитесь.

Смирнов с трудом открыл тяжелые веки. Некоторое время он тупо смотрел на Алимджана, загородившего собой свет фонаря, не понимая спросонья, кто это торчит в палатке, а узнав наконец бригадира, лениво протянул:

— А, это ты...

Чуть приподнявшись, но все еще сидя с вытянутыми ногами на сене, с которым ему, видно, очень не хотелось

расставаться, Иван Никитич спросил уже своим обычным тоном:

— Что это ты как снег на голову? Стряслось что-нибудь на участке?

— Пока нет.

— Хм... Пока?

— Но может стрястись!

— Чепуху ты какую-то несешь. — Иван Никитич не спеша сладко потянулся, потом энергично потер сухими ладонями лицо, чтобы окончательно прогнать сон. — Объясни толково, почему будишь людей по ночам? Может, Кокбулак сбежал? — Смирнов пришел уже в веселое расположение духа. — Выходит, не удержали вы тигра за хвост. Надо было его цепью приковать к скале.

— Все наоборот, Иван Никитич. Кокбулак до сих пор в этой скале от нас прячется, и никак мы его оттуда не вырвем. Я всех заверил, что вода вот-вот появится, а ее все нет. Как мне теперь в глаза глядеть ребятам? Родник словно заколдованный. Черт, заклинило его, что ли?

— Может, и заклинило. Это теперь уже не так важно. Ведь главную задачу вы выполнили: нашли место, откуда бил Кокбулак. Остается проложить ему путь на волю. И раз уж вы сами не в силах его вызволить, пригласим подрывников.

— Иван Никитич! — умоляюще проговорил Алимджан. — Может, без взрыва обойдемся? Я все-таки в данной ситуации больше доверяю киркам да ломам. Но вы должны пойти со мной на участок, посмотреть, в чем там дело. Идемте, Иван Никитич! Вы ведь обещали наведаться к нам.

— А я и шел, да не дошел. А после столько дел навалилось, вздохнуть было некогда. Ладно, ладно, встаю.

Давно уже Смирнову никак не удавалось выспаться всласть. Только сегодняшней ночью выпал наконец счастливый случай безмятежно понежиться в роскошной постели из душистого сена. И вот надо подниматься, тащиться километра полтора по темному сырому ущелью... Б-р-р... Но ничего не попишешь, придется заглянуть на участок Алимджана. Зря тот не стал бы тревожить его среди ночи.

Смирнов зябко поежился, затем решительно сказал:

— Пошли.

По ущелью гуляли сквозные холодные ветры, Смирнов сгорбился, засунул ладони в рукава пиджака. Алимджан шагал впереди, освещая дорогу тусклым фонарем. Оба молчали...

Минут через пятнадцать они вышли на просторную площадку, защищенную от ветров высокими скалами. На площадке в два ряда темнели шалаши, сооруженные из зеленых ветвей арчи. И было здесь так тепло, что обрадованному Смирнову захотелось даже снять пиджак.

— Ну и теплынь! — сказал он тихо, боясь разбудить колхозников, спавших в шалашах.

— Тут всегда так: ночью теплей, чем утром, — так же тихо отозвался Алимджан.

Он подошел к одному из шалашей, чтобы поднять Бекбуту и Суванкула, но передумал: за день они намаялись, пусть отоспятся. Ведь впереди еще более тяжелый день. На минуту он задержался у шалаша. Оттуда не доносилось ни звука, и это было подозрительно: ведь Суванкул обычно издавал богатырский храп. А, верно, он так устал, что и храпеть не в силах... Тепло улыбнувшись, Алимджан вернулся к Смирнову, и они направились к скале, за которой шли раскопки Кокбулака. Неожиданно оба остановились, прислушались. До них доносился глухой стук, людские голоса, приглушенные шумом реки. А на противоположной, ребристой стене ущелья плясали отблески пламени.

— Что за чудеса?! — удивился Смирнов. — Что там происходит?

Они ускорили шаги, завернули за скалу, и Алимджан от изумления выронил из рук фонарь. Язычок пламени дернулся — и погас. Поднимая фонарь, Алимджан посмотрел на Смирнова, восхищенно проговорил:

— Вся бригада на участке!..

— Вижу, вижу, — весело рассмеялся Иван Никитич. — И теперь верю, что подрывники не нужны. С такими людьми можно рушить скалы и без взрывов! Взрывная сила — в их энтузиазме, в их труде!

Перед гранитной скалой, в недрах которой затаился Кокбулак, на краю широкой ямы пылал большой костер. В его ярком свете трудились колхозники: одни, стоя в яме, долбили скалу, другие загружали разбитой породой скрипящий, скрежещущий транспортер.

Алимджан не стал никого ни о чем спрашивать, и так было ясно: его бригада, отказавшись от отдыха, от сна, ринулась на решительный штурм Кокбулака. И превратила ночь в день.

Это была фантастическая картина: на скалах металась багровая зарница и черные тени, сверкали стальные кетмени, взлетающие над головами работающих, а сами люди в причудливых отсветах костра казались огромными и размеренные их движения — медлительными.

Смирнов и Алимджан поспешили к месту выхода Кокбулака. Здесь молчаливо и сосредоточенно орудовал тяжелым ломом Бекбута, расширяя щель в скале. Рядом, дожидаясь своей очереди, сидел на камне Суванкул.

Водосток, казалось, уже весь был очищен, но явных признаков близкой воды все еще не было.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Алимджан.

— Порядочек, — по-фронтально бодро ответил неунывающий Бекбута. — Вон сколько камня набили, скоро скалу насквозь пройдем, а толку никакого. Будто дьявол засел в этой щели. Теперь вот и лом не берет породу — упирается во что-то мягкое, черт его знает, что это такое...

Иван Никитич, присев возле него на корточки, напряг слух, стараясь угадать, почему удары лома звучат так глухо, словно бьет он не по камню, а по вате... Неожиданно лицо инженера прояснилось, он глянул на груды щебня, вынутаго из щели Бекбутой и Суванкулом, попросил у Алимджана фонарь, зажег его, поставил рядом с собой, взял из груды какой-то темный комок, произнес с загадочным выражением:

— Та-ак...

Потом поднес комок к фонарю и уже уверенней, но все с той же загадочностью в голосе заявил:

— Понимаете, братцы, в чем тут дело... Вы добрались до весьма любопытной породы. Это и не земля и не камень.

— А что же? — быстро спросил Алимджан.

Он подсел к Смирнову и тоже принялся разминать в ладони и внимательно рассматривать комок необычной породы.

Иван Никитич, оставив его вопрос без ответа, продолжал:

— Мне уже приходилось сталкиваться с подобными фокусами...

— Фокусами?

— Да, с фокусами, которые устраивали басмачи.— Смирнов подбросил комок на ладони.— Это войлок. Обыкновенная отсыревшая и сгнившая кошма. Ну-ка, Бекбута, дай мне лом.

Минут десять он методично наносил удары пудовым ломом по широкому пятну, темневшему в щели, потом, возвратив лом Бекбуте, отступил в сторону.

— Все ясно. Придется все-таки произвести взрыв.

— Иван Никитич, вы бы нам рассказали, откуда тут войлок, что вообще произошло,— попросил Алимджан.

— Пошли к костру.

У костра Смирнов примостился на гладком камне, закурил. Вокруг начали собираться колхозники. Попыхивая папиросой, Иван Никитич сказал:

— Знаете, в чем дело, товарищи? Кокбулак забит пробкой.

Посыпались недоуменные вопросы:

— Какой такой пробкой?

— Как она здесь появилась?

— Кто заткнул ею наш Кокбулак?

Смирнов глубоко затянулся, бросил папиросу в костер, неторопливо заговорил:

— Ну, кто украл у вас Кокбулак, вам и без меня хорошо известно. Это сделали басмачи, совсем озверевшие от ненависти к народу и от отчаяния. А подстрекали их к этому и научили всяким черным фокусам английские империалисты, которые вообще раздували басмаческое движение. Мастера они были на всякие пакости. В пустынях отравляли колодцы, лишая население воды! А в горных долинах засыпали с помощью взрывов самые сильные источники, появившие водой окрестные кишлаки!.. Обычно басмачи и их «учителя» прибегали к такому методу: брали короткое крепкое бревно из карагача или ореха, обматывали его просмоленной кошмой и забивали эту пробку в родник. В это место вгоняли еще войлок, образуя двойной пыж, и взрывали скалы, заваливая их осколками всю площадь перед выходом родника. Так был уничтожен и Кокбулак.

Послышался возмущенный ропот, кто-то даже громко зацокал языком, поражаясь коварству и хитрости врага.

— Что же нам теперь делать? — спросил пожилой колхозник.

— А ничего. Надо вызывать подрывников.

На лице Алимджана отразилось беспокойство:

— Сколько же времени уйдет, пока они приедут да все подготовят?

— Уж не меньше двух дней.

— Потерять два дня!.. Нет, меня лично это не устраивает. Уверен, и бригада на это не согласится. Что же нам, два дня сидеть сложа руки? Так не пойдет...

Подняв с земли лом, Алимджан зашагал к месту выхода родника. За ним последовали Иван Никитич, Бекбута и Суванкул. Не сговариваясь, они плотной группой обступили Алимджана, а тот принялся с ожесточением всаживать лом в задубевший кляп, которым много лет назад басмачи заткнули горло Кокбулаку. Алимджана сменил Суванкул, Суванкула Бекбута, Бекбуту Иван Никитич. Здесь, у самого водостока, работать было неудобно, мешала теснота, даже Суванкул и тот быстро выдыхался, сменять друг друга приходилось все чаще, но лом без перерыва обрушивался на темное пятно.

Так, молча, с невероятным напряжением, они работали несколько часов. Приближалось утро. Иван Никитич, самый старший из четверых, совсем выбился из сил и присел отдохнуть прямо на щебень, привалившись к холодной скале ноющей спиной. Но сидел он так недолго — ему пришла в голову счастливая мысль. Он поднялся, показав рукой на лом, который Бекбута передавал Суванкулу, спросил:

— Сколько у нас таких вот, длинных ломов?

— Три.

— Отлично! Положите их остриями в костер, пусть накалятся добела.

Алимджан с восхищением посмотрел на Смирнова: «А он прав. Так дело пойдет быстрее».

Все оживились, повеселели. Теперь четверка, опять посменно, орудовала уже раскаленными ломками. Пока два лома «поджаривались» на огне, накалившийся прожигал пробку. Горячий металл вонзался в нее с размаху, проникал все глубже. Яма окуталась едким дымом, из щели густо шел запах горелого войлока и дерева. Но пробка и не думала поддаваться.

Когда стало светать, Смирнов объявил перекур. Бек-

бута и Суванкул остались у водостока, а Иван Никитич и Алимджан примостились у костра. Смирнов закурил.

— Долго мы еще будем тут возиться? — спросил он то ли Алимджана, то ли самого себя. — Сюда бы шашку тола, хоть одну. Так, Алимджан?

— Или — противотанковое орудие! Влепил бы я по проклятой пробке прямой наводкой бронебойным снарядом — только бы ее и видели!

— Ну, нет, — усомнился Смирнов. — Пожалуй, снаряд только бы заклинил выход родника — почище этой пробки... — Он провел рукой по щекам, обросшим колючей щетиной, после некоторого раздумья продолжил: — Мы ведь успели уже прожечь войлок, дошли до самого бревна да и в нем проделали большую дыру... Как думаешь, Алимджан, очень оно было длинное? По-моему, навряд ли...

Но от Алимджана он ответа не дождался, бригадира в одно мгновение сморил сон. Голова Алимджана упала на грудь, руки бессильно висели между коленями.

«Здорово же он устал, — как-то лениво подумал Иван Никитич. — А я вроде еще ничего, держусь. Крепкий, выходит, мужик-то. Вот докурю папиросу... А потом...» Голова его клонилась все ниже, ниже, папироса выскользнула из пальцев, веки закрылись сами собой...

Алимджану приснилась Айкиз.

Она читала какую-то книгу, очень знакомую, и Алимджан слышал ее голос, но не видел самой Айкиз, и все искал ее взглядом, и не мог найти, и недоумевал: где же она, ведь она должна быть рядом, раз он ее слышит.

А Айкиз сказала с упреком: «Я ведь для вас читаю, Алимджан-ака. А вы не слушаете, только головой крутите».

«Нет, я слушаю, слушаю», — торопливо заверил ее Алимджан и стал оглядываться уже украдкой: где все-таки она затаилась?

А она все читала, и слова были такие знакомые, о том, что самое ценное у человека — это жизнь и прожить ее надо так, чтоб, умирая, ты мог сказать: все силы я отдал борьбе за счастье человечества...

«Так это же «Как закалялась сталь!»!» — во сне подумал Алимджан и тут же увидел обложку книги, за которой и прятала лицо Айкиз. Он протянул руку, чтобы взять книгу и увидеть наконец Айкиз, но что-то тяжелое

палегло на него, он попытался высвободиться — и проснулся.

Крепкие руки Бекбуты тормозили его за плечи, и голос Бекбуты, радостный, восторженный, гремел, чудилось, на всю округу:

— Победа, Алимджан! Победа!

Отпустив Алимджана, уже открывшего глаза, Бекбута пустился перед ним в пляс, не переставая кричать:

— Победа! Победа!

Алимджан вскочил на ноги, за ним и Смирнов. Тут только они заметили, что Бекбута весь, с головы до пят, мокрый, а на лбу у него красуется большущий сник. — Кто это тебя? — спросил Алимджан, все еще ничего не понимая.

— Это он, Алимджан! Он!

— Кто он?

Бекбута через плечо ткнул большим пальцем в сторону Кокбулака, откуда доносился плещущий шум, и расхохотался:

— Понимаешь, ведь ему пришлось столько лет протомиться в плену! Под крепким запором! И когда его выпустили на свободу, он первым делом бросился на шею своему освободителю.

Алимджан на миг испугался: уж не задремал ли он снова и не снится ли ему все это? Он уже понимал, о чем идет речь, но известие было настолько ошеломляющее, что ему просто не верилось в свершившееся... На всякий случай он переспросил Бекбуту:

— О ком ты?

Бекбута, словно не расслышав вопроса, возбужденно, торжествующе продолжал:

— Он бросился и повалил меня на землю! Мы барахтались с ним в обнимку и оба ревели от радости!.. Он воп и сейчас ревет, слышишь? Пошли, пошли к нему!

Он потащил Алимджана к краю ямы, и только отсюда открылась бригадиру сказочная картина: сверкая на солнце, из гранитной скалы с ревом вырывался освобожденный Кокбулак. Вода его наполнила яму, мощным гудящим потоком помчалась мимо столпившихся колхозников к ущелью, по которому бежал Янгаксай.

Вместе с чистой родниковой водой из глубокого жерла в гранитной скале летели камни. Остатки войлока и бревна были вымыты в первую же минуту.



— Ой, молодец! — весело пробасил Суванкул. — Теперь он сам расчистит себе дорогу! Он уже пробивается к Янгаксаю!..

— Да, Кокбулак — богатырь, — поддержал товарища Бекбута. — Гляди, как кидается камнями. Он и всю дрянь сразу же вышвырнул вон. Так и надо! Вода Кокбулака должна быть чистой, как серебро.

Алимджан молча, зачарованно смотрел на живой хрусталь воды Кокбулака, сверкающей у его ног. Иван Никитич издали наблюдал за ним, хорошо представляя, что творилось в душе бригадира, потом подошел к нему, обнял за плечи, негромко проговорил:

— Видал, как он устремился к Янгаксаю — словно на встречу с другом, с которым был в долгой разлуке. Наверно, его воды уже докатились до Алтынсайской долины... За ним теперь не угнаться. — Он снова сжал плечи Алимджана. — Какие же вы все молодцы, бригадир!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Последний месяц весны подарил Алтынсайской долине, где уже сеяли хлопчатник, жаркие дни и теплые ночи, богарной земле с зеленеющей пшеницей — ветерок и прохладу, а крутым горным склонам — холодные утренние росы и свежую яркость запоздалых цветов.

Над предгорной степью полуденное небо дышало зноем. Трава под горячими лучами солнца пожухла, пожелтела.

Здесь пас колхозную отару брат Умурзака-ата, старый чабан Бабакул, к которому еще девчонкой бегала в горы Айкиз.

Зной был таким нестерпимым, что подпасок Джура и два ослика укрылись в спасительной тени столетнего карагача. Лишь сам Бабакул, все еще крепкий, как этот стешной карагач, стоял на солнцепеке и, опершись обеими руками на пастуший посох, смотрел вдаль, где раскинулись целинные земли. Там, как слышал старик, уже соорудили полевой стан, просторный, прохладный, со столами и скамейками, с огибающим этот стан журчащим арыком. Надо бы поглядеть на него. Вон Джура успел уже туда слетать. Но Бабакул стар, он дорожит временем, а ведь даже на то, чтобы проехать к целине на осле, и то

ушел бы чуть не целый день. И отару теперь туда не погонишь. Там будет расти хлопок — извечная мечта всех алтынсайцев, гордость республики.

Старик стоял долго, недвижимый как изваяние.

Вдали, у самой линии горизонта, показались тракторы, до Бабакула донесся шум моторов. Машины, повернув обратно, исчезли в солнечном мареве. А что им делать здесь, в безводной степи? Им любо пахать землю, уже распланированную, изрезанную арыками. Возможно, когда-нибудь они придут и сюда, распашут под хлопок и эту степь. Не все сразу...

Вдохнув, Бабакул оторвал взгляд от линии горизонта, перевел его на небо, потом осмотрелся вокруг.

Сколько видел он на своем веку чудесных весен, но нынешняя светлей, прекрасней всех!.. Никогда еще прежде жаворонки не разливались так звонко, и цикады, кузнечики не стрекотали с такой неутомимостью, всю орудя своими крохотными молоточками и пилками, и не порхали бабочки таких удивительных расцветок...

А может, все это уже было, и Бабакулу только кажется, будто он впервые видит и слышит весну?

Ах, хороша жизнь!.. И каждая новая весна краше прежней. И кто любит жизнь, тот с каждой новой весной чувствует себя помолодевшим.

Алимджан по новой полевой дороге шел к новому бригадному стану.

Распаханная земля простиралась до самого горизонта, и на душе было легко, отрадно. Справа и слева от дороги звенела вода в арыках, к ней клонились гибкие тополевые саженцы... Хорошо!.. Целина наконец поднята, в нее любовно зарыты белые семена в мягком пушке, зарыты неглубоко, чтобы они прогрелись в теплой земле под солнечными лучами. И скоро они прорастут нежными, изумрудными всходами. Хорошо, славно!..

Да, Алимджану было отчего радоваться. Расчистка родников закончена. Заодно алтынсайцы привели в порядок старый, дорогой для Айкиз родник Ширинбулак, самый близкий к кишлаку. Силами комсомольской бригады Керима расширен, углублен, дотянут до целины Янгаксайский арык. Правда, воды в нем все еще маловато, поэтому хлопок посеяли лишь в двух бригадах. Ни-

чего, зато будущей весной, когда достроят плотину и водохранилище, площади под хлопком солидно возрастут.

В общем, во всем полный порядок!

А вот Джурабаев, когда сегодня утром Алимджан был в райкоме, не похвалил его, а отчитал, да так крепко, что Алимджан растерялся и долго потом не мог прийти в себя.

Он ждал от секретаря райкома заслуженных поздравлений, а тот накинулся на него с сердитыми упреками:

— Я гляжу, победа над Кокбулаком вскружила тебе голову. Ты так увлекся борьбой за воду, что забыл о людях! А ведь забота о людях — первейший долг коммуниста!

— Что же я... упустил? — ошеломленно пробормотал Алимджан.

— А возьми хотя бы историю с Айкиз. Ты, как секретарь колхозной парторганизации, первый должен был прийти ей на помощь! Плохо, что ты не предупредил ее ошибку. Ладно, понимаю, занят был на участке. Но и после ее не поддержал. А ведь это первый серьезный промах в ее жизни, она тяжело его переживала... Кому же было помочь ей в эту трудную минуту, как не тебе?

— Я не видел ее... Она тогда на Кокбулак не заглядывала.

— А ты бы разыскал ее сам. Ведь слышал, наверно, что произошло?

— Я слишком поздно обо всем узнал.

— Потому что ничем не интересовался, кроме своего Кокбулака. Знаешь, как называется это на партийном языке? Бездушием, черствостью. Ну, пока это результат всего лишь некоторой беспечности. Но не позволяй укорениться в себе этим качествам. Больше всего этого бойся!.. Всегда помни, как Ильич относился к людям.

Да, в кабинете Джурабаева Алимджан растерялся. А сейчас понимал, что секретарь райкома был прав. И хотя Алимджан получил нагоняй, тяжести в сердце он не чувствовал. Конечно, ему было горько, что не он, а другие утешили, приободрили Айкиз в тяжкий для нее час. Но сама она почему-то на него не обижалась... И, вспоминая резкие слова секретаря райкома, Алимджан с улыбкой качал головой. Знал бы Джурабаев, что значит для него Айкиз! Уж тогда наверняка ему досталось

бы сильнее. Джурабаев сказал бы: «Если уж ты любимую бросил в беде, так что ждать от тебя другим?» И опять же был бы прав, хотя действительно Алимджан узнал о происшедшем с опозданием. Потому что охотился за тигром — добывал воду Кокбулака, ради нее же, ради Айкыз...

— Ладно, — проговорил он вслух, словно отвечая Джурабаеву. — Больше такого никогда не повторится.

Да, его святой долг всегда помнить о людях.

А об Айкыз он и не забывал ни на миг...

Позади послышались чьи-то шаги. Алимджан обернулся — его догонял Керим, колхозный комсорг и звеньевой.

— Алимджан-ака! — Керим совсем запыхался. — Ну и быстро же вы шагаете. Я уж бежал, бежал за вами...

— Мог бы давно окликнуть.

— А ничего, у меня ноги тоже быстрые.

— Ну, как дела в бригаде?

— Мое звено завершает сев. Другие комсомольские звенья тоже от нас не отстают.

— Молодцы. А откуда ты? Почему не в поле?

— Мне в вашу кузницу надо было сходить. Деталь одна вышла из строя, а ремонтная передвижка из МТС прибудет, говорят, только к вечеру. Да, Алимджан-ака, секретарь сельсовета передал для вас письмо. Он сказал, что вы в бригаду пошли. А к нему я по пути забежал, хотел взять сводку, но она еще не готова, он сам попозднее ее доставит.

Алимджан взял письмо, взглянул на конверт и почувствовал укор совести... Письмо было от фронтowego друга, Гриши Петрова. Уже второе за последнее время. А Алимджан не удосужился еще ответить на первое... Хорош друг!..

Он сунул письмо в карман, решив прочитать его после, когда останется один. А сейчас рядом шагал Керим и говорил без умолку... Керим был паренек горячий и бойкий на язык. Старики порой выговаривали ему: «Керим, известно, что язык — виновник всех бед человека». Керим не лез за словом в карман: «Нет, аксакалы, неправда, язык — это ключ к человеческим сердцам!» Парень, хоть и считали его излишне многословным, отличался и умом и находчивостью. А горячность свою умел переплавить в энергичность.

Ступая по мягкой пыли, он тараторил:

— Я все поверить не могу, Алимджан-ака, неужто все это мы сделали? За одну весну прямо горы своротили! Недаром говорится: нет на свете ничего, что не подчинилось бы труду, упорству и мужеству.

— Хорошие слова, Керим. Молодец!

— А это не мои, я их где-то вычитал.

— Хорошо, что именно их запомнил. Только вот еще что запомни: все, свершенное нами, — это лишь скромный наш вклад в общенародное дело. Ясно?

— Ясно.

— И что же тебе ясно?

— А то, что и дальше мы должны трудиться, не жалея сил. Упорней прежнего!

— Точно. Опять-таки — молодец.

— Э, какой я молодец... Вот вам я по-настоящему завидую! Еще бы: вы кровь пролили за родину. А это для мужчины — высшая награда. Это счастье! Вы счастливый, Алимджан-ака. Вам есть чем гордиться. Где вы только не воевали: освобождали Брест, Варшаву, брали Берлин! Да, Алимджан-ака, почему вы ордена не носите? Вам родина их дала, а вы не носите... — Не дождавшись ответа, Керим перевел дыхание, с сожалением добавил: — А мне вот нигде не удалось побывать...

— Ну, о том, что на войне не был, не жалею.

— А мне обидно!

Алимджан, усмехнувшись, легонько пожал ему руку выше локтя. И вспомнился ему далекий летний день на богаре, когда он сам с благоговейной завистью смотрел на затянувшиеся сизые рубцы, оставленные гражданской войной на теле Джурабаева.

— Ничего, Керим. Не горюй! И мирное время богато горячими делами. И это хорошо, что теперь родина будет отмечать наградами только тружеников, а не фронтовиков.

За разговором они и не заметили, как дошли до полевого стана. Алимджан одобрительно сказал:

— Порядок тут у вас.

— А как же!.. На наш стан и другие приходят поглядеть. Первый полевой стан на целине! Сегодня вон Джура прибегал, говорит, Бабакулу-ата тоже хочется сюда навеститься, да не репается он пуститься в дальний путь.

— А где сейчас его отара?

— Да во-он, видите верхушку карагача? Дерево-великан!.. Ему уже за сотню перевалило. Так Бабакул-ата там.

— Это же совсем недалеко.

— Для нас с вами недалеко. А ему на своем ишаке трястись да трястись.

— Тоже верно.

Полевой стан на освоенной земле, сколоченный из легких досок и фанеры, крытый шифером и выкрашенный в зеленый цвет, высился на холме и был виден издалека. Он выглядел удивительно нарядно и, словно райский уголок, манил к себе уставшего земледельца и притомившегося путника. Даже в знойный, душный полдень под крышей царила ласкающая прохлада, в помещении и на айване можно было вздремнуть на курпаче или циновке, выпить зеленого чая, почитать газеты.

А возле стана в хаузе, вырытом комсомольцами, плескалась родниковая вода. Вот этим-то ни один из других колхозных станов не мог похвалиться.

Вокруг хауза покачивались на ветру молодые саженцы, глядясь в прозрачную голубую воду.

Комсомольцы уже решили разбить за хаузом сад, и никто не сомневался, что так оно и будет.

Керим посидел немного у хауза, рядом с Алимджаном, все-таки не утерпевшим и распечатавшим письмо Григория, полюбовался, как льется, журчит вода, которую он черпал ладонями и сливал обратно, потом поднялся, с видимым сожалением сказал:

— Ну, я пошел, Алимджан-ака. До свидания.

— Иди, иди, — машинально отозвался Алимджан и даже головы не поднял — так был поглощен чтением.

Письмо было короткое, оно уместилось на страничке тетрадного листа и состояло из шуточных упреков: Алимджан, мол, или зазнался к потому молчит, или просто ленится черкнуть пару строк. У Алимджана от этих шуток щеки залило краской...

К письму была приложена фотография. Алимджан долго ее рассматривал, то поднося к самым глазам, то отводя руку подальше. Фотограф запечатлел семью Григория, и Алимджан внимательно вглядывался в лицо Вали, которая сидела на стуле и держала на коленях пухлого малыша, чем-то похожего на пушистого цыпленка. Сам Григорий стоял позади жены, положив руку ей

па плечо. Он был в своей старой солдатской гимнастерке, при всех боевых орденах и медалях.

Алимджану было стыдно за свою неаккуратность, и он решил немедленно ответить Григорию. Войдя в помещение полевого стана, он присел за стол, вырвал листок из большого блокнота и принялся за письмо. Оно получилось длинным. «А, ничего,— подумал Алимджан,— зато отчитался сразу во всем!» Он порылся в полевой сумке, ища конверт, но конверта там не оказалось. Алимджан начал было складывать исписанные листки в полевую сумку и вдруг вскочил со скамейки, забыв обо всем на свете: из-за фанерной стены до него донесся голос Айкиз, которая говорила кому-то:

— Вот приехала посмотреть новый бригадный стан. Все его так расхваливают...

Алимджан выбежал на айван, чуть не сбив с ног Айкиз.

— Ой, Алимджан-ака! — воскликнула она с испугом и радостью. — Так и ушибить недолго... Здравствуйте.

— Здравствуйте, Айкиз...

Взгляд ее упал на исписанные листки, которые Алимджан так и не успел упрятать в сумку и все еще держал в руках.

— Что это вы тут сочиняли?

Погодин, бригадир тракторной бригады, стоявший у Айкиз за спиной, приветственно махнул Алимджану рукой и направился к хаузу.

Алимджан протянул Айкиз листки:

— Это я Григорию писал письмо. Вот здесь свободное место осталось. Очень прошу вас, добавьте что-нибудь от себя. Хотя бы два-три слова. Григорий будет доволен...

— А вы не уговаривайте, Алимджан-ака, я и так с удовольствием напишу.

Она взяла последний листок письма, примостилась на скамеечке, быстро, не задумываясь, стала писать. Возвращая листок Алимджану, сказала:

— Прочтите.

Он так и впился глазами в аккуратные строчки: «Дорогой Григорий-ака! Вы, конечно, знаете, что означает слово «ака». Хотя лично я с вами еще не знакома, но считаю вас старшим братом. И пользуюсь счастливым случаем передать вам от себя самый искренний, дружеский привет. Прошу вас, передайте такой же сердечный привет Вале и поцелуйте вашего малыша. Айкиз».

Дочитав эту приписку, Алимджан покраснел от удовольствия, как мальчишка. Вытянув из конверта фотографию, он передал ее Айкиз:

— Вот поглядите, какие счастливые. Потому что — семья...

Почувствовав в его голосе укор, Айкиз тихо сказала:

— Не сердитесь на меня. Все будет хорошо, Алимджан-ака.

Некоторое время она разглядывала фотографию, потом отдала ее Алимджану, повернулась к хаузу. Там сидел на корточках Погодин; он черпал полными пригоршнями воду и, фыркая от наслаждения, плескал ее себе на лицо, на шею, на открытую грудь.

— Как все рады этой воде! — проговорила Айкиз.

Но Алимджан даже не взглянул на Погодина. Наклонившись над Айкиз, он шепнул:

— Айкиз... Я уже устал ждать. Когда же наконец мы будем вместе?

— А помните, что я однажды вам обещала?

— Что, Айкиз?

— Нет, повторять на стану. Вы должны это помнить!

Алимджан медленно проговорил:

— Когда я найду живую воду, за которой вы меня послали... Потом еще две недели.

— Вот видите, вы все отлично помните! Можете не продолжать.

Она, как уже было когда-то, прикрыла ему рот узкой ладонью, и опять он замер от счастья и с трудом подавил в себе желание схватить Айкиз за руку и прижать к губам ее тонкие, теплые пальцы. Айкиз поспешила отнять руку, а Алимджан взволнованно воскликнул:

— Но осталось меньше недели!

— Я знаю.

— Так надо готовиться...

— Потерпите еще немного, Алимджан-ака. А подарок к свадьбе вы мне уже сделали — самый прекрасный, самый дорогой!

— Кокбулак?

— Да.— Она показала рукой на хауз: — Ведь там и его вода, верно?

— Это подарок для всех. Для всего Алтынская!

— И для меня — тоже. О большем я не могла и мечтать.

Айкиз поднялась с места.

— Пойдемте к хаузу. А то Иван Борисыч выльет на себя всю воду.

Они подошли к Погодину. Тот поднял голову, вытер ладонью мокрое лицо.

— Уф! Душно становится. Не к дождю ли так парит?

— Нет, дождя вроде не должно быть,— сказал Алимджан.

— Да и ни к чему он! — с легким беспокойством воскликнула Айкиз. — Дождь сейчас только повредил бы посевам.

— Да, это уже лишняя влага,— подтвердил и Алимджан.

Погодин вдруг насторожился, в глазах у него мелькнула тревога:

— Опять, видно, с «НАТИ» что-то случилось. Пойду подлечу.

Айкиз и Алимджан с недоумением переглянулись: они-то ничего и не заметили.

Трактора работали далеко, и только чуткий слух опытного механика помог Погодину безошибочно определить, что мотор одного из тракторов, распахивавших целину, внезапно замолк, и это был самый ближний к полевому стану «НАТИ».

Погодин встал, взял с земли кожанку и фуражку; поднялись и Айкиз с Алимджаном.

— Мы с вами, — сказала Айкиз.

— Что у тебя стряслось? — еще издали закричал трактористу Погодин, размахисто шагая по свежей борозде. — Почему трактор остановился?

Тракторист и прицепщик, до этого копавшиеся возле плуга, вскочили на ноги.

— Ну, в чем дело?

Тракторист молча протянул Погодину большой, узловатый корень гребенщика.

— Ну и что ты хочешь этим сказать? — прогремел Погодин.

— Вот... гребенщик...

— Сам вижу, что гребенщик, нечего мне его подносить.

— Так ведь из-за него полетел лемех.

— Возможно. Только вы-то что тут спокойно сидите?

— А что нам делать?

— Давно надо было сбегать к трактористам, у которых есть запасные лемеха.

— К ним Суванкул пошел. Да вон он и сам! С лемехом! Погодин покачал головой.

— А вы, я гляжу, хороши гуси. Греетесь себе на солнышке, а чужой дядя вас обслуживает...

— Да что ты к нам прицепился? — обиделся тракторист. — Мы хотели сами пойти, а Суванкул оказался поблизости и вызвался припрести лемех. А мы тоже тут не бездельничали, болты раскручивали. Остаток-то старого лемеха надо с корпуса снять.

Запахавшийся Суванкул, приблизившись к ним, весело сказал:

— Что за шум, а драки нет? Получайте.

Тяжелый сверкающий лемех с глухим звоном упал на землю к ногам тракториста.

Тотчас Погодин и тракторист принялись прилаживать его к стальному корпусу пятилемешного плуга, а Суванкул, взяв валявшийся возле трактора кетмень, стал выкорчевывать перекрученный, словно трос, остаток корня, глубоко и прочно сидевший в земле.

Это был уже не первый случай, когда, наскочив на крепкий корень гребенщика или тамариска, плуги приходили в негодность. У каждого тракториста в кабине лежали кетмень или топор. И часто, завидев впереди большой куст, тракторист останавливал машину, спрыгивал на землю и с трудом вырубал толстый длинный корень.

Когда Суванкулу наконец удалось разделаться с упрямым корневищем, он выпрямился, хотел было рукавом рубашки вытереть пот со лба и тут только увидел Алимджана и Айкиз, молча стоявших рядом. Смутившись, он почтительно поздоровался, потом, так и забыв отереть пот, ткнул сапогом в обрубок корня:

— Видали гадюку? Если б не эти корни, тут бы вспашку еще вчера закончили. Мне тоже пришлось с ними повозиться.

— А на участке Бекбуты было много корней? — спросила Айкиз.

— Поменьше, чем у других. Но и там лемеха летели из-за таких вот загогулин.

Суванкул и Бекбута, вернувшись с Янгаксайской излучины, возглавили хлопкосеющие бригады. Вспашку

своих участков они завершили одновременно, теперь проводили сев. У Суванкула, однако, была душа тракториста, и он часто забредал туда, где еще поднимали целину. Особенно влекли его к себе мощные «НАТИ».

Подзадоривая Суванкула, Алимджан сказал:

— Ты соревнуешься с Бекбутой? Я думаю, первое место за ним. Хватка у него фронтовая, гвардейская.

— Ну, это мы еще посмотрим, — с ленивой усмешкой отозвался Суванкул. — Цыплят по осени считают.

Он прислушался к гулу тракторов, доносившемуся из-за холма, лицо его потемнело, глаза сузились, в них вспыхнул недобрый, ревнивый огонек. Обращаясь к Погодину, который все еще занимался плугом, Суванкул сердито проговорил:

— Послушай, что же это получается? Что получается, я спрашиваю?

Погодин повернул к нему голову, с недоумением посмотрел на него снизу вверх.

— Ты, значит, вместе с Бекбутой решил обвести меня вокруг пальца? — все более накаляясь, продолжал Суванкул. — Я же слышу, на его участке три «Универсала» работают. А на моем — два. Разве участок у него больше? Где справедливость? Когда люди соревнуются, всего у них должно быть поровну!

— Ты прямо как младенец, Суванкул. Если у меня всего пять «Универсалов», то как же я распределю их поровну? Пять вроде пополам не делится.

— Тогда дал бы ему два, а мне три.

— Ишь какой приткий! А разве это было бы по справедливости?

— Ну, тогда пусть три трактора работают то у него, то у меня.

— Вот это другое дело. Сегодня же я пришлю тебе еще один трактор. Тем более что к концу дня Бекбута обещал завершить сев.

Суванкул опять усмехнулся с какой-то снисходительной ленцой:

— Ну, это мы еще посмотрим.

Кажется, он снова вознамерился привести поговорку насчет цыплят, которых считают по осени, но в это время трактор, возле которого все теснились, взревел и двинулся вперед, увлекая за собой плуг.

Суванкул рванулся следом, он шел по борозде, от-

ливавшей черным глянцем, и время от времени нагибался, измеряя, видимо, глубину вспашки.

— Да, загорелся народ, — сказал Погодин. — Особенно эти двое усердствуют: Суванкул и Бекбута. Вчера Суванкул даже почевать домой не пошел, все бродил за тракторами, следил, как бы они не наделали огрехов. Он чуть не все участки взял под свою опеку.

— Всегда он был такой неповоротливый, — вставила Айкиз, — а теперь прямо не узнать парня.

Алимджан глянул на нее нежно, пристально.

— Тут не обошлось без вас, Айкиз. Это вы народ взбодоражили...

Айкиз покраснела.

— Как вы цеуклюже льстите, Алимджан-ака. Поверьте, вам это не идет.

— Льстить я действительно не умею. Но это не лесть. Я искренне говорю: люди загорелись, потому что вы их зажгли...

Айкиз, начиная сердиться, сверкнула на него черными глазами:

— А вы? А Джурабаев? А Смирнов? Не надо умалять ничьих заслуг. А самые добрые слова заслужили сами алтынсайцы, такие вот энтузиасты, как Суванкул и Бекбута!

— Не спорьте, друзья, — примирительно предложил Погодин. — Пойдемте лучше поглядим, как идут дела у Бекбуты.

Он широко зашагал напрямик через вспаханное поле, на ходу обернулся, шутливо крикнул приотставшим спутникам:

— Поживей, друзья! За мной! Негоже руководству плестись в хвосте!

Алимджан в это время нагнулся, взял горсть земли и стал мять ее в ладонях, разглядывать, даже поднес землю к самому носу. Все это он проделывал, не убавляя шага, и, когда нагнал Погодина, тот, посмеиваясь, произнес:

— Осталось землицу только на вкус попробовать, а, Алимджан?

Алимджан сбросил с ладони землю, вытер руку о гимнастерку. Погодин уже серьезно добавил:

— А земля и правда удивительная. Даже запах особый. Сколько лет на тракторе работаю, а такой земли еще не встречал. Даром пропадало бесценное сокровище!..

— Теперь у него нашелся хозяин! — горячо откликнулась Айкиз. — Я уверена, мы будем снимать здесь добрые урожаи. Ведь испокон веку эту землю ничем не засеивали, она не знала ни омача, ни кетменя. Такая почва, богатая азотистыми веществами, очень плодородна! — В Айкиз уже заговорил агроном. — И если мы приложим все силы и знания, то получим хлопка куда больше, чем намечено в плане.

— Это вы правильно подчеркнули, Айкиз: без знаний тут не обойтись, — одобрительно заметил Алимджан.

Они шли по еще не распаханной земле, поросшей гребенщиком, дикими каперсами, цветущим маком. Эта пока не освоенная полоса целины тянулась посреди черных пашен длинной ало-зеленой лентой и становилась все уже и уже: с обеих сторон ее словно обкусывали «НАТИ». «Пройдет еще немного времени, — с удовлетворением думала Айкиз, — исчезнет и эта последняя целинная межа».

По мягкой пашне во владениях Бекбута бодро шныряли три юрких «Универсала», закладывая в землю семена хлопчатника.

— Смотрите, кто сидит на ближней сеялке, — сказал Погодин. — Узнаете?

— Кажется, Бекбута, — предположила Айкиз, вглядываясь из-под ладони в фигуру человека на сеялке, которую тащил трактор. — Угадала?

— Да, это именно он.

Они подошли поближе, так, что уже можно было различить лицо бригадира, покрытое пылью, усталое, счастливое. Бекбута, улыбаясь, поднял в приветствии руку, что-то прокричал, но рокот трактора заглушал его голос. В ответ все трое тоже помахали ему руками. Алимджан с каким-то добрым удивлением проговорил:

— И этот радуется, как ребенок!..

— Еще бы ему не радоваться, — сказал Погодин. — Ведь уже заканчивает сев. Пожалуй, он и правда обгонит Суванкула.

— Ну, — усомнилась Айкиз, — Суванкул не из тех, кто позволит себя опередить. Хотя у него только два «Универсала»...

Они были так увлечены разговором и возбуждены, что даже не заметили, как к ним верхом на коне подъехал секретарь сельсовета. Увидев его уже рядом с собой, Айкиз удивленно воскликнула:



— Рахмат-ака! Вы как здесь очутились? Свалились с неба или появились из-под земли?

Рахмат, словно боясь растрясти свой ранний жирок, не спеша слез с коня, поздоровался со всеми, произнес, обращаясь к Айкиз:

— Еле разыскал вас, товарищ Умурзакова. Был и на стройплощадке, и в бригадном стане. Уж очень обширное у вас рабочее место: от богары до Кызылкумов!.. Тут вот кое-что подписать надо...

Он протянул Айкиз пачку бумаг, она внимательно просмотрела их, порой справляясь о чем-то у Рахмата, вернула ему уже подписанные листки; секретарь с прежней неторопливостью взобрался на коня и затрусил по пераспаханной полосе.

Алимджан и Айкиз решили навеститься на плотину, Погодин остался в поле.

Алимджан молча шагал рядом с Айкиз, потом, не поворачивая к ней головы, спросил:

— Айкиз... а как на все смотрит Умурзак-ата?

— На что на «все»?

— Ну.... сами понимаете. Может, мне следует уже поговорить с ним?

Айкиз потупилась; казалось, она с интересом разглядывала свой сапожок, к которому пристала черная земля.

— Так как, Айкиз? Умурзак-ата не будет противиться нашей свадьбе?

— По-моему... нет. Отец потерял в эту войну обоих сыновей... Алишера и Тимура... Вы будете ему вместо сына. Он скучает, когда долго вас не видит. Он любит вас.

В напряженные дни сева хлопчатника Погодин, чтобы дать возможность трактористам отдохнуть, часто сам садился за руль трактора.

Вот и теперь, застряв на участке Бекбуты, он приметил, как у молодого водителя «Универсала» голова клонится на грудь, а руки то и дело соскальзывают с баранки. Чертыхнувшись, Погодин кинулся к трактору, чуть не силой стащил с него совсем сонного паренька, велел ему вздремнуть, а сам, сменив тракториста, часов пять колесил по вспаханному полю, засевая последние борозды.

Наконец он вывел трактор на зеленую кромку еще не поднятой целины, заглушил мотор и несколько минут сидел не двигаясь, наслаждаясь наступившей тишиной. А перед его глазами качалось, плыло раздольное, засеянное хлопчатником поле, и вместе со смертельной усталостью он чувствовал успокоительную радость... Закинув руки за голову, он потянулся, не вставая с места, произнес вслух:

— Все-таки справились!..

Наверное, и сеяльщик, совсем еще мальчишка, испытывал подобное же чувство, он тоже не покидал сеялки, и какое-то блаженство было написано на его утомленном лице.

Вокруг лежала земля, распаханная, разбуженная человеком. Земля, древняя, как сам мир. Древняя и в то же время неузнаваемо помолодевшая, преображенная человеческим трудом. Люди свершили чудо: превратили дикую, истомленную жаждой, заросшую травами и кустарником целинную степь в плодородную пашню, деле-

ющую белые семена, в которых таится будущее богатство колхозов.

И даже самые близкие соседи целины — высокие горы с заснеженными вершинами, гордые, сияющие вечно юной, чистой красотой, — словно бы утратили что-то на фоне необозримых просторов земли, возделанной человеком, теперь уже не спящей, а молодо бодрствующей, готовой исполнить отрядный долг перед людьми — сотворить «белое золото».

Спрыгнув наконец с трактора, Погодин сказал:

— Здорово!..

Сеяльщик, тотчас очутившийся рядом, переспросил:

— Вы о чем, Иван Борисыч?

— Здорово, говорю, люди тут поработали.

— И мы?

— А как же. И мы с тобой тоже. Молодцы мы, а?

Погодин принялся осматривать трактор, постукивая гаечным ключом то там, то тут, ощупывая взглядом колеса, радиатор. Сеяльщик, следивший за его действиями, широко улыбнулся:

— Вы его обследуете, как врач допризывника.

— Допризывника, говоришь? Нет, братец, это солдат.

Паренек, сбив тубетейку на лоб, потер ладонью затылок, словно раздумывая над словами Погодина, и с восхищением воззрился на трактор.

Понимающе прищурившись, Погодин спросил:

— А ты, наверное, хочешь быть трактористом?

— Еще как хочу!

— Тогда запомни первую заповедь механизатора: трактор надо любить — ну, как танкист любит свою машину. Ведь танк — его надежное боевое оружие. Ясно? Хотя ты ведь еще не служил в армии.

— Скоро призовут.

— Тогда скажу проще... Ты коней любишь?

— Ага.

— Так вот, трактор нуждается в еще более тщательном уходе, чем конь. Он вроде как живой. Его надо беречь, холить. Вовремя смазать, почистить, подремонтировать, заправить горючим. И если машина почувствует твою заботу и ласку, то она тебя никогда не подведет. Да, да, машине нужна человеческая ласка, только в руках рачительного хозяина она работает безотказно. Вот если запомнишь и будешь выполнять все, что я тебе ска-

зал, то из тебя выйдет не просто тракторист, а мастер своего дела, герой, покоритель полей!

Погодин положил руку с зажатым в ней гаечным ключом на плечо сеяльщику, тепло проговорил:

— Ладно, иди-ка отдохни.

— А вы, Иван Борисович? Вы устали не меньше меня...

— Иди, иди.

Погодин бросил гаечный ключ в ящик с инструментом, стоявший на траве возле тракторного колеса, взял свою кожаную тужурку, которую во время работы пристроил около сиденья, перекинул ее через плечо и направился к Холму рабов, чтобы освежиться прохладной водой родника.

Все сейчас радовало его взор: и солнце, которое уже спускалось к горизонту, и горы, подпиравшие небо сахарно-белыми, искристыми вершинами, и густая трава под ногами, вся в мелких и крупных цветах, и зеленая, величинной с молодой тополевым листок бабочка, присевшая на ромашку...

Еще недавно он и не замечал всей этой красоты, которую щедро дарила человеку природа. Им владела только одна забота — поскорей управиться с посевной.

Теперь посевная позади, и можно немножко передохнуть, позволить и зрению и слуху неторопко насладиться окружающей природой.

Правда, посевная — это всего лишь начальный этап долгой дехканской страды. Скоро на смену сеялкам надо будет выводить на поля культиваторы, окучники, опрыскиватели, а там, глядишь, надвинется и пора уборки урожая.

Уже этой осенью в колхозе будет работать хлопкоуборочная машина. И ему, Погодину, это прибавит новых хлопот: нужно срочно готовить водителей.

Так, размышляя над тем, что предстояло ему сделать, поглядывая на желтых лупоглазых стрекоз, гонявшихся друг за другом, прислушиваясь к звонкой песне жаворонка, повисшего высоко в небе, к дробному речитативу щурков, прятавшихся в густом кустарнике, Погодин и не заметил, как дошел до Холма рабов.

Вот он, родник Айкиз... Пожалуй, он правда заслуживает такого названия. Кто знал о нем два месяца назад? Он тогда пробивался на волю сквозь ил слабой, почти безжизненной стружкой. Айкиз первая обратила

на него внимание, по существу, «открыла» его, и теперь он тоже очищен, вызволен из темницы, в которую загнал его ишан Кабулходжа, и, вырываясь из голубой чаши, журчит победно и весело, — кажется, будто это гремят, звенят тугие бубны с бубенцами на чьей-то свадьбе. Течение его такое быстрое, словно он торопится влиться в Янгаксайский арык, а потом по ок-арыкам и бороздкам выбежать на колхозные поля.

На краю прозрачного озерца большой серый камень отбрасывал на воду колеблющуюся тень.

Тут, у этого камня, и осенила Айкиз смелая мысль: расчистить и этот и другие родники, затерявшиеся в горах, и, собрав в реках всю их воду, оросить целинную предгорную степь.

Поистине — великое начинается с малого. От зачашшего родника возле Холма рабов как бы потянулась крохотная узкая тропка, которая вывела Алтынсай на широкую дорогу, устремленную в солнечные дали.

Вон какую благодать сотворили люди за одну весну!.. Алтынсайский массив почти весь распахан, часть его засеяна хлопком. Найден и возвращен народу могучий Кокбулак. Строятся плотина и водохранилище...

Сама Айкиз, наверно, не ожидала, какой поток родит открытый ею родник и в какое плодоносное дерево вымахнет росток ее дерзкой идеи...

Все-таки молодец Айкиз!

Погодин швырнул на камень свою кожанку, как привык швырять ее на трактор, сказал сам себе:

— Вот сейчас напьюсь родниковой водички, умоюсь да завалюсь прямо тут на траву и задам храпака...

Только он нагнулся над озерцом, собираясь утолить жажду, как ему почудился легкий шум за спиной. Он хотел было обернуться, но глянул на зыбкую гладь озерца и замер, не веря своим глазам. Рядом с отражением камня он увидел еще одно — белое, как облачко. Облачко это, чуть дрожащее, словно венчало собой камень. С минутой Погодин с непонятным волнением всматривался в светлую тень на глади озерца, потом неуверенно произнес:

— Лола?!

Ответа он не услышал, и тень на воде не шелхнулась.

Погодин пристальней взгляделся в белое облачко и сказал весело:

— Нет, Лола, это все-таки вы! А ну, выходите из-за камня! Я ведь даже вижу, как вы улыбаетесь.

Лола продолжала хранить молчание, но отражение ее чуть качнулось на воде, и Погодин, следя за этим отражением, заговорил тоном факира, угадывающего мысли на расстоянии:

— Вот... Вы поправили на голове тубетейку. А теперь зачем-то теребите свою косу. И губу прикусили, чтоб не рассмеяться...

Он наконец встал, повернулся к Лоле — она все еще пряталась за камнем и действительно еле сдерживала смех.

Лола для Погодина всегда была просто сестрой Алимджана. Он порой встречал ее на улице, в правлении колхоза или в поле, они вскользь обменивались несколькими обычными, ничего не значащими фразами, этим их отношения и ограничивались.

Но однажды, когда Погодин, прощаясь с Лолой, пожал ей руку, он заметил, как у нее вдруг зарделись щеки. Он и сам почему-то смутился, поспешно, словно обжегшись, выпустил ее ладошь из своей, но после этого целый день пребывал в каком-то отрешенном состоянии, не мог ни на чем сосредоточиться, и сердце его билось непривычно часто, беспокойно, как зашавивший мотор трактора...

Лола, не выходя из-за камня, кивнула головой на озеро:

— Иван Борисыч, как по-вашему, на что похожа тень на воде?

Погодин смешался — так неожиданно прозвучал этот вопрос — и, не придумав ничего лучшего, пробормотал:

— На облачко... На легкое белое облачко.

— На облачко? Тень от камня — на облачко?

— Нет... То есть... — Погодин совсем растерялся. — Я про другую тень. Вон то отражение — видите? Разве не напоминает оно белое облачко?

Теперь уже настала очередь смутиться Лоле.

— Так это... мое отражение...

— Я о нем и говорю.

Лола, видно, чувствовала себя целовко; покраснев, она сказала:

— А я вас спрашивала про тень от камня.— Она с трудом придала своему голосу беспечность.— Вот подумайте, на что она похожа?

Погодин пожал плечами:

— Ну... на верблюда?

— Немножко — да. А еще больше на африканского носорога. Ведь правда?

— А верно — вылитый носорог!

— Я его на картинках видела.

— Ну, с живым-то носорогом я тоже не встречался. Некоторое время оба молчали, потом Лола спросила:

— Я слышала, Иван Борисыч, вы уже закончили сев?

— Вот только-только.

— Значит, вас можно поздравить?

Погодин немного подумал, в глазах его мелькнула лукавинка, он решительно проговорил:

— От вас, Лола, я приму поздравление с особым удовольствием.

— Тогда... поздравляю. От всей души!

Погодин покачал головою:

— Э, нет! Так не поздравляют.

— А как же надо?

— Надо подойти к тому, кого вы хотите поздравить, руку ему пожать...

Лола, вместо того чтобы приблизиться к Погодину, подалась назад.

— Зачем же... подходить?

— Я же сказал: чтоб пожать руку.

Видя озадаченность Лолы, Погодин сам шагнул к ней.

— И вообще мы с вами еще и не поздоровались.— Он протянул ей ладонь: — Здравствуйте, Лола!

Лоле ничего не оставалось, как вложить в его сильную руку свою маленькую ладошку и ответить на приветствие:

— Здравствуйте, Иван Борисыч. Поздравляю вас от всего сердца!

— Вот это другое дело. Э, что же вы руку-то спешите убрать? Я тоже должен вас поздравить.

— Меня-то с чем?

— Так ведь освоение целины — наше общее дело. В него каждый внес свой вклад, так что и завершение сева — это успех каждого... С успехом вас, Лола!

Только после этой тирады Погодин отпустил руку девушки. Выдержав паузу, она спросила:

— Вы, наверно, пришли сюда отдохнуть, освежиться родниковой водой?

— Разве я не заслужил хоть короткой передышки?

— Ой, что вы!.. Вы ведь сутками работали... Отдыхайте. А я пойду, не буду вам мешать.

Погодин даже побледнел от одной мысли, что Лола сейчас его покинет.

— Нет, не уходите! Беседовать с вами — это для меня лучший отдых! То, что вы тут, такая счастливая неожиданность...

Лоле вовсе и не хотелось уходить, она покорно кивнула:

— Ладно, я останусь. Вы пока умывайтесь, не обращайтесь на меня внимания.

Но Погодин не отрывал от нее взгляда. Никогда прежде он не видел так близко ее лица, мягко-округлого, с нежным румянцем на полных щеках, с большими черными, как уголь, глазами с искорками смеха в глубине, с полумесяцами-бровями, густо подведенными усьмой... А пухлые губы влекли своей свежестью, нетронутостью...

Или прежде Погодин просто не замечал, как красива Лола?

Лолу и радовало и тяготило, что Погодин, которого уважали все в Алтынсае, сильный, хотя чуть неуклюжий, совсем взрослый, так смотрит на нее. Она повернулась к нему спиной:

— Умывайтесь же.

Погодин, словно очнувшись от сладкого сна, с боязнью спросил:

— А вы правда не уйдете?

— Я же сказала — нет...

К своему собственному удивлению, Иван Борисович чувствовал, что готов исполнить все, что бы ни приказала ему Лола. Присев над водой, он стал усердно мыть, тереть песком ладони и пальцы, в которые вьелся мазут. «Ну и грязные у меня лапищи, — подумал он с запоздалым раскаянием. — Как это только Лола... не побрезговала моим рукопожатием... Медведь я все-таки, прямо медведь!» Но тут же мысли его приняли другое направление. Вот он смое с себя грязь и усталость и продолжит беседу с Лолой. О чем же с ней говорить, что рассказать ей, про

что спросить?.. Не посвящать же ее в свои производственные заботы! Смешно, если он начнет вдруг жаловаться на то, что вот тракторам нужен профилактический ремонт, а МТС по чьей-то халатности или преступному равнодушию осталась без запчастей, без свинца и баббита... Его-то все это сейчас больше всего волнует, да разве Лоле интересно слушать про какие-то запчасти к тракторам.

Растирая руки желтым, наждачно-жестким песком, Погодин, не оборачиваясь, спросил:

— Лола, как Халим-бобо поживает?

— Трудится. Сегодня мы целый день с саженцами возились. Разбивали на целине новый сад.

— Что сажали?

— Яблони, абрикосы, персики, кашмирскую черешню. Сейчас все садоводы разошлись, Халим-бобо тоже пошел домой отдохнуть, а мне захотелось поглядеть на родник... Это ведь родник Айкиз.

Погодин вздрогнул, поразившись тому, как совпали желания и мысли его и Лолы. Сама судьба свела их у этого родника!..

А Лола продолжала:

— Я люблю здесь бывать. И всегда думаю об Айкизе... Ох, если бы быть хоть чуточку на нее похожей! Она и умная, и смелая, и красивая...

— Ну... — Погодин замаялся, а потом, неожиданно для самого себя, брякнул: — В Алтынсае есть девушки и покрасивей Айкиз!

Лола сделала вид, будто не поняла, кого подразумевает Иван Борисович. Ее брови сердито сдвинулись.

— Не спорьте со мной, Иван Борисыч, я Айкиз давно знаю. Я и раньше, еще в школе, во всем старалась ей подражать. Лучше ее никого нет!

Погодин, глядясь в воду, как в зеркало, и причесывая волосы, спросил:

— А что вы скажете об Алимджане?

— Он ведь мой брат, мне трудно о нем говорить. А почему вы вдруг о нем?

— Потому что Айкиз и Алимджан, по-моему, чудесная пара! — Погодин, успевший привести себя в порядок, уже снова стоял возле Лолы, но косился на нее теперь украдкой. — Знаете, кого напоминает мне ваш брат? Молодой крепкий дубок.

— А Айкиз — стройная, тонкая чинара, да? — подхватила Лола. — Ой, подождите меня, я сейчас...

Она побежала вдоль ручья, вытекающего из озера, по направлению к целине. Ее фигурка в белом легком платье, все уменьшаясь, исчезала вдаль, а Погодин все смотрел и смотрел в ту сторону, где растаяло белое облачко. Не прошло и минуты, как оно снова зареяло над землей, словно это действительно было облако, летевшее по воздуху. Оно быстро приближалось, и вскоре Лола с двумя саженцами и лопатой в руках опять очутилась возле Погодина, запыхавшаяся, улыбающаяся, довольная.

— Иван Борисыч! Видите — вот это дубок. А это чинара. Они от посадок остались. Я все думала, какое бы место получше для них найти. А когда вы сказали про Алимджана и Айкиз... Вот, пусть растут рядом, у родника Айкиз. Берите лопату, копайте вот тут, поближе к воде.

Она уже приказывала Погодину, а Ивана Борисовича это только радовало. Он вонзил лопату в землю, а Лола внезапно спросила:

— Иван Борисыч, а вы думаете учиться дальше?

— Поздновато уже, — сказал Погодин, орудуя лопатой. — Танковое-то училище я когда закончил...

— Что вы, вы еще молодой!

— Спасибо, Лола. — Погодин засмеялся. — Я обмозгую вашу идею.

— А я обязательно буду учиться! Хотя тоже немного опоздала — все помогала Халим-бобо. И знаете, куда я хочу поступить?

— В сельскохозяйственный, как Айкиз?

— Да, на факультет садоводства и виноградарства. Я хочу быть садоводом-селекционером, продолжать дело Мичуриша.

«Какая она все-таки еще юная, — с легкой завистью подумал Погодин. — И все у нее впереди! Зачем ей такой медвежище, как я?»

Чтобы заглушить чувство грусти, он еще энергичней заработал лопатой.

Он не видел, каким ласковым, любовным взглядом смотрела на него Лола.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Всю ночь в горах грохотал гром: казалось, сказочный див-великан ворочал горами, сшибая их друг с другом, обрушивая в ущелья...

Алтынсайцы с тревогой прислушивались к тяжким, гулким раскатам. Умурзак-ата несколько раз за ночь поднимался с постели, распахивал окно, высовывал наружу руку: не пришла ли и сюда, в долину, гроза с ливнем или, того хуже, с градом? Не дай-то бог — ведь на полях уже зазеленели первые всходы хлопчатника.

Но ладонь оставалась сухой, и старик ненадолго успокаивался.

Рассвет над Алтынсаем занялся серый, хмурый. Перевалив горные хребты, по небу медленно ползли грязно-черные тучи. Раза два сквозь них проглянуло солнце и тут же снова скрылось, словно его поглотила надвигавшаяся гроза. Вскоре поднялся ветер, он сразу же набрал силу, бешено заметался над долиной Алтынсая, раскачивая верхушки могучих карагачей, клоня к самой земле неокрепшие саженцы в колхозных садах, ломая ветви на тополях, взметая пыль на улицах.

Алимджан, который, как и Умурзак-ата, почти не спал в эту ночь, утром встал с тяжелой головой, подойдя к закрытому окну, долго, насупившись, смотрел на улицу.

И откуда только взялся этот проклятый ураган? Еще вчера был такой погожий денек: ни ветерка, ни облачка. Правда, под вечер, когда Алимджан и Кадыров осматривали хлопковые поля, они обратили внимание на закат: солнце было грузное, багровое, и космы туч над горизонтом были окрашены в багровый цвет. Закат походил на пожар, бушевавший на сильном ветру.

Алимджана, правда, это не особенно насторожило, оглядывая поле, он сказал председателю:

— Завтра, пожалуй, можно приступить к прореживанию. Уже видно, какой росток хплый, а какой потянется к солнцу.

— Не знаю, не знаю, — с сомнением покачал головой Кадыров. — Ты погляди-ка на закат.

— А что, надо ветра ждать?

— Ладно бы только ветра. Это еще полбеды. Как бы погода не преподнесла нам что-нибудь пострашнее.

— В таких случаях, — Алимджан улыбнулся как можно мягче, чтобы своей шуткой не обидеть Кадырова, — мой фронтовой дружок Григорий Петров говорил: «Ти-пун тебе на язык».

И теперь, стоя у окна, он угрюмо думал: «Прав оказался председатель. Накаркал...»

Воздух за окном казался каким-то тяжелым, мертвым. Все птицы, чуя непогоду, попрятались кто куда: ласточки — в свои теплые гнезда, воробьи — под стрехи крыш.

Алимджан без аппетита позавтракал, задумался: отправиться ли ему сразу в поле или сперва зайти за Айкиз? Если она, конечно, дома...

Повод повидаться с ней у него был...

Вчера областная газета опубликовала очерк об алтынсайских колхозах, добившихся больших успехов в освоении целины, о коммунистах этих колхозов, поднявших народ на борьбу с безводьем, о продолжающемся строительстве плотины и водохранилища. Очерк — интересный, красочный, с живыми наблюдениями — понравился Алимджану. Он признавал силу печатного слова — разумеется, яркого, идущего из души. Такое слово, как считал Алимджан, способно зажечь людей, повести их на подвиг. Сам он внимательно просматривал газеты, старался читать побольше книг, это помогало ему в партийной работе.

В очерке немало добрых слов было сказано и по адресу Айкиз: автор писал о ней как об умелом организаторе, настоящем вожаке, постоянно думающем о благе народа и потому-то и выступившем с благодатным предложением — найти, добыть воду и освоить Алтынсайский массив.

Газету с очерком колхозный почтальон наверняка уже доставил в дом Умурзака-ата. Но старик малограмотен, да и зрение ослабело, вряд ли он сможет разобрать мелкий шрифт. Сама же Айкиз, если даже она дома, не стала бы читать отцу очерк, в котором ее же хвалят.

Что ж, значит, он, Алимджан, должен познакомить Умурзака-ата с газетным материалом, порадовать старика...

А еще Алимджану надо было выяснить, почему Айкиз последнее время ведет себя непонятно. Вот уже больше недели она не появлялась дома, не показывалась на полях

колхоза «Кызыл юлдуз». И на строительстве плотины Алимджану никак не удавалось ее застать. Правда, у нее хватало и других дел. Как председатель сельсовета, опекающий большую территорию, она обязана была интересоваться положением в соседних колхозах, навещать чабанов, наблюдать за ходом полевых работ на богарных землях, — она ведь будущий агроном.

Все же обидно, что она словно позабыла о родном колхозе. Ведь «Кызыл юлдуз» закончил сев, и на всех освоенных участках начали уже пробиваться дружные всходы хлопчатника. Неужели это ее не волнует?

А может, она просто не хочет встречаться с ним, с Алимджаном? Ведь его-то она легко могла бы разыскать. Если бы соскучилась, так они давно бы уже повидались. Выходит — не скучает... Это он тут извелся за долгие, тянущиеся, как вечность, дни разлуки. А ей хоть бы что!

Да полно, любит ли она его вообще? Разве это любовь, если нет желания увидеться, поговорить с любимым? А сроки, которые она ему назначала? Он-то хорошо помнит ее слова: вот добудете живую воду Кокбулака, потом минет еще две недели... И тогда — свадьба. Две недели уже прошли. А Айкиз пропадает где-то. Вот и получается, что она только смеется над ним, ей доставляет удовольствие водить его за нос... «Айкиз, Айкиз!.. Знала бы ты, как велика моя любовь!.. Как я хочу, чтобы мы наконец были вместе. Всегда вместе, на всю жизнь!..»

Его истомило ожидание... Сколько же можно ждать? Нет, надо добиться от Айкиз определенного, твердого, окончательного ответа!..

С этими мыслями Алимджап вышел из дома.

Ветер чуть не сбил его с ног. Ох, сколько бед успел уже натворить ураган!.. Какой крепкий тополь высился возле двора Бекбуты — и гляди ты, переломлен пополам, словно снарядом срезан. Ну и силища!

Почти у каждой калитки стояли колхозники, с тревогой смотрели в сторону хлопковых полей. Да, их беспокоила судьба первых всходов хлопчатника...

И ему, Алимджану, надо бы прежде всего беспокоиться о хлопке, а не разбираться в своих отношениях с Айкиз. Нашел время для обид и подозрений!..

Но ведь он с ней и правда не виделся целый век. Страшно подумать — неделю, семь дней, почти две сот-

ни часов... С той поры, когда они ходили вместе с По-годиным по участкам Суванкула и Бекбуты и Айкиз, прощаясь с Алимджаном, сказала, что Умурзак-ата любит его и скучает без него и Алимджан будет ему вместо сына...

Что же она — лгала ему? Нет, Айкиз не умеет ни лгать, ни притворяться. И все его подозрения — чушь, вздор. Если бы она его не любила, то не посылала бы на фронт письма, в которых каждая строчка дышала девичьей чистотой и нежностью, не страшилась бы так, что он может погибнуть и не вернуться в кишлак, и не признавалась бы в этих письмах, робко, но и откровенно, что живет мечтой о скорой встрече... Хотя Алимджан и знал письма Айкиз наизусть, но до сих пор перечитывал их, затаив дыхание... А первые их свидания на родной алтынсайской земле, под цветущим миндальным деревцем?.. Правда, в последнее время они встречались реже и больше говорили о делах, чем о любви, — так ведь и забот у каждого было сверх головы. И к чему слова? Айкиз не из тех, кто способен изменить первому чувству или несерьезно к нему отнестись.

Очутившись перед калиткой, ведущей во двор Айкиз, Алимджан взялся за кольцо и с минуту стоял не шевелясь, прислушиваясь к частому, взволнованному биению сердца...

Почему каждый раз, задерживаясь перед этой калиткой, он волнуется, как мальчишка, и сердце то сжимается, то начинает бешено колотиться в груди?

И в мыслях — полная сумятица... А дома ли Айкиз? А как она его встретит, что ему скажет?

Уж пора бы, кажется, научиться сдержанности, да никак ему это не удается, сердце не подчиняется приказам разума.

Алимджан посмотрел на кольцо, за которое держался... Это было плоское железное кольцо, выкованное для Умурзака-ата молодым колхозным кузнецом Юлдашем, со следами вмятин от молотка. Алимджану знакома была каждая вмятина; однажды, не решаясь войти во двор, он даже пересчитал их. За это кольцо часто бралась и Айкиз — оно словно хранило тепло ее пальцев...

Нет, сейчас оно было холодное, — ветер остудил все вокруг. Алимджан чувствовал, как тугие его волны бьют ему в спину.

Дернув за кольцо, он открыл калитку, и для него словно солнце взошло: Айкиз дома!

Держа под уздцы Байчибара, она разговаривала с отцом. Алимджан подошел к ним, лицо его сияло:

— Здравствуйте, пропащая!.. Здравствуйте, Умурзак-ата.

Айкиз, торопливо ответив на приветствие, сказала озабоченным тоном:

— Вы очень кстати, Алимджан-ака. Я как раз собиралась заехать за вами. Видите, что творится? — она показала рукой на небо, уже сплошь затянутое свинцово-тяжелыми, холодными тучами.

— Да, погода какая-то угрожающая... Как будто на тебя идут вражеские полчища. Но на фронте я оборонялся от врага, шел на него в атаку. А тут, когда на тебя обрушивается стихия, как, каким оружием с ней биться?

— Не отчаивайтесь, дети мои, — сказал Умурзак-ата. — Может, еще пронесет...

— А если нет? Что тогда делать? Самое страшное — это ощущение собственного бессилия. Ведь для всходов сейчас опасны и ветер, и дождь, и град, а нам остается только глядеть на небо да гадать: пронесет — не пронесет... Вот вам и цари природы.

— Не расстраивайся, сынок, делу этим не поможешь. Пройдемте-ка лучше в дом, я вас чаем напою.

— Сейчас, только Байчибара отведу, — сказала Айкиз.

Алимджан с готовностью вызвался ей помочь, они препроводили Байчибара в сарай, держа его с обеих сторон под уздцы; конь вышагивал, высоко вскинув голову, словно гордясь оказанной ему честью.

Пока Айкиз разнуздывала Байчибара, разглаживала ладонью черную волнистую гриву, ворошила сухой клевер в колоде, пододвигая его поближе к коню, Алимджан все пытался заглянуть ей в лицо, но Айкиз избегала его взгляда, и Алимджану казалось, что она делает это умышленно. Она просто не хотела на него смотреть. Это и пугало, и сердило его; он проговорил, скрывая за полушутливым тоном тревогу и досаду:

— Нехорошо, нехорошо, Айкиз. Совсем вы нас забросили.

— Мое отсутствие было так заметно?

— Еще бы! Ведь целая неделя прошла, как вы исчезли куда-то.

— Неделя?! Как быстро время летит!..

— Для меня оно ползло, как черепаха... Впрочем, дело не во мне. Про родной-то колхоз грешно забывать.

— А в колхозе какие-нибудь неурядицы? Что-то не ладится?

— Как раз наоборот, за нас-то вам не пришлось бы краснеть, дела у нас идут отлично.

— А я в этом и не сомневалась. Потому и не докучала вам.

Алимджан, которого успокоил искренний, доброжелательный тон Айкиз, не удержался от улыбки:

— Учитесь у Джурабаева? Это его стиль работы: самое большое внимание уделять не передовым, а отстающим колхозам.

— У него можно поучиться и многому другому.

Они шли уже через двор, направляясь к дому. Алимджан все же решил продолжить начатую тему:

— И все-таки вам не мешало бы побывать и на наших полях. Ведь появились первые всходы. Первые всходы, Айкиз!

— Мне об этом сказали, я потому вчера и примчалась в кишлак. Считайте, что я свою вину уже искупила, ошибку исправила. И не сердитесь на меня, ладно?

Айкиз ласковым, извиняющимся жестом коснулась локтя Алимджана, повернула к нему лицо; глаза ее, казалось, что-то искали в его глазах, она спросила:

— Не сердитесь?

Алимджан почувствовал такое облегчение, будто гора свалилась с плеч. Губы его снова тронула улыбка:

— На вас нельзя сердиться, Айкиз.

— А вы ведь сердились. Правда?

— И приму за это любой приговор!

— Ограничимся условным сроком... Вы ведь перевоспитаетесь?

— Клянусь!

— Ладно, шутки в сторону. Мне правда надо поглядеть на хлопковые участки, я ведь о них все время думала, душой изболелась.

— Увидите, хлопчатник взошел на загляденье!

На айване их поджидал Умурзак-ата. Тут только Алимджан вспомнил о газете. Обращаясь к Айкиз, он сказал:

— Нас ведь в областной печати похвалили. Вы читали?

Жар бросился в лицо Айкиз; с трудом преодолев смущение, она ответила, нахмутив брови:

— Читала. Вы ведь говорите о вчерашнем очерке? Так вот, неправильно там все. Приукрашено. Разве работа у нас шла так гладко, как пишет газета, и не было недостатков, ошибок? Люди-то в Алтынсае разные, одни трудились не за страх, а за совесть, а другие гоняли лодыря. И руководители не все оказались на высоте. Я сама допустила оплошность при закладке основания плотины — за что же меня-то хвалить? Нет, нет, газетчик не должен смотреть на жизнь сквозь розовые очки.

— Сквозь черные-то тоже нельзя, — заметил Алимджан.

— Нужно говорить людям правду и описывать все как есть. — Во взоре Айкиз вдруг появилась настороженность и отчужденность. — Алимджан-ака, а не вздумали ли вы надо мной посмеяться?

— Что вы, Айкиз!..

— А с чего тогда напомнили об этом очерке? Я, когда прочла его, чуть со стыда не сгорела.

До сих пор молчавший Умурзак-ата решил положить конец спору:

— Дочка, ты только не горячись. Сказать по чести, я газету не читал и не знаю, что там написано про наш колхоз. Но если алтынсайцев похвалили, так есть за что. Колхозники потрудились на славу, почему ж не сказать о них доброе слово? Когда человека поощришь, приободришь, оценишь по заслугам его дела, так у него сил прибавляется, он тебе горы своротит! Что там говорить, нашему колхозу пришлось потяжелее, чем другим. У соседей земля не такая засоренная. А у нас на целине и тамариск, и гребенщик, и янтак, и пальчатка. У пальчатки-то вон какие корни, всю почву ими опутала. Попробуй распахать такие участки... Спасибо Ивану Борисычу, крепко он нам подмог своими конями железными. Но и дехкане в бригадах Сувакулла и Бекбуты тоже не подкачали, воевали с сорняками, не жалея сил. Сказать по чести, земляки мои достойны самой высокой похвалы. Ведь два участка и вспаханы и засеяны хлопком — это ли не великое дело? А нынче мы готовим новые земли — под хлопок будущего года.

— Да, — подтвердил Алимджан, — пахота продолжается. Уже много земли очищено от кустарника и сорняка. — И тут же сокрушенно покачал головой: — Но сколь-

ко еще осталось этой пальчатки!.. Придется порядком с ней повозиться.

— Ничего, Алимджап-ака, — вмешалась Айкиз. — Мы ведь осваиваем целину не голыми руками. На смену омачу да кетменю пришла техника. Правительство дополнительно выделяет нам мощные тракторы.

Айкиз уже забыла, с чего начался этот разговор. И надо же было Умурзаку-ата вернуться к неприятной для нее теме. Заявив, что земля, о которой говорила Айкиз, и правда добрая, он обратился к Алимджану:

— А теперь, сынок, почитай-ка мне газету. Все-таки любопытно, что там про нас написано.

— Охотно, отец, — Алимджап достал из кармана свернутую вчетверо газету. — Тем более что главная героиня очерка — ваша дочь.

Он начал было разворачивать газетный лист, но ветер, залетевший на айван, мешал ему, рвал газету из рук. Айкиз молча, сдерживая улыбку, наблюдала за Алимджапом, потом отобрала у него газету, спокойно сложила ее:

— Видите, даже ветер против того, чтобы вы читали этот очерк. Пойдемте-ка лучше пить чай. Отцу я газету после прочту...

В комнате на хантахте их уже ждал кипящий самовар; он, казалось, сердился на них за опоздание, недовольно фыркал, брызгаясь кипятком.

Алимджап устроился перед хантахтой на мягкой курпаче, удобно скрестив ноги. Айкиз разломил лепешку, пододвинула Алимджану синюю фарфоровую касу с дымящейся шурпой, а он смотрел на ее тонкие смуглые руки, и сердце у него ныло сладко и тревожно...

Едва они обмакнули в шурпу первые ломтики лепешки, как сильный порыв ветра с треском распахнул окно — так, что зазвенели стекла. Умурзаку-ата поспешил к окну, выглянул во двор. От гор на Алтынсай, закрыв собой все небо, надвигалась иссиня-черная туча. Закрыв окно, старик медленно вернулся к дастархану, опускаясь на место, сказал безнадежно:

— Ну вот, дети мои, и пришла к нам беда.

В комнате быстро темнело, внезапно дом вздрогнул от громового раската: казалось, над самой крышей разорвалось пушечное ядро. Айкиз побледнела.

— Ох, страшно подумать, что сейчас на плотине творится. Надо ехать туда...

Она рывком поднялась из-за дастархана, Алимджан удержал ее за руку:

— Сидите, Айкиз. За плотину не беспокойтесь, гроза бушует не в горах, а здесь, в предгорье.

У Умурзак-ата был совсем потерянный вид, он тяжело вздохнул.

— А и правда, хуже нет — пережить беду, а не сражаться с ней. И когда только наша наука научится управлять стихией? Ну что мы сейчас можем сделать?..

Он не успел договорить, как над кишлаком прокатился новый залп грома, и тут же по железной крыше, по сухой земле во дворе забарабанили первые капли дождя. Дождевая дробь становилась все более торопливой, частой, густой, внезапно она перешла в какой-то шуршащий треск, словно снаружи кто-то рвал, распарывал крепкую холстину.

В глазах Умурзак-ата мелькнул ужас, он снова бросился к окну, бормоча с отчаянием:

— Град!.. Только этого не хватало... Град!..

Открыв окно, он подставил ладони под холодные градины и, показывая Айкиз и Алимджану крупные белые льдистые шарики, все повторял, чуть не плача и словно не веря в свершившееся:

— Град!.. Поглядите — град!.. Какая беда, какая беда!..

Он скинул градины с ладони на пол, закричал как помешанный:

— Что же вы сидите, сложа руки? Ведь хлопок гибнет!.. Я не дам... не дам его убить!

Как был, босой, в одной рубаше, старик выбежал во двор; там он на мгновенье остановился, взглянул на небо, погрозил ему обоими кулаками:

— У, вражина!.. Но ничего... ничего... Я хлопок собой заслоню... Я его защищу...

Айкиз и Алимджан и опомниться не успели, как Умурзак-ата очутился за калиткой. Спohватившись, они кинулись вдогонку, но сквозь белую шуршащую муть ничего нельзя было различить. Уверенные, что Умурзак-ата мог устремиться только к хлопковым участкам, Айкиз и Алимджан, миновав окраинные дома, споро зашагали по тропе, ведущей к полям, и через поля — к целинному бригадному стану.

Именно эту дорогу выбрал и Умурзак-ата, опередив-

ший дочку и Алимджана. Крупные градины хлестали его по лицу, плечам, спине, было больно, как от свистящих ударов кнута, но старик не обращал внимания на боль, он бежал, бежал, бормоча молитвы и проклятья, поскальзываясь на льдистых шариках, усеявших тропу, падая, снова поднимаясь, задыхаясь от быстрого бега, от нехватки воздуха. Казалось, весь мир был сплошь окутан мутной плотной пеленой.

Когда Умурзак-ата уже приближался к полевому стану, его увидели колхозники, которые толпились на айване, пережидая грозу. Они не сразу узнали своего звеньевоего в человеке, одиноко бегущем по тропе, тревожно переговаривались, всматриваясь в фигуру, как бы размытую белым потоком, который обрушивался с неба:

— Кого это понесло в поле в такую погоду?

— Смотрите, да он в одной рубашке. И босиком, ей-богу, босиком!

— Братцы, да никак это наш Умурзак-ата?

— Точно, он. Бедняга, град по нему так и рубит.

— Что ему тут понадобилось?

— Наверно, хлопок стало жалко, вот он дома-то и не усидел.

— Жалостью делу не поможешь. Не закроет же он собой все поля...

— Так-то оно так, да ведь когда душа болит, на любое решишься.

— Ой, смотрите, он вроде упал...

Все голоса перекрыл мощный бас Суванкула:

— А вы что стоите? Мастера языками-то молоть. Нет чтоб помочь человеку...

Он шагнул из-под навеса наружу, словно нырнув в белый, грозно шумящий хаос, и, давя сапогами градины, неровным слоем покрывшие землю, заторопился к Умурзаку-ата.

Колхозникам только почудилось, что старик упал, он сам опустился на колени перед крохотными зелеными росточками, которые тянулись вдоль тропы длинными, ровными рядами. Все поле было будто присыпано крупной серой солью. Веселая, еще вчера купавшаяся в солнце земля лежала теперь какая-то притихшая, озябшая, жалкая. Многие ростки хлопка, израненные градом, печально поникли, прильнув к самой земле, некоторые еще держались, не сгибаясь перед бедой. Умурзак-ата гладил



эти всходы негнуцимися, заледеневшими пальцами и что-то шептал, ласково, сострадающе, как будто возле постели больного...

Он и не заметил, как рядом с ним оказались Суванкул и подоспевшие Айкиз и Алимджан.

— Отец! — со слезами в голосе сказала Айкиз. — Ну, зачем вам было сюда бежать? Смотрите: вымокли до нитки. И весь в грязи...

— Меня хлопок позвал на помощь...

— В самый град-то что вы могли для него сделать? Только сами намучились...

Алимджан протянул ему халат и калоши, которые не забыл прихватить с собой, заботливо проговорил:

— Встаньте, отец. Простудитесь. Вот, одевайтесь.

Умурзак-ата покорно поднялся, смущенно оглядел свою вымокшую, покрытую грязью рубаху, испачканные землей колени, надел калоши и халат, окинул поле глазами, полными слез.

— Что град-то натворил!.. Сколько мы времени потратили, труда положили, засевая землю хлопчатником, ухаживая за ним как за малым ребенком... И за какие-то полчаса все пошло прахом...

— Не падайте духом, отец, — попытался утешить его Алимджан. — Град-то прошел полосой, задел только часть всходов. Да он уже и кончается. Видите — небо светлеет!..

Словно в подтверждение слов Алимджана, град внезапно совсем прекратился.

— Вот, отец, — повеселевшим тоном сказала Айкиз, — града-то и нет!

— Нет, говоришь? — с горечью выкрикнул Умурзак-ата. — А это что? — Он нагнулся, зачерпнул с земли целую пригоршню уже чуть размокших круглых льдинок. — Это не град?

— Сейчас выглянет солнце, он и растает, словно его и не было. Смотрите — небо над горами совсем ясное. А вот и солнышко!

Туча, принесящая беду, уже уходила на запад, к линии горизонта, открыв солнце, которое затопило все вокруг золотистым светом.

Но Умурзак-ата ничего не радовало, он все глядел с болью на прибитые градом всходы хлопчатника.

— Какой прок от того, что град растает. Он свое черное дело уже сделал. Хлопок-то не воскресить...

— Говорят, отец, что у мира четыре стороны и уж хоть одна всегда остается открытой, — произнес Алимджан.

Умурзак-ата согласно кивнул головой.

— Это мудрые слова.

— А раз так, то не надо отчаиваться!.. Я слышал, в колхозах, где давно выращивают хлопок, опытные хлопкоробы выхаживают всходы, пострадавшие от града. Ну, потрудиться-то приходится здорово: где подкормить ростки, где посадить новые. И заботиться о них денно и нощно. Но зато осенью хлопок отплачивает за заботу о нем отменными урожаями.

— Сеяли-то мы хлопок слишком поздно, — вздохнул Умурзак-ата.

— Ничего! — бодро воскликнул Суванкул. — Что мы, хуже других? Уж не пожалеем ни сил, ни времени, чтобы подлечить раненные всходы. «Белое золото» даром в руки не дается... На то оно и золото, добывать его нелегко.

От всего пережитого Умурзак-ата чувствовал себя совсем ослабевшим. Солнце немного согрело его, но лицо было бледное, он ежился, как от озноба. Бережно поддер-

живая старика с обеих сторон под локти, Алимджан и Суванкул повели его к полевому стану.

Айкиз шла рядом, поглядывая на отца с беспокойством, лаской и в то же время чуть виновато. Когда они очутились возле хауза, вода которого помутнела от града, Айкиз, взяв отца за рукав халата, с какой-то нерешительностью проговорила:

— Отец... Вы не сердитесь, по я должна вас оставить. Надо и на плотине побывать и в других колхозах. Град-то, наверно, не только на наших полях поразбойничал. Не у нас одних несчастье.

Она на мгновение припнула щекой к отцовскому плечу, спросила:

— Так я пойду?

— Иди, дочка, иди. Выполняй свой долг...

Айкиз, попрощавшись со всеми, двинулась по раскисшей тропе к кишлаку, чтобы дома оседлать Байчибара и отправиться в путь.

Она уже скрылась из виду, когда к полевому стану подкатил по уже наезженной «целинной» дороге райкомовский газик.

Не успел Джурабаев выйти из машины, как его окружили колхозники. Но он, заметив Умурзака-ата, скромно стоявшего позади всех, прошел к нему, обнял его за плечи и только после этого начал здороваться с остальными, каждому тепло пожимая руку.

Все ждали от секретаря райкома каких-то особых слов. А он, с улыбкой оглядев колхозников, заговорил просто, чуть шутливо:

— Я гляжу, вы тут приуныли. Вот-вот с ресниц снег начнет падать. Но, по-моему, рано еще нос вешать. Стихия, конечно, навесла нам серьезный урон, но дело можно поправить, и есть у нас для этого одно могучее, надежное средство...

Люди невольно ближе придвинулись к Джурабаеву, а Умурзак-ата спросил:

— Какое же это средство, сынок?

— А самое обыкновенное: усердие и труд.

Умурзак-ата с сомнением покачал головой.

— Я полагаю, одного усердия маловато. Работы-то мы не боимся. Но хлопок мы посеяли впервые, еще не умеем по-настоящему-то за ним ухаживать.

— И умение рождается усердием.

— Что ж,— медленно проговорил Умурзак-ата, поглаживая свою белую бороду,— пожалуй, что и так. Старательный, говорят, может и горы свернуть и оборвать стальной трос.— Он задумался, глядя на поле.— Все же, сынок, не возьму я пока в толк, как можно оживить это мертвое поле?

— Не такое уж оно мертвое. Корни-то у растений целы. Надо, не теряя ни минуты, произвести подкормку хлопчатника, глубокую окучку, провести лишний полив. Тогда устоявшие стебельки выбросят новые листья. А там, где хлопчатник так и не выправится, придется сделать подсадку. Районный агроном у нас опытный, он вам поможет. Хотя... надо все-таки поглядеть, какой вам причинен ущерб.

Джурабаев направился к полю, он медленно прошелся по борозде, вдоль рядов хлопчатника, время от времени стряхивая с сапог налипшую мокрую землю, наклоняясь к самым всходам, трогая их руками... Солнце светило уже вовсю, град, усыпавший поле, таял на глазах, над землей струился легкий парок...

Когда Джурабаев вернулся к колхозникам, лучикиморщинки в уголках его глаз были темные, он сказал задумчиво:

— Все-таки надо будет прислать к вам людей из Госстраха.

— Из Госстраха? — с тревожным недоумением переспросил Умурзак-ата.— А зачем?

— Они обмерят пострадавшие участки, составят акт. Ведь ваш хлопчатник застрахован. По акту колхоз получает страховые деньги.

На лицо Умурзака-ата словно тень набежала.

— От кого получит? За что получит?

— Как от кого? От государства,— спокойно пояснил Джурабаев.— Государство сполна возмещает колхозам ущерб, причиненный стихийными бедствиями.

Умурзак-ата, взявшись руками за бельбог, устремил на Джурабаева взгляд, полный удивления и укоризны:

— И не стыдно тебе говорить такое, сынок? По-твоему получается, что государство у нас в долгу?

— В данном случае оно должно дать вам деньги...

Тон у Джурабаева был по-прежнему спокойный, разъясняющий, но в лучиках-морщинках светились и одобрение и лукавство.

— Нет, сынок, — как-то и твердо и взволнованно в то же время проговорил Умурзак-ата, — это мы — вечные его должники. Я вот уже сколько лет думаю: как мне достойней расплатиться с Советской властью за все добро, которое я от нее видел? Моего долга ничем не измеришь... Ведь Советская власть освободила нас от рабства и нужды, сделала хозяевами земли, дала нам достаток, счастье. А мы еще будем требовать у нее деньги за то, что наши поля градом побило? Государство-то тут при чем?

Джурабаев долго, пристально смотрел на старика, потом благодарно наклонил голову:

— Спасибо вам, отец. Мне отрадно было вас слушать — вашими устами говорила сама мудрость... Только я все-таки должен вас немного поправить. Это вы сами и такие же труженики, как вы, завоевали себе счастье. И оплатили его дорогой ценой. В революцию, в гражданскую войну — ценой собственной крови. В Отечественную — ценой крови и жизнью ваших сыновей и младших братьев. Да вы все и есть Советская власть!..

Умурзак-ата шагнул к Джурабаеву, взял его руку, приложил ее к своим глазам, которые на минуту прикрыл, и тихо, растроганно сказал:

— Это тебе спасибо, сынок. Твои слова более мудрые, чем мои. Сказать по чести, так оно и должно быть: ведь ты — партия. А партия и подняла нас на борьбу за счастье народа. — Он выпрямился, просветленно улыбнулся. — Но раз мы — Советская власть, так что же нам у самих себя деньги-то брать? Нет, моему звену никаких денег не надо. Пусть они остаются в общей копилке, а с бедой мы как-нибудь управимся сами. Так и передай своему Госстраху.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Джурабаев вместе с Алимджаном до полудня объезжал предгорные поля, пострадавшие от града. Потом он завернул в Алтынсай, зашел к Кадырову, попросил его позвать других членов правления колхоза «Кызыл юлдуз» и, когда все собрались, повел с ними непринужденную беседу — о колхозных делах, об освоении целины, о планах на будущее...

Когда Кадыров начал распространяться на свою любимую тему — о том, что важнее всего жизненный опыт, умение смотреть на все «глазами опыта», мыслить трезво и реалистически, Джурабаев возразил:

— Опыт — и только?.. Нет, я согласен, коммунисты должны не витать в облаках, а учитывать реальное положение вещей. И роль опыта отрицать глупо. И вы вправе гордиться тем, что вами накоплен большой и жизненный и хозяйственный опыт. Только напрасно вы с такой настойчивостью твердите все время, что вы практик, а не мечтатель. Разве можно жить без мечты? Нет, Кадыров, нельзя!.. В этом году ваш колхоз добился немалых успехов. А кто подсказал вам идею освоить Алтынсайский массив под посевы хлопчатника, кто позвал в горы — искать, добывать воду?..

— Ну... Умурзакова, — с неохотой буркнул Кадыров.

Джурабаев выдержал продолжительную паузу и тихо, проникновенно сказал:

— Нет, не Умурзакова. А мечта!.. Мечта о лучшем будущем! Мечта о счастье, богатстве, могуществе Родины. А Айкиз — честь ей и хвала! — подхватила эту мечту многих и облекла ее в плоть реального замысла, конкретного плана... Потому что и сама умеет мечтать. Потому что она верная ученица Ленина. Вот у вас на столе, товарищ Кадыров, лежит том из собрания сочинений Ленина. А внимательно ли вы читали его?

Кадыров только крикнул, а Джурабаев, положив ладонь на книгу в алом переплете с ленинским силуэтом, продолжал:

— Тот, кому дорога каждая строка вождя, знает: Ленин был великим реалистом и великим мечтателем. Он и стремился и умел претворить в действительность самые дерзновенные мечты. И наша нынешняя жизнь — это исполнявшаяся мечта Ленина... Но Ленин зовет нас идти дальше! Мы должны учиться у него и реально мыслить и смело мечтать. Трезво оценивать наши сегодняшние возможности и смотреть в завтрашний день. Вам, Кадыров, надо почаще заглядывать в ленинские тома. Вы ведь колхозный вожак. Советуясь с Лениным, вы и путь своего колхоза сможете увидеть в перспективе: на что «Кызыл юлдуз» способен сегодня, на данном этапе, а на что — завтра и послезавтра. Вот скажите, вы довольны тем, что ваш колхоз электрифицирован?

Кадыров самодовольно усмехнулся:

— Еще бы!.. Это моя самая большая гордость. Сколько я сил ухлопал, чтоб осветить колхоз!..— Он кивнул на лампочку, свисавшую с потолка: — Видали? Двух-сотсвечовая. Могу включить...

Видя, что Кадыров готов сорваться с места, Джурабаев остановил его жестом руки:

— Не надо, не надо, раис. Это уже было бы ненужным расточительством. На дворе-то день.

— Эта лампочка светлее солнца!..

Алимджан и Бекбута рассмеялись, а Джурабаев почему-то досадливо поморщился и принялся мять папиросу, которую достал из алюминиевого портсигара.

Он думал о чем-то своем. Кадыров смотрел на него настороженно, непонимающе; на какое-то время в кабинете воцарилось молчание.

Те, кому часто доводилось сталкиваться с секретарем райкома и кто был понаблюдательнее, стали в последнее время замечать за ним такую привычку: разговаривая с работниками, которыми он был недоволен, или слушая чье-нибудь неумное выступление, Джурабаев раскрывал портсигар, брал папиросу и начинал с силой разминать ее. Гильза лопалась, табак рассыпался, тогда каким-то механическим движением Джурабаев вынимал и тискал в пальцах вторую папиросу, затем третью, а потом, спохватившись, торопливо защелкивал портсигар и прятал его в карман, так и не закурив. И взгляд его и морщинки у глаз становились в такие моменты жесткими, меж бровями пролегал суровая складка.

Вот и теперь он теребил уже вторую папиросу; бросив ее в пепельницу, потянулся было за третьей, но так и не извлек ее из портсигара: заметив, что все выжидающе наблюдают за ним, закрыл портсигар, положил его на стол.

Кадырову стало не по себе, он не мог понять, чем рассердил секретаря райкома.

А тот строго, словно и стыдясь за Кадырова и жалея его, проговорил:

— Любите вы все-таки показуху, раис. Ишь, великое достижение: лампочка в двести свечей в кабинете председателя колхоза! И как вам не терпелось зажечь ее, чтобы пустить нам пыль в глаза.

— Товарищ Джурабаев! — не вытерпел Кадыров.— Я не заслужил таких обвинений. Электростанция у нас

хоть и маленькая, а работает бесперебойно. Я просто хотел продемонстрировать...

— Ну, извините, если был слишком резок... Но эта ваша лампочка... Ненужную вы затеяли демонстрацию, Кадыров. Я ведь не случайно спросил вас, довольны ли вы тем, что ваш колхоз электрифицирован. Вы, простите, расхвастались, начали «якать» — злоупотребляете вы, между прочим, собственным местоположением. А я немного знаю положение в колхозе, знаком с мнением ваших коммунистов. Их не удовлетворяет достигнутое. Они думают о завтрашнем дне — по-большевистски, по-ленински. Алимджан, вот вас устраивают нынешние масштабы электрификации в «Кызыл юлдуз»?

Алимджан поднялся, по солдатской привычке одергивая гимнастерку.

— Как они могут нас устраивать? Это наш вчерашний день. До полной электрификации нам еще далеко. Да, электричество есть во всех домах. И на центральной улице стоят столбы с лампочками. Червоводни освещены.

— Разве этого мало? — багровея, выкрикнул Кадыров.

— Да, мало! Сегодня — мало! Коров у нас доят все еще вручную. Соломорезки колхозники тоже руками крутят. Мехи в кузнице раздуваются дедовским способом. Какая же это электрификация?

— Народ говорит: по одежке протягивай ножки, — заметил Кадыров. — Откуда возьмем лишнюю электроэнергию?

— Вот об этом нам и надо подумать!.. Да мы уже не раз заводили с вами разговор о дальнейшей электрификации в колхозе, только вы даже не пожелали обсудить этот вопрос на правлении. Ведь вы привыкли все решать единолично.

— Точно! — с каким-то даже воодушевлением подтвердил Бекбута. — Наш председатель хоть и говорит иногда: подумаем, посоветуемся, обсудим, но советуется только сам с собой.

Кадыров сидел мрачный, насупленный, бритый его затылок и мясистая шея стали помидорного цвета, он ссутулился, зажав под столом между коленями длинные руки, а глаза его, впившиеся в Алимджана, недобро поблескивали.

— А что вы предлагаете, Алимджан? — спросил Джурабаев.

— Наши предложения исходят из решений правительства. В них ведь предусмотрено строительство гидроэлектростанции на Алтынсае...

— Вы еще плотину-то не построили! — бросил Кадыров.

— Почему это — «вы»? Мы все ее возводим, это общее наше дело. Так вот, наше партийное бюро, за исключением товарища Кадырова, считает, что уже сейчас мы должны вплотную заняться вопросом о сооружении Алтынсайской ГЭС.

Кадыров, казалось, вот-вот лопнет от переполнявшей его ярости. Да что, в самом деле, с ума все походили!.. То целину им подавай, то электростанцию. Ведь великое дело сделано, хлопок растет на двух участках Алтынсайского массива, а в будущем году бело-зеленый ковер покроеет все предгорные земли. Неужто мало тому же Алимджану?

Еще больше набычившись, Кадыров сказал:

— Ты, товарищ секретарь партбюро, я гляжу, хочешь отвлечь нас от главной задачи — выращивания хлопка?

Алимджан усмехнулся.

— Быстро же у вас меняются «главные задачи». Ведь еще недавно, несколько месяцев назад, вы утверждали, что самое главное — собрать урожай пшеницы с богарных полей. А теперь перестраиваетесь на ходу, благо целину нам удалось освоить?

— А что ж? — заметил Джурабаев. — Бытие определяет сознание.

— Тогда можно надеяться, что, когда станут ощутимыми все выгоды от сооружения ГЭС, наш раис это возведет в ранг главной задачи? А мы вот уже сейчас полагаем, что ждать нельзя. Ведь Алтынсайская ГЭС сможет обеспечить необходимой электроэнергией не только «Кызыл юлдуз», но и все колхозы нашего сельсовета.

Это заявление совсем доконало Кадырова, он взорвался:

— Хватит с них того, что я воду им даю!.. А теперь еще должен снабжать их электричеством? Нет уж, дудки! Развелось, понимаете, иждивенцев... Надо и о себе думать, а не только о дядьях да племянниках.

— Ну, о себе-то вы никогда не забываете, — сказал Алимджан.

— Не о себе — о своем колхозе! Я вот уже двадцать

лет о нем пекусь! Может, вы это в вину мне поставите? Может, не надо было так заботиться о собственном колхозе, а только и делать, что помогать соседям? Ну, нет, я лично горжусь тем, что поднял на ноги «Кызыл юлдуз»!

— Ваши заслуги перед колхозом никто и не собирается перечеркивать, — успокоил его Алимджан. — Но времена изменились, раис, а вы, судя по всему, продолжаете мыслить так же, как двадцать лет назад. И прямо скажу, несколько преувеличиваете свою роль. Товарищ Джурабаев прав: слишком часто вы повторяете слово «я». А надо и думать, и решать вопросы, и поступать по-коллективистски, по-коммунистически.

— Ну, дожил! — Кадыров тяжело отдувался, у него уже все лицо, даже белки глаз сделались багровыми. — Я, выходит, действовал не по-коммунистически? Да если бы у меня и в годы коллективизации и после голова болела не о своем, а о других колхозах, так «Кызыл юлдуз» прозябал бы в нищете, а не числился в передовиках. Ты вот вцепился в меня, как куриный клещ... А скажи-ка, положи руку на сердце: кто создал наш колхоз, кто вывел его в передовые?

— Вы, вы, Кадыров, — морщась, как от зубной боли, сказал Алимджан. — Повторяю, никто не стремится умалять ваши заслуги. Но надо отдать должное и другим — тем, на чей энтузиазм, опыт, труд вы опирались. И от соседей вы зря отмахиваетесь: в безвоздушном пространстве наш колхоз просто не мог бы существовать. А по нынешним временам особенно важно помогать друг другу, объединять силы, как это было при поисках воды, освоении целины... И Алтысайскую ГЭС, как и плотину и водохранилище, мы будем строить общими усилиями, одному нашему колхозу с этим не справиться.

Казалось, все доводы Алимджана отлетали от Кадырова, как горох от стены, он улавливал лишь то, что уязвляло его самолюбие, и распался все пуще.

— Ничего, до сих пор справлялись!.. Без чужой помощи сделались зажиточными. А в войну я не только своих колхозников хлебом кормил, но хлебушек-то и на фронт посылал...

Алимджан безнадежно махнул рукой, но тут, не выдержав, в разговор вмешался Бекбута; обвиняюще тыча в Кадырова указательным пальцем, он закричал:

— Да что ты, правда, заладил: «я» да «я». Ишь, это,

оказывается, только ты и колхоз наш крепил и фронт поддерживал... Ты готов и все нынешние успехи себе приписать: гляди-ка, и соседей облагодетельствовал, воду им подарил!.. Да они сами ее добывали! А ты вспомни-ка, раис, кто был против того, чтобы расчищать родники, копать канал, строить плотину и водохранилище? Кто нам мешал? Кто денег не хотел давать на великое дело? Ну-ка, скажи при всех — «я», «я», «я», раз уж так любилося тебе это словечко?!

Кадыров остолбенел от неожиданности; в первое мгновение он даже задохнулся, только обводил присутствующих тяжелым взглядом, словно не понимая, что произошло, а потом, опираясь кулаками о стол, медленно поднимаясь со стула, угрожающе протянул:

— Это я мешал? Я не давал денег?

— Да что у тебя, раис, память отшибло? — Бекбута заморгал глазами. — Или, думаешь, мы забыли, как ты разорился, когда Айкиз и Смирнов выступили со своими планами? А что про неделимый фонд кричал? Ни копейки, мол, не получите. Разве не было этого?

— Ах, вот оно что!.. Хотите теперь все бывшие грехи мне припомнить?.. Ну, ну, валите на меня все, что было и чего не было! Я ведь понимаю, чего вы добиваетесь!

Джурабаев, который до сих пор только прислушивался к спору, увещевающе произнес:

— Успокойтесь, Кадыров. Сядьте. Где ваша выдержка?

Но раиса уже, что называется, «занесло», он будто и не слушал, что ему говорили, и гнул свое:

— Я знаю, куда вы клоните! Кадыров, мол, свое дело сделал, теперь можно от него и избавиться. Что ж, снимайте меня с председательского поста! Кто желает его занять? Ты, Алимджан, или ты, Бекбута?.. На готовенькое-то прийти каждый рад-радешенек.

Дрожащими пальцами он пытался застегнуть воротник своего щегольского кителя, но крючок никак не поддавался.

К нему подошел Джурабаев.

— Возьмите себя в руки, раис. Одумайтесь. Вы коммунист, руководитель, негоже вам так себя вести.

Ему, видимо, не хотелось обострять конфликт, и, повернувшись к остальным, он сказал:

— А не кажется вам, друзья мои, что мы тут засиде-

лись?.. Земля-то после града, наверно, уже отошла. И солнышко ее обогрело, и ветерок обласкал. Пора браться за работу...

Все с готовностью и чувством облегчения поспешили покинуть кадыровский кабинет.

Сам Кадыров тоже недолго пробыл в правлении колхоза: сев на коня, он отправился осматривать участки, где всходы были изранены градом.

То, что он увидел, заставило его не только поостыть, но и пасть духом.

Нет, все, что происходило на полях, могло лишь радовать: работа спорилась, в бригады Сувапукула и Бекбуты было уже завезено удобрение, колхозники успели подпнуть землю вокруг поврежденных ростков; Алимджан и другие бригадиры продолжали вспашку, готовя целину к будущим посевам.

Но все это делалось помимо Кадырова, без его участия, ему оставалось только удивляться тому, как быстро, своевременно были приняты меры по спасению хлопчатника.

И пока он объезжал поля, с лица его не сходила печать угрюмости. Ведь еще недавно Кадыров хвастливо, самоуверенно заявлял, что он полновластный хозяин колхоза, что колхоз и окреп только благодаря его неусыпным заботам и стараниям. А вот поди ж ты — колхозники прекрасно управляют и без него. Да он и не смог бы им ничем помочь: хлопок для него культура новая, незнакомая... Кто его знает, как с ним обращаться, как выхаживать после градобития. М-да, свалилась же обуза на его плечи...

Все это удручало Кадырова, он смотрел вокруг хмуро, рассеянно.

Из-за этой рассеянности с ним приключился небольшой конфуз.

Еще на участке Суванкула он заметил двух мужчин, которые вышагивали то вдоль, то поперек рядков хлопчатника, что-то вымеряя рулеткой. Тогда он не обратил на них внимания. А позднее, выехав на своем сером иноходце из-за Холма рабов, он снова столкнулся с ними, на этот раз лицом к лицу. И тут они что-то измеряли... Не слезая с коня, даже не поздоровавшись с незнакомцами, Кадыров мрачно, властно спросил:

— Кто такие? Откуда?

Мужчины воззрились на него с удивлением: в колхозе

уже все знали, зачем они здесь. Один из них, высокий, худой, в колюнковой фуражке, сдвинутой чуть не на самый затылок, с брезентовым потрепанным портфелем, сложенным вдвое и зажатым под мышкой, пояснил:

— Я из Госстраха. А этот товарищ — из МТС, — он кивнул на своего спутника, в котором по гимнастерке, армейским брюкам и кирзовым сапогам легко было угадать недавнего фронтовика. — Мы приехали обмерить пострадавшие от градобития участки и составить акт.

— А вы ведь председатель колхоза, товарищ Кадыров? — поинтересовался эмтэсовец.

Кадыров скользнул невнимательным взглядом по его новенькой ферганской тюбетейке, по лицу с черными веселыми глазами и крепкими скулами, хмыкнул и, не прощавшись, двинулся прочь.

А часа через два, уже на участке Бекбуты, он опять паткнулся на каких-то двух, показавшихся ему незнакомыми, мужчин, тоже орудовавших рулеткой, и спросил, кто они такие. Мужчины недоуменно переглянулись и громко, от души рассмеялись. Тут только Кадырову бросилась в глаза новенькая ферганская тюбетейка на одном из них и потрепанный портфель под мышкой у другого. Злясь на свой промах, он, насупившись, с неприязнью бросил:

— Что зубы скалите? Одни вы тут, что ли, бродите со своими рулетками? Всех не запомнишь, вас много, а я один.

Кадыров побывал еще в саду, разбитом на целине. И здесь его не оставляли угрюмость и рассеянность. Старый Халим-бобо рассказал ему, что будущей весной собирается раздобыть для нового сада саженцы знаменитых яблочных сортов — кандилия и розмарина, а также персика луччак, осторожно попрекнул Кадырова за равнодушие к такой благородной и прибыльной отрасли хозяйства, как садоводство. Кадыров отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

— Ладно, ладно, отец, мы потолкуем о ваших садах как-нибудь в другой раз. Сейчас есть дела поважнее.

И уехал.

В колхозе действительно накопилось немало не просто важных, а неотложнейших дел, но Кадыров не в силах был сосредоточить на них свои мысли. Злость, обида, недоумение все собой заслонили. Он мог сейчас думать лишь о том, что произошло утром в его кабинете.

Да нет, все началось раньше. Когда он потерпел поражение в конфликте с Умурзаковой, то заметил, что колхозники поглядывают на него с какой-то настороженностью и немой укоризной, порой ему чудилась даже скрытая насмешка в глазах земляков. А такие, как Бекбута и Суванкул, все чаще стали поднимать против него голос.

Кадыров чувствовал, что теряет авторитет, он исподволь наблюдал, как идут работы на расчистке родников, на сооружении канала и плотины, заняв, по его разумению, самую надежную — выжидательную позицию. Дело там ладилось, и Кадыров уже подумывал, не придется ли ему, в создавшейся обстановке, оставить председательский пост. Может, уйти самому, пока не сняли? Но не такой у него был характер, чтобы примириться с поражением и, признав свои ошибки, добровольно сложить с себя председательские полномочия.

Уйги? Да все только и ждут, когда он сам во всем покается и уйдет!.. Только не бывать этому. Он, Кадыров, еще покажет, на что способен. Колхозники еще убедятся, какой у них толковый, опытный руководитель. Ведь опыта, практической сметки ему не занимать стать!..

И в самый разгар освоения целины Кадыров из стороннего наблюдателя, уделявшего внимание только богаре, превратился в яростного энтузиаста хлопкосеяния. И это не было с его стороны притворством, приспособленчеством, — «глазами опыта», как он любил выражаться, он увидел, какие выгоды сулит выращивание хлопчатника на орошенных землях, увидел, правда, лишь после того, как была добыта первая вода для этих земель.

Он не жалел ни сил, ни времени, заботясь и об успешном проведении сева хлопчатника, и о пшенице на богарных участках. Целыми днями он пропадал в полях...

И радовался, ловя на себе потеплевшие, одобрительные взгляды колхозников.

Он, Кадыров, снова был в седле!

Потому-то сегодняшний разговор, когда он опять нарвался на упреки, был для него как гром среди ясного неба.

Что там ему наговорили? «Надо уметь мечтать», — это Джурабаев. «Времена изменились», — это Алимджап. «Вы не умеете смотреть в завтра», «вы преувеличиваете свою роль», «вы якаете», «вы мешали поднимать целину», — это уж все на него навалилось. Придрались даже

к лампочке в его кабинете, будь она неладна. Ишь, пондобилось им большое электричество. Да та же самая двухсотсвечовка — это вам не большое электричество? Что там еще ему припомнили? Кузницу, коровники, соломо-резку... Да разве он сам обо всем этом не знает, ему-то разве приятно, что работают там кустарно, по старинке? Он обеими руками за электростанцию! Только не все сразу, дорогие. Пока и с хлопком хлопот немало. Культура-то капризная, надо еще научиться растить этот хлопок, оберегать его от всяческих бед. В общем, забот надолго хватит, новые к ним добавлять — значит, брать на себя непосильную ответственность.

Каждому овощу свое время. Всему своя очередь. Так говорил ему долголетний опыт хозяйственника-практика.

Но ведь теперь насядут на него с этой электростанцией, насядут и не отвяжутся. Что же делать Кадырову? И возразить-то он и Алимджану и Бекбуге толком не смог, хуже того — не стерпел, сорвался, и сам секретарь райкома строго попенял ему за невыдержанность.

Теперь жди вызова в райком.

Нет, надо, видно, все-таки убираться отсюда, пока не поздно, от греха подальше... Не то совсем заклюют — и руководство и свой же брат колхозник.

Ну и времена настали!..

Несколько дней Кадыров ходил сам не свой, туча тучей, все ждал, когда его вызовут в райком.

Но о нем словно забыли...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В райком был приглашен Алимджан. Джурабаев попросил его приехать к двенадцати часам или позднее, в любое удобное для Алимджана время.

Алимджан рассудил по-своему и решил явиться пораньше, чтобы к двенадцати уже вернуться в Алтынсай.

Однако в райкоме ему сказали, что Джурабаев еще вчера отправился в один из отдаленных колхозов («Конечно же, отстающих», — с улыбкой подумал Алимджан) и будет на месте ровно к двенадцати.

Алимджана приятно поразила четкость в работе секретаря райкома, его умение строго распорядиться своим временем. «Айкыз права, у него многому можно поучиться.

Посмотрим, успеет ли он в райком к двенадцати. Это было бы здорово...»

Дел у Алимджана в районе было достаточно, он побывал в парткабинете, в райсельхозотделе, в библиотеке, и когда в начале первого вновь появился в приемной Джурабаева, то немного даже растерялся от слов, которыми его встретила молоденькая секретарша:

— А я уж все учреждения обзвонила — вас разыскивала. Товарищ Джурабаев вас ждет. Входите, пожалуйста.

В кабинете Джурабаев был не один, у стола рядом с ним стоял Смирнов, он свертывал в трубку листы белой плотной бумаги.

Джурабаев, приветливо поздоровавшись с Алимджаном, сказал с шутливым укором:

— Опоздал, опоздал...

— Вы же сами сказали: можно после двенадцати...

— Да я знаю, ты даже раньше пожаловал. А насчет опоздания — это я к тому, что мы вот вместе с Иваном Никитичем хотели ознакомить тебя с чертежами строительства Алтынсайской ГЭС. Только инженер наш торопится; видишь, уже прячет свои чертежи.

— Прости, Алимджан, мне правда некогда. Ты ко мне после зайди, я тебе все покажу.

Смирнов поспешно ушел, а Джурабаев, заняв свое место за столом, показал Алимджану рукой на стул:

— Присаживайся. И рассказывай, как там у вас в колхозе. Хлопок выправился?

— Хлопчатник ведет себя молодцом. Прямо геройски. Окреп, пошел в рост.

— Значит, помогла подкормка?

— Можно сказать, она и спасла хлопок.

— Люди его спасли, Алимджан.

— Ну, ясно. Все работали до седьмого пота. Кадыров и тот себя не жалел, все эти дни по полям мотался. Вид у него, правда, неважный. Все думает о чем-то...

— Ему есть над чем поразмыслить. Думать вообще никогда не вредно. Так, значит, осенью, когда «белое золото» ляжет на хирманы, вам краснеть не придется?

— А вы приезжайте, посмотрите на наши поля. А то вы у нас с самого градобития не были.

— Потому что был спокоен за вас. Ладно, Алимджан, приеду, непременно приеду.

Секретарь райкома потянулся к своему портсигару, лежавшему на столе. Алимджан с тревогой взглянул на него, но морщинки у глаз Джурабаева оставались светлыми, а в глазах даже пряталось лукавство.

— Значит, ты хочешь показать мне поля. А какого-нибудь торжества у вас не ожидается?

— Торжества? — Алимджан недоумевающе пожал плечами. — Какого? До уборки урожая далеко. А плотина и канал будут готовы лишь в следующем году...

— Ну, торжества бывают разные. Различных, так сказать, масштабов. И общественного плана и личного...

Джурабаев закурил. Алимджан вопросительно глядел на него, не понимая, куда клонит секретарь. Он все еще напряженно морщил лоб, когда Джурабаев неожиданно спросил:

— Послушай, Алимджан, сколько тебе лет?

— Двадцать шесть, — помедлив, с некоторой растерянностью ответил Алимджан, а сам подумал: не собирается ли секретарь послать его в Ташкент на партийную учебу?.. Ох, не ко времени это сейчас. И хлопчатником колхоз только в этом году начал заниматься, и с Айкиз все по-прежнему неопределенно...

Джурабаев медленно повторил:

— Двадцать шесть... Хороший возраст. Только в этом возрасте другие-то уже детьми обзаводятся. А ты все в холостяках ходишь, плохой пример подаешь молодежи. Или не знаешь мудрой народной поговорки?

— Какой?

— Семья — это путь к счастью.

Алимджан опустил голову, смущенно пробормотал:

— Да так как-то все складывалось, что не до семьи было. Война, армия... Теперь работа все время отнимает. Ни о чем другом просто некогда думать.

— Некогда, говоришь? Выходит, это я виноват, что ты до сих пор не женат.

У Алимджана брови так и подпрыгнули.

— Вы? Товарищ Джурабаев, вы-то тут при чем?

— А я всюду и всегда — «при чем». Должность у меня такая.

— Ну, тут-то... какая может быть ваша вина?

— А такая, что если ты сам не находишь времени позаботиться о своей судьбе, так я, как твой старший товарищ, обязан о тебе подумать. Постараться, чтоб у наших

коммунистов хватало времени и на личную жизнь. Работа у нас, конечно, нелегкая: строить коммунизм, воспитывать созидателей коммунизма. Настоящий большевик все силы отдает этому великому делу и счастлив этим. Но разве это должно исключать счастье в личной жизни, а, как ты думаешь?.. Мы ведь сами говорим, что у нас личное не противостоит общественному, а, наоборот, одно дополняет другое. А у тебя, вот, оказывается, на личное счастье времени нет!..

Алимджан совсем смутился.

— Да тут дело даже не во времени...

— А в чем же?

— Я и сам не знаю...

— Может, просто не хочешь отвечать? Считаешь, что я не вправе вмешиваться в твою личную жизнь, лезть, так сказать, в чужую душу? Тогда я, конечно, пасую...

— Нет, я так не считаю.

Джурабаев, с удовлетворением кивнув, продолжал проникновенно:

— Возможно, как секретарь райкома, я действительно не имею права требовать, чтобы ты посвящал меня в свои личные тайны. Но поверь, Алимджан, я люблю тебя, как сына... Ну — как младшего братишку. Потому-то мне так хочется, чтобы ты был счастливым... погоди, я знаю, что ты собираешься мне возразить: мол, ты и так счастлив. Верно? Но я сейчас о другом... Мне не нравится, что ты застрял в холостяках, честное слово, не нравится.

Алимджан наконец улыбнулся:

— А мне, думаете, нравится?

— Ну вот! Молодец!.. У холостого, говорят, на глазах шоры, он может и на окольную дорожку свернуть, это точно, уж ты со мной не спорь.

— А я и не спорю.

— Слушай, Алимджан, а если откровенно — счастье-то вот уже теперь не стучится к тебе в сердце? — Джурабаев прищурился, то ли от папиросного дыма, то ли довольный своей догадкой.

Алимджан перестал улыбаться, снова покраснел.

— Н-не знаю...

— Зато я знаю! Я ведь не слепой и не глухой. Я, Алимджан, человек оч-чень наблюдательный. И не зря вызвал тебя на этот разговор. Стучится к тебе счастье, стучится!.. Только гляди, не проморгай его. Оно ведь капризно: по-

стучится раз, постучится другой, не откроешь ему вовремя дверь — только его и видел!..

Алимджан, усмехнувшись чему-то, сказал:

— У меня-то для него дверь всегда открыта.

— За чем же дело стало? Ведь ты любишь, так?

— Да.

— А тебя?

— Не знаю.

— Ну вот, опять «не знаю»!.. Может, тебе, чтоб добыть счастье, не времени, а смелости не хватает? Не верится... Вон за воду Кокбулака ты бился, как лев!..

Алимджан при упоминании о Кокбулаке только вздохнул. И, решившись уж во всем открыться Джурабаеву, переборов смущение, проговорил:

— Мне она как раз и обещала сказать «да» спустя две недели после того, как в Алтынсай прибежит вода Кокбулака. Все сроки уж прошли...

— А она так ничего и не сказала?

— Нет. Да я ее и не вижу совсем.

— Ох, Алимджан, Алимджан... — Джурабаев то ли сочувственно, то ли осуждающе покачал головой. — Говорят, смелость — постоянная спутница джигита. И ты всегда вел себя, как джигит. На фронте-то, верно, доводилось и под пули грудь подставлять и ходить врукопашную... А вот перед девушкой оробел. — Джурабаев выдержал паузу, глядя на Алимджана лукаво прищуренными глазами. — Что ж, придется, видно, тебе помочь. Не возражаешь?

Алимджан ничего не ответил.

— Молчишь? Тогда примем молчание за знак согласия. Значит, вместе начнем бороться за твоё счастье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Обычно Айкиз, наведываясь на участки, засеянные хлопком, оставляла Байчибара возле бригадного стана, подбросив коню охапку зеленого клевера или травы, а сама шла в поле. Она не любила, чтобы ее кто-нибудь сопровождал, осматривала участки в одиночестве — так ей было удобней определять, кто за хлопком ухаживал старательно, с любовью, а кто небрежно, спусти рукава.

Разведение хлопка для алтынсайцев было делом но-

вым, и оно требовало не только знаний и навыка, но и особо тщательного, бережного, любовного ухода за каждым растением. И тут нужен был труд, труд и труд.

Большинство колхозников это понимало, но находились и нерадивые работники и лодыри, которые равнодушно выслушивали нарекания бригадиров и охотно прибегали к удобной отговорке: мол, хлопок мы растим первый год, вот поднакопим опыт, подучимся, тогда и спрашивайте с нас по большому счету. На некоторых эти отговорки действовали, но Айкиз не прощала промахов «начинающим» хлопкоробам, — наверно, потому, что хлопчатник был ее любимым детищем, главной ее заботой.

Часто, медленно бредя вдоль рядов уже окрепшего хлопчатника, она на ходу, чуть наклоняясь к кустам, проводила ладошкой по нежным, шелковым листьям, тихо, ласково приговаривая: «Ух, как вы выросли, скоро уж начнете цвести». Или опускалась на корточки перед слабым, хилым кустиком, ощупывала пальцами, внимательно разглядывала его и обращалась к нему мысленно: «Бедняжка, с чего ж это ты зачах? Может, тля на тебя напала? Или приболел?.. Ну-ка, посмотрим, что с тобой приключилось. Так, листочки чистые. Почему же они такие вялые? Ах, вот в чем дело: тебя жажда мучает! Забыли водой напоить. Вай, и твои соседи тоже хотят пить. Вы все тут, оказывается, несчастные, заброшенные...»

Айкиз поднималась, долго из-под ладони оглядывала поле, хмурилась.

Так и есть, целый участок остался без воды! Хлопок рос на небольшом взгорье, вода по арыкам поднималась сюда с трудом, вот хлопок и захирел, а звеньевому и горя мало! Зато в низине разлилось целое озеро, кусты хлопка чуть не целиком ушли под воду.

На прощанье опять погладив ладошкой кустики, она вслух обещала:

— Потерпите еще немного, бедняги, я сейчас спрошу у звеньевого, почему он вас не напоил. Влетит же ему от меня!..

В подобных случаях Айкиз тут же отправлялась на розыски виловника, и тот получал добрый нагоняй.

Айкиз безошибочно устанавливала, какие участки нуждаются в дополнительной подкормке, где не хватает воды, а где она в избытке.

Она строгой мерой взыскивала с бригадиров и звеньевых за всякое упущение. А тех, у кого хлопок был ухоженный, хвалила от души и делала это с особым удовольствием.

Как-то ранним июньским утром Айкиз приехала на целинный бригадный стан; спрыгнув на землю, она привязала Байчибара к колоде с травой, а сама подошла к хаузу. Каждый раз, когда Айкиз приезжала сюда, она спешила к тихому водоему, немому свидетелю ее памятной встречи с Алимджаном, и любовалась светлой родниковой водой, золотистым песком, который был насыпан вокруг хауза.

Когда-то — сейчас Айкиз казалось, что давным-давно, — она сидела здесь, у хауза, вместе с Алимджаном и Погодиным, а до этого читала на айване письмо Гриши Петрова, и был у нее разговор с Алимджаном, которого она заверила, что «все будет хорошо».

Не так-то уж все хорошо, и лишь она сама в этом виновата.

Ей хотелось постоять у хауза, повспоминать, поразмышлять, спросить у себя, почему она до сих пор мучает Алимджана.

Но помешал Бекбута, подошедший сзади:

— Здравствуй, товарищ Умурзакова!

Она обернулась, недовольно сдвинув брови. Выражение ее лица обеспокоило бригадира, он осторожно спросил:

— Решила проинспектировать нас, председательница?.. Ты для нас всегда желанная гостья. Какой участок тебе показать?

— Не надо мне ничего показывать, — почему-то сердито проговорила Айкиз. — Я одна пройду по полям и постараюсь побывать во всех звеньях. А ты занимайся своими делами.

Не дав Бекбуте опомниться, она зашагала к полю, вошла в хлопок, как в зеленое море, утонув в нем до самых колен.

Бекбута проводил ее тревожным, недоумевающим взглядом. Почему она не обрадовалась ему, как обычно, чем так недовольна? Уж не допустила ли его бригада какую промашку? Так ни до чего и не додумавшись, он подошел к Байчибару, подкинул ему свежей травы, хлопал по уругой шее:

— Так-то, брат, чего-то серчает на нас твоя хозяйка. А ты хоть и умный, да не можешь мне объяснить, какая муха ее укусила. Ладно, ешь свою траву.

Айкиз вернулась к бригадному стану только после полудня, и если бы Бекбута увидел ее в этот момент, то у него сразу же отлегло бы от души.

Лицо у нее, правда, было усталое, припорошенное пылью и оттого серое, над верхней губой и на лбу блестел мелкий бисер пота, но вся Айкиз словно светилась, и глаза были ясные, счастливые.

Она пожалела, что не застала на стане Бекбута.

Ей так хотелось поблагодарить бригадира за его заботу о хлопке. Пожалуй, ни на одном другом участке не встречала Айкиз такого крепкого, раздобревшего кустистого хлопка. Молодчина Бекбута!..

Она готова была поделиться своей радостью с первым встречным, но на стане, несмотря на то, что уже наступило время обеда, не было ни души.

Впрочем, Айкиз ошибалась. Когда она, притопывая по твердой земле желтыми сапожками, чтобы сбить с них пыль, направилась к хаузу, из помещения стана вышел Джурабаев. Ворот его гимнастерки был широко расстегнут, он улыбался, глядя на Айкиз, а у нее невольно вырвалось:

— Вай! Товарищ Джурабаев...

— Здравствуйте, Айкиз. Чему вы так удивились?

— Здравствуйте. Как вы сюда попали, товарищ Джурабаев? Я не вижу вашего «вездехода».

Айкиз говорила это, быстрыми шагами приближаясь к Джурабаеву. Когда они пожали друг другу руки, Джурабаев объяснил:

— А я его за станом оставил, в тени. А тут, между прочим, вас поджидаю.

— Меня? — удивилась Айкиз. — Какое же дело у вас ко мне?

— Первостепенной важности. Но давайте присядем у хауза. В такую жару приятно отдохнуть у воды. Усталость как рукой снимает.

Они пристроились прямо на песке, возле хауза. Айкиз торопливо произнесла:

— Но я нисколько не устала, товарищ Джурабаев!

— Ну, ну. С самого утра мотаетесь по полям — и не устали?

— Нет. Я устаю, когда хожу по плохим полям. А бродить по такому полю — одно удовольствие.

— Что, хорош у Бекбуты хлопок?

— Удивительный!.. Я такого нигде еще не видала. Хотите, покажу?

— Да я уже, когда ехал сюда, успел прогуляться по владениям Бекбуты. И тебя видел — издали. Ты права: хлопок у него удался.

Джурабаев называл Айкиз то на «вы», то на «ты», и ее это радовало: значит, секретарь райкома был в добром расположении духа.

Зачем же она все-таки ему понадобилась?

Помедлив, Айкиз напомнила:

— Вы сказали, что специально меня ждали.

— Да, ты мне очень нужна. Необходимо обсудить серьезнейший вопрос.

Айкиз посмотрела на Джурабаева с некоторым недоверием. Он сидел рядом с ней на песке, обняв руками колени, и какая-то хитринка была в его глазах. Ни поза, ни выражение лица никак не свидетельствовали о важности и серьезности его намерения.

Словно угадав ее мысли, Джурабаев проговорил:

— Я понимаю, серьезные разговоры ведутся обычно в более официальной обстановке. Но для нашего вот эта, — он обвел вокруг себя рукой, — самая подходящая.

Айкиз снова глянула на него с сомнением. Уж больно не соответствовали той солидной обстоятельности, с которой Джурабаев готовил ее к «важному» разговору, светлые, смеющиеся лучики морщинок в уголках его глаз. И Айкиз весело подумала: «Вы меня пугаете, товарищ Джурабаев, а я не боюсь. Вас выдают ваши морщинки... Интересно, какой же все-таки вопрос вы собираетесь со мной обсудить?»

Но тут ее взгляд как-то машинально скользнул к растегнутому воротнику Джурабаева, и в глазах мелькнули боль и испуг, она даже чуть подалась в сторону...

Впервые Джурабаев сидел с ней в такой непринужденной позе, так близко, и впервые Айкиз увидела на его шее тяжелый, свинцового оттенка шрам, который выплзал из-под ворота и тянулся к затылку.

Чувство страха быстро растаяло, теплая волна обдала сердце Айкиз. Какой удивительный человек! Ведь она знает Джурабаева давно, но, оказывается, ничего о нем

не знает. Откуда у него этот шрам?.. В каком бою он его получил?.. Спросить об этом?.. Неудобно. А сам Джурабаев, конечно, не станет рассказывать о своих ратных заслугах. Как и Алимджан... Он ведь тоже был ранен, но с ней до сих пор об этом и словом не обмолвился. Алимджан!.. Смелый, скромный, терпеливый...

И в этот момент Айкиз услышала голос Джурабаева:

— Скажите, Айкиз, вы давно знаете Алимджана?

Она даже вздрогнула от неожиданности.

— Алимджана-ака? Очень давно, с детских лет.

— Вы ему верите? Нет, пожалуй, поставим вопрос по-другому: вы в него верите?

Айкиз вдруг испугалась за Алимджана. Она не понимала, почему Джурабаев так настойчиво, пристрастно допытывается о нем. Но что бы там ни было, а ее долг — защитить любимого.

— Алимджан-ака — честнейший человек! У него душа, как горный родник — такой же кристальной чистоты. Да вы сами знаете, как он воевал, как работал на Кокбулаке. А наша парторганизация? Она прямо ожила с тех пор, как его выбрали секретарем. Если вы сомневаетесь в Алимджане-ака...

— Я? — Джурабаев с деланным изумлением поднял брови. — Я в нем никогда не сомневался. И не сомневаюсь.

— Зачем же вы тогда спросили о нем?

— Понимаешь, Айкиз, — Джурабаев смотрел на нее с отеческой лаской, — я думал, это мне придется убеждать тебя в том, что Алимджан достоин и доверия, и уважения, и... любви... Мне надо было кое-что выяснить, не столько насчет Алимджана, сколько насчет тебя, твоего отношения к нему... И я выяснил. Ты с таким жаром говорила об Алимджане... Так говорят только о тех, кого любят. Ты любишь его, Айкиз?

Он спросил об этом так просто, и в голосе его звучала такая искренняя забота, что у Айкиз выступили слезы на глазах. Она не увидела ничего особенного, неестественного в том, что Джурабаев, как отец, волновался за ее судьбу. Больше того, она вдруг почувствовала, что только ему и может поверить все свои тайны.

— Ведь любишь? — повторил Джурабаев. — Айкиз, вы ведь мужественная девушка. Найдите в себе силы сказать «да» или «нет».

Потупившись, Айкиз еле слышно проговорила:

— Люблю.

— Ну вот! — Джурабаев вздохнул с облегчением и тут же напустил на себя строгость. — А почему же тогда я до сих пор не получил приглашение на свадебный той? Кто виноват — ты или Алимджан?

— Нет, не Алимджап-ака! — вскинулась Айкиз. — Он любит меня.

— Так... Ты любишь его, он любит тебя, а свадьбы все нет и нет. Что же все-таки мешает вашему счастью?

— Я сама не знаю...

— Может, Умурзак-ата противится?

— Я отцу еще ничего не говорила... Но, думаю, он не будет возражать...

— В чем же тогда дело? — Джурабаев лукаво прищурился. — Ведь с тех пор, как вода Кокбулака добежала до Алтынсая, прошло больше двух недель. Так-то ты умеешь держать слово, Айкиз? Смотри, не прозевай свое счастье. В народе говорят: время уходит — счастье уходит.

— Значит... Алимджан-ака вам все рассказал?

— Ты уж только не гневайся на него. Он ни при чем. Я сам вызвал его к себе, ну и заставил кое в чем признаться. Наверное, мне это не удалось бы, если бы я не догадывался о том, что вы любите друг друга.

— Это так заметно? — с испугом спросила Айкиз.

— Нет, просто я человек бывалый, и глаз у меня наметанный. И я все должен знать о своих коммунистах.

Айкиз, отведя взгляд, нерешительно произнесла:

— Раз уж вы все знаете... Может, посоветуете что-нибудь, товарищ Джурабаев!

— Вот те на!.. А мне показалось, что вам уже не нужна моя помощь, сами прекрасно во всем разберетесь. Ведь все ясней ясного, и остается только назначить день свадьбы.

— Ничего не ясно, и ничего у нас не получается! — в отчаянии воскликнула Айкиз. — А почему, не знаю. Наверно, я во всем виновата.

Лицо Джурабаева сделалось серьезным, он полез в карман за портсигаром, закурил, ободряюще кивнул Айкиз:

— А ну-ка, рассказывай все по порядку. Попробуем выяснить, в чем же у вас все-таки загвоздка.

После паузы Айкиз, усердно разглаживая ладонями

косынку, расстеленную на коленях, медленно заговорила:

— Мы еще во время войны начали переписываться, когда Алимджан-ака на фронт уехал. Ну... и полюбили друг друга. После того как Алимджан-ака вернулся домой, мы стали встречаться, и вскоре он сделал мне предложение... Я так растерялась... Я ведь до этого совсем не думала о замужестве...

— Ничего удивительного. И многие другие до поры до времени об этом не думают.

— Тут другое... У меня ведь в войну мама и братья умерли. Не до свадьбы было. В общем, я попросила Алимджана обождать. А потом мне начало казаться, что я его не стою. Он много видел, многое пережил... Какая я ему пара? Он требовал от меня ответа, а я все колебалась и не говорила ни «да», ни «нет». И произнести «да» я не решалась — мне хотелось на чем-то серьезно проверить и свое и его чувство, — и сказать «нет» у меня язык не поворачивался — я так боялась потерять Алимджана!.. В общем, время шло, я все тянула... А тут — Кокбулак. Я была просто поражена упорством, мужеством Алимджана-ака и полюбила его еще больше... Он ведь подвиг совершил, правда?

— И я думаю, что на этот подвиг вдохновляла его и любовь. Любовь к вам, Айкиз. Уверен — ради вас он способен и на большее. Любовь ведь придает сил человеку.

— Ох, он и сам говорил, что ради меня горы свернет... И я чувствовала себя такой счастливой. Я тоже для Алимджана-ака на все была готова. Когда, отчаявшись найти родник, он пал духом, я его постаралась подбодрить и дала ему обещание — вы знаете какое. А потом произошла эта история с плотиной... Настроение у меня было такое отвратительное. И я опять решила, что я не пара Алимджану, что он не любит меня, потерял ко мне уважение...

— Он что, упрекал тебя в чем-нибудь?

— В том-то и дело, что нет!.. Он избегал говорить со мной на эту тему. Словно ему все равно: ошиблась я, не ошиблась. Вот Иван Никитич, тот нашел пужные слова... А Алимджан-ака...

— Стыдно, Айкиз. Стыдно! — строго сказал Джурабаев. — Он щадил твое самолюбие, боялся бередить твои раны. За это ты должна быть ему только благодарна.

Теперь я уверен, что он по-настоящему тебя любит. Ладно, рассказывай дальше.

— Дальше?.. А я все вам рассказала.

— То есть как все? — изумился Джурабаев. — Ты ведь так и не ответила на мой вопрос: что же все-таки мешает вашему счастью?

Айкиз молчала, ей просто нечего было сказать Джурабаеву. Тот поднялся, весело щурясь. Айкиз тоже встала.

— Ну, тогда послушай, что я тебе скажу, — твердо и решительно произнес Джурабаев. — Все-то ты навывдумывала. И, прости меня за откровенность, твои переживания не стоят выеденного яйца. Я понимаю, бывает в жизни и так, что люди словно бы боятся собственного счастья. Оно само дается им в руки, а они его отталкивают и убеждают себя в существовании преград, которых на самом деле нет и в помине. Не страдаешь ли и ты подобной мнительностью?

— Может быть...

— Не прячься от счастья, Айкиз!.. И уж, во всяком случае, не годится нарушать свое слово. Вода Кокбулака давно в Алтынсайской долине. И ты просто обязана выполнить обещание, которое дала Алимджану. Как, исполнишь?

— Выполню...

Голос у Айкиз был тихий, но Джурабаев уловил в нем нотки и радости и облегчения.

Глаза у него подобрели, он шутливо пригрозил Айкиз:

— Ну, смотри, не подведи свата!.. Правда, в этой роли мне еще не доводилось выступать, но попробую. На что не пойдешь ради своих неразумных детей!.. Сегодня же я загляну к вам, поговорю с твоим отцом. Не возражаешь?

— Отец будет рад вам...

Айкиз проглотила комочек, подступивший к горлу. Лишь после того, как Джурабаев, попрощавшись с ней, зашагал к газнику, ей удалось справиться с волнением.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Легкий дымок вился над холмом, где еще стоял «штабной» шатер. Дымок то взлетал маленькими облачками, то таял, то мелькал в воздухе синими спиральками.

Издали могло показаться, что это курится небольшой вулкан.

На самом же деле дым вырывался из-под котла, пристроенного над очагом, в котором жарко пылал хворост.

Дымилось и раскаленное масло в котле.

А у котла, засучив рукава гимнастерки, стоял с длинной шумовкой в руке раскрасневшийся от огня Бекбута. Подождав, пока масло закипит еще пуще, он кинул в него косточку, которая мгновенно превратилась в темно-коричневый сухой огрызок. Спустя минуту, ловко поддев косточку шумовкой, Бекбута отшвырнул ее в сторону и кинул в котел соли. Тотчас послышалось громкое шипенье, потрескивание, масло начало стрелять горячими брызгами.

Лицо Бекбуты расплылось в довольной улыбке. Настала пора закладывать в котел лук, уже нарезанный Суванкулом, который сидел на траве, в тени шатра, поджав под себя ноги, и тонко-тонко настругивал сочную морковь.

Перед Суванкулом на разостланном белье, который он снял с себя, красовалось большое глазурированное блюдо гончарного производства, ляган, в котором подают это удивительное, никогда не надоедающее яство — узбекский плов. Пока ляган был занят уже приготовленными бараниной и морковью. Тут же, под руками у Суванкула находились эмалированная миска с рисом, два пучка зеленого лука и кулек с сушеным барбарисом, зирой и другими специями, придающими плову неповторимый вкус.

Плов не просто варят — над ним священнодействуют. Приготовление плова требует не только определенного навыка, но и таланта. Считается, что каждый узбек умеет или, во всяком случае, должен уметь готовить плов. Однако далеко не все берутся за это дело. Тут важна каждая мелочь: и рис, и мясо, и специи надо заложить в котел вовремя, в соответствующей дозировке и жарить, парить, кипятить, тоже не нарушая определенных сроков. Поторопишься с чем-нибудь или запоздаешь — и пиши пропало. Плов получится неудачный, есть его будут без удовольствия, и на голову вишовника падет позор.

Бекбута и Суванкул были мастерами приготовления плова.

Оба работали сноровисто, но без спешки и поначалу

храпили молчание, лишь обмениваясь порой многозначительными, понимающими взглядами.

Впрочем, созидание плова — это даже не работа, а, скорее, отдых. Сам процесс, так сказать, «плововарения», начиная с подготовительной стадии, доставляет человеку удовольствие, — нет, больше того, наслаждение!.. Приятное, успокоительное это занятие: выбирать продукты для плова, стараться покрасивей нарезать лук, мясо, морковь, колдовать над специями, созерцать оценивающим взглядом, хорош ли рис, хватит ли масла, и глубокомысленно решать, а не надо ли добавить к плову две-три головки чеснока.

Бекбута и Суванкул, хлопоча возле котла, тоже отдыхали душой, а от горделивого сознания, что все у них идет как надо и еще оттого, что плов они готовили не в чайхане, как это обычно бывает, а на открытом воздухе, в окружении природы, на вершине холма, с которого открывался широкий обзор, — оба испытывали особое наслаждение.

Отсюда видны были горы с ореховыми, фисташковыми и арчовыми рощами, отары колхозных овец, пасущиеся в предгорье, новые хлопковые поля, Алтынсай весь в зелени садов, а вдали — скалы, стиснувшие котлован со строящейся плотиной.

Больше всего сегодня радовали глаз поля. Колхозники вышли на работу принаряженными, и издалека чудилось, будто по зеленому морю медленно плывут маленькие разноцветные паруса.

«Кызыл юлдуз» ждал в это утро почетных гостей — представителей других предгорных колхозов, которым предстояло сеять хлопок в следующем году. Гости хотели увидеть, насколько добротный урожай хлопчатника дает целинная земля. Интересовали их и участки, поврежденные градом: как-то удалось хлопкоробам из «Кызыл юлдуз» справиться с последствиями стихийного бедствия. Первые целинники словно бы отчитывались перед теми, кто готовился идти по их стопам. Они намеревались придать встрече с гостями не только деловой, но и торжественный характер и принять их со свойственным узбекам щедрым радушием.

Потому-то Суванкул и Бекбута и были отряжены готовить плов — как мастера этого дела.

Не выдержав затянувшегося молчания, Суванкул, кивнув в сторону хлопковых участков, сказал:

— Оделись-то все, будто на праздник.

— А как же иначе, — отозвался Бекбута. — Гость в доме — праздник в доме.

— Они, выходит, к нам вроде как на выставку едут?

— А разве нам нечем похвалиться? Веками тут ни кустика хлопка не росло, а нынче, гляди, целых два участка под хлопком! В будущем году все предгорье засеем хлопчатником! Ну, не молодцы мы, а?

Словхатившись, Бекбута зачерпнул в котле шумовой, капнул из нее себе на ладонь, слизнул каплю и довольно почмокал губами:

— Вай, вай! Ну, братец Суванкул, плов будет божественный! Такого мне еще самому не доводилось есть!

— Мой тебе совет, Бекбута, — медленно проговорил Суванкул, — не хвастайся прежде времени. Водится за тобой такая привычка: прихвастнуть при случае. А хвастовство и удача, говорят, шагают порознь.

— Ай, какой остроумный! — беззлобно сказал Бекбута. — Ты бы лучше искрошил свои аскии вместе с морковью, я бы их кинул в котел.

— А что, неплохая была бы приправа!

— Только такая же горькая, как вот этот твой лук, — Бекбута кивком показал на пучок зеленого лука, который Суванкул держал в руках. — Ну, что ты им так любишься? Достал бы чего послаще — свежего помидора там или огурчика.

— Ишь, чего захотел — в начале лета-то! — хохотнул Суванкул. — Где ты их сейчас достанешь? А лук, который, между прочим, тоже все любят, — вот он! Говорят, горькая правда лучше сладкой лжи.

— Вай, и эту аскию — в котел, в котел!..

— И на том спасибо. Твой-то аскии годятся лишь на то, чтобы под котел их зашвырнуть. Ох, и здорово бы они горели вместе с дровами — ведь такие же сухие и сучковатые.

— Нет, братец Суванкул, запозистые! — Бекбута посмотрел на огонь, облизывающий черное днище котла. — Впрочем, под котел так под котел. Плов быстрее сварится, — правда, твои аскии его малость подпортят.

Суванкул покачал головой.

— И мастер же ты молоть языком. Свои-то аскии, видать, ни в грош не ставишь. А острое слово надо ценить...

— То-то ж из тебя так трудно слова вытягивать — легче стронуть с места груженный караван.

— Зато из тебя слова сыплются, как просо из дырявого мешка. Ты еще поболтай — про огурцы и помидоры...

Но Бекбута, привыкший выходить победителем из любой шуточной перепалки, на этот раз ничего не ответил Суванкулу. Он только глянул на друга как-то значительно; молча высыпал в котел рис, подбросил в огонь два корня гребенщика и направился к своему халату, лежавшему на траве. Еще раз, уже с лукавым торжеством, посмотрев на Суванкула, он нагнулся над халатом, достал из-под него аккуратно свернутый узелок, потом шагнул к другу и, присев перед ним на корточки, принялся этот узелок неторопливо развязывать. Суванкул пастороженно следил за его медлительными движениями.

— Значит, я болтун, пустозвон? — ехидно спросил Бекбута. — А ну, гляди!

Суванкул так и ахнул: перед ним на белом бельбоге лежали крупные, алые помидоры и свежие огурцы.

— Что же ты молчишь? Или язык проглотил? — не унимался Бекбута.

Взвешивая на ладони помидор, Суванкул неохотно пробурчал:

— Ладно, беру назад свои обвинения. Черт, где ты только раздобыл такую роскошь? — Ему все-таки не хотелось сдаваться. — Ну, уж теперь-то я знаю, кем ты был на фронте.

— Кем же, по-твоему?

— Ясно, кем: интендантом!

Бекбута не обиделся, а принялся спокойно, снисходительно объяснять:

— Если бы ты заглянул в мой военный билет, то убедился бы, что я всю войну провел на передовой и дружил с автоматом и ручным пулеметом. Но мог бы, конечно, справиться и с интендантскими обязанностями, поскольку — разносторонне талантлив... в отличие от некоторых. — Не давая Суванкулу возразить, он поспешно добавил: — А теперь сооруди-ка салат из моих помидоров и огурцов да кроши туда твоего лука.

Он прошел к котлу, а Суванкул извлек из кожаных ножен, висевших у него на поясе, роскошный, предназначенный для особых случаев нож с белой костяной ручкой и вычурной инкрустацией, осторожно потрогал лезвие большим пальцем и принялся нарезать овощи для салата. Неожиданно Бекбута запел:

Очень много есть красивых девушек у нас,
Звезды меркнут перед блеском их чудесных глаз,
И от зависти бледнеет, видя их, луна.
Лучшая из самых лучших к нам идет сейчас.

Суванкул оглянулся. На холм поднимались Айкиз и Алимджан. Делая вид, что не замечает их, Бекбута еще громче продолжал:

Ей к лицу платок из шелка, голубой платок.
И работает отлично, знает в деле толк.
Не найдешь такой прелестной девушки нигде,
Хоть пройди весь юг и север, запад и восток!

Лишь услышав традиционное «Ассалом алейкум!», Бекбута, выгребавший жар из-под котла, встрепенулся, выпрямился и, обернувшись к пришедшим, прижав обе ладони к сердцу, обрадованно воскликнул:

— Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогие гости! Милости просим!

Он метнулся в шатер, принес оттуда ковер, расстелил его в холодке, пригласил:

— Идите сюда, сейчас я дастархан накрою. Вы подождите в самую пору!

Но гости не отходили от Суванкула. Не отрывая глаз от касы с помидорами и огурцами, Айкиз спросила с недоумением и восторгом:

— Откуда у вас такие сокровища? Вроде не время еще им.

Бекбута опередил Суванкула:

— Это все с колхозного огорода. Вы отведайте, не стесняйтесь. А я сейчас плов подам.

Айкиз взяла из касы дольку помидора, но, прежде чем положить ее в рот, шепнула Алимджану на ухо:

— Говорят, когда пробуешь что-нибудь впервые в году, надо загадать желание.

— А вы загадали?

Айкиз уже жевала свою дольку.

— Угу.

Пользуясь тем, что Бекбута и Суванкул, оставив их одних, раскладывали на ковре дастархан, Айкиз выбрала в кассе дольку покрупнее, поднесла ее к губам Алимджана, сказала прежним заговорщическим шепотом:

— Вы тоже загадайте.

— Загадал.

— Тогда ешьте скорее.

Проглотив сочный ломтик, Алимджан вздохнул:

— Ох, если бы мы загадали одно и то же!..

— Все может быть, — лукаво отозвалась Айкиз.

К ним подошел Бекбута.

— Прощу к дастархану!

— Погодите, бригадир, — сказала Айкиз. — Откройте нам все-таки вашу тайну: откуда у вас свежие овощи?

Алимджан улыбнулся:

— А я, кажется, догадываюсь откуда.

Айкиз вопросительно посмотрела на него:

— Ну?..

— С огорода Халим-бобо. Старик ведь настоящий кудесник, у него овощи вызревают раньше срока.

— Точно, — подтвердил Бекбута. — Это Халим-бобо одарил меня помидорами и огурцами, велел подать их к плову. Сами видите, он отменил пословицу: каждому овощу свое время.

— Да, чудесный старик! — воскликнула Айкиз. — Погодите, он еще вырастит у нас и апельсины и лимоны. Это наш Мичурин.

Согласно кивнув, Бекбута решительно заявил:

— Точно, вырастит! Он ведь ученик Мичурина. Говорят, даже встречался с ним.

— Да, я помню. Он ездил к Мичурину в гости вместе с другими садоводами республики. Правда, в то время я была совсем маленькая. Но помню, весь кишлак говорил об этой поездке. А отец рассказывал, что Халим-бобо наведлся к Мичурину по совету самого Ризамата Мусамухамедова.

— Ваш отец тоже молодчина! — вставил Бекбута. — Кто первый предложил высадить полезную лесную полосу? Какие там теперь карагачи вымахали!.. И джида.

Алимджан серьезно проговорил:

— Хвала и честь нашим старикам! Они не отстают от молодежи.

— Э, многим молодым за ними еще тянуться надо! — засмеялся Бекбута и протянул руку в сторону ковра с дастарханом. — Ладно, разговоры разговорами, а дастархан ждет гостей.

Айкиз первой опустилась на ковер, рядом сел Алимджан. Когда Бекбута и Суванкул отправились к котлу, чтобы наполнить ляган пловом, Айкиз на мгновение прижалась к Алимджану, обдав его щеку горячим дыханием, шепнула:

— Алимджан-ака, а знаете, что сказал мне Джурабаев? Он хочет быть вашим сватом...

Алимджан просиял от радости, но не успел ничего ответить Айкиз, у ковра уже появились творцы плова с тяжелым дымящимся ляганом.

Когда они осторожно, торжественно водворили его на дастархане, Бекбута сказал с шутливой властью:

— А теперь — все внимание плову. Отставить разговоры! Выполняйте приказ.

Все молча принялись за еду. Плов убывал на глазах.

Первым нарушил молчание сам же Бекбута — он просто страдал, когда его язык долго оставался без работы.

— Послушайте, что мне в голову пришло. На фронте соединениям и частям, отличившимся в боях, присваивали звания гвардейских. А почему бы, Алимджан, моей бригаде, трудившейся на Кокбулаке, тоже не присвоить это звание? Вторая гвардейская Кокбулакская хлопководческая бригада! Звучит, а?

— Звучит, — улыбаясь, согласился Алимджан. — Но почему вторая?

— А первая — Суванкула.

— Я бы вас обоих отметил также и как авторов плова. Плов отличный!..

Приложив в знак признательности правую ладонь к сердцу, Бекбута собрался было что-то ответить, но не успел — все повернулись на звук автомобильных гудков, доносившихся от целинного полевого стана.

Айкиз быстро поднялась с места.

— Это, наверно, гости приехали. Надо идти.

Алимджан тоже уже стоял на ногах, расправляя под ремнем гимнастерку.

— Да, друзья, двинулись.

На Бекбуту жалко было смотреть, настолько он был ошеломлен и растерян.

— Погодите! А как же плов? У лягана-то дна пока не видно. Не годится это, плов на лягане оставлять.

— Ты не расстраивайся, бригадир,— постарался утешить его Алимджан.— Никуда твой плов не денется. Вернемся с гостями и за милую душу опустошим весь котел.

Но Бекбута и слушать ничего не хотел.

— Нет, так нельзя! Доешьте то, что подано. Это же минутное дело! А плов-то какой, нет, вы поглядите, какой плов! Я готовил его из риса, посеянного в пору цветения джиды. Это особенный рис. Глядите, каждая рисинка не меньше хлопкового семечка.

Он схватил с лягана горсть риса, догнал спускавшихся с холма Айкиз, Алимджана, забежав перед ними, подбросил рис на ладони:

— Видали, какой рассыпчатый? А масло так и переливается. От такого плова грешно уходить.

Суванкул бросил на него строгий взгляд:

— Ты свое кривлянье-то оставь. Хочешь, сам его ешь. А нам надо гостей встречать.

Оторопев больше всего оттого, что Суванкул взялся его поучать, Бекбута застыл на месте, потом досадливым жестом стряхнул с ладони рис и молча, сохраняя обиженное выражение лица, зашагал обратно к шатру.

Гости в сопровождении Айкиз, Кадырова и Алимджана долго ходили по хлопковым полям. Они придирчиво разглядывали кусты и коробочки и не раз откровенно, завистливо восхищались:

— Хороший хлопок! Даже не верится, что вы его первый год растите.

— Вай, вай, он и граду не поддался!

— Ну, в будущем году мы с вами посоревнуемся. Еще неизвестно, кто будет собирать больше хлопка!

Они осмотрели и владения Халим-бобо: молодые целинные сады и огороды с первыми свежими овощами. Старик заставил гостей отведать и огурцов, и помидоров, все ели с аппетитом, похваливали волшебника-садовода, перешучивались. Лишь Кадыров хмурился и сильнее обычного сутулил спину. Ему бы радоваться вместе со всеми, а он был словно чем-то недоволен, какой-то червь точил его сердце... Айкиз стало даже жалко председателя.

А потом хозяйева и гости прошли на холм, Бекбута

угостил их отменным пловом, и Алимджан опять сидел рядом с Айкиз, и она ловила на себе его любящий, ждущий, какой-то изучающий взгляд, словно он видел ее впервые...

Вот только наедине друг с другом им побыть так и не удалось, и об этом Айкиз жалела больше всего.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Лето в Алтынсае выдалось на редкость жаркое.

Даже старики, которые, как известно, любят тепло, и те томилась от нестерпимого зноя, и стоило им собраться вместе, как они тут же заводили речь о погоде: мол, такого палящего солнца на их памяти еще не бывало, от неба пышет жаром, как от перегретого тандыра, а тут еще то и дело являются незваные гости из Кызылкумов — гармсили. Правда, под конец беседы все сходились на том, что ради хлопка можно малость и пострадать: ведь жара хлопку на пользу.

Да, людей это лето измучило. В обычные годы, даже если днем солнце жгло всю, то хоть утром можно было отдохнуть от зноя: с гор веяло отрядным ветерком, и воздух какое-то время был свежий, прохладный. Теперь же он накалялся с самого утра, и ветер дул не с гор, а из пустыни — тоже жгучий, иссушающий.

— Страшно подумать, — говорили колхозники, — что бы мы делали теперь без воды? Вода — наша спасительница.

А еще они поминали добрым словом полезающую лесную полосу, высаженную на краю Кызылкумов по инициативе Умурзака-ата.

Ведь когда-то гармсили дотла сжигали посевы, обрекая дехкан на голод и нужду.

Нынче же полезающая полоса припимала на себя самые грозные удары огненного ветра, рожденного Кызылкумами.

Все же, хотя воды теперь стало больше и могучий строй деревьев преграждал путь суховеям, колхозников не покидала тревога. Солнце палило без устали, гармсили налетали один за другим, земля была как горячая сковорода, и посевы изнывали от жажды. Надо было и щедро и вовремя поить сладкой горной водой и поля, и сады, и люцерновые уголья.

Халим-бобо в эти дни потерял и сон и покой. Молодые хрупкие саженцы нуждались в поливе, а колхозный мираб не давал ему воды. Старый садовод злился, он пытался и увещевать мираба, и грозил ему: мол, тот губит труд многих людей, и обвинял его в преступном равнодушии, но у мираба был железный характер, на него ничто не действовало, он только односложно повторял:

— Для меня главное — хлопок. Пока не полью его, воды никто не получит.

Халим-бобо, вздохнув, принимался обходить свои сады, старые и целинные. Он внимательно оглядывал молоденькие яблоньки, черешни, абрикосовые деревья и, немного успокоившись, вслух разговаривал с ними:

— А вы у меня молодцы. Вон какие крепкие. Видно, до этого я вдоволь обеспечил вас водицей. Потерпите пока, родные. Скоро снова дойдет до вас очередь...

В один из таких обходов, когда старик сидел на корточках возле саженца, который почему-то начал хиреть, он услышал голос своей любимицы и верной ученицы Лолы:

— Бобо!..

Лицо у Лолы было веселое, покрасневшее.

— Я к вам со всех ног бежала! Мираб сказал, что сегодня ночью мы получим воду.

Старик с несвойственным его возрасту проворством вскочил на ноги, посмотрел на девушку просветлевшим взглядом:

— Ну, обрадовала! За такую весть с меня суюнчи...

— Ой, я сама на седьмом небе от радости! И то, что вы довольны, для меня лучший подарок.

Лола тут же умчалась, а Халим-бобо немного постоял, глядя на солнце, потом сказал самому себе:

— А пора уж и перекусить.

Он направился к арыку, где под большим серебристым тополем уютилась его чайла — навес из циновок, укрепленный на четырех высоких кольях. Одна циновка была постелена на земле вместо кошмы. Стенок Халим-бобо делать не стал: ему приятно было, что шалашик насквозь продувался ветерком, и, сидя на циновке, он мог видеть, кто и куда едет или идет по дороге, что делается в садах.

Войти в чайла можно было с любой стороны, но старик предпочитал одну, «парадную», ближнюю к арыку. Не

спеша опустившись на циновку, он начал развязывать узелок с едой. Доставая свои припасы, бормотал про себя:

— А что ж, почной полив в такую жару — самое милое дело. Мираб знал, когда выделить мне воду; хоть я с ним и бранюсь, а есть у него голова на плечах!..

Накрошив в эмалированную миску зеленый лук, огурцы, помидоры, он обильно их посолил, посыпал красным, жгучим, как огонь, перцем, потом разломил свежую лепешку и только собрался было приняться за трапезу, как услышал топот копыт. Подняв глаза, старик увидел секретаря комсомольской организации колхоза Керима, выезжавшего на коне из старого сада, который прилегал к целинному. У самой чайла Керим остановил коня и, спрыгнув на землю, привязал его к тополию. Шагнув под навес не с «парадного», а с «черного» хода, что заставило Халим-бобо чуть нахмуриться, Керим почтительно пожал руку старому садоводу.

— Здравствуйте, Халим-бобо. Понимаете, Лолу пщу. Она член нашего бюро, надо посоветоваться с ней по одному делу.

— Лола была здесь недавно, скоро опять появится. Она у нас порхает без устали, словно мотылек. Да ты садись, сынок. Поедим. Ты ведь к самому обеду поспел, — видать, теща тебя любит.

Керим широко улыбнулся:

— О женитьбе я еще не думал, откуда ж у меня теща?

— А, сынок, теща — дело наживное, нет, так будет.

Халим-бобо, поднявшись, сходил к арыку, журчавшему за тополем, и вернулся с большим глиняным кувшином. Встряхнув его, старик поставил кувшин на землю, вынул из горлышка пробку, обмотанную влажной белой тряпицей, наклонил кувшин над касой, наливая в нее что-то густое... В воздухе запахло кислым молоком, разваренной джугарой. Наполнив и вторую касу, Халим-бобо сказал:

— Жара-то стоит видал какая? В знойный денек самая подходящая еда — джугара-гужа. На вот касу, освежись, подкрепи силы.

Керима не надо было уговаривать, он и сам знал, что в летний зной в поле нет ничего вкусней и полезней джугары-гужи — остуженного супа, приготовленного из дробленой джугары и приправленного кислым молоком. У че-

ловека, бывает, в полдень совсем пропадает аппетит, лишь жажда его мучает, а джугара-гужа способна и жажду утолить и насытить. После нее чувствуешь себя бодрым, полным новых сил.

Чуть не залпом опустошив касу с целебной джугарой-гужой, Керим крикнул от удовольствия, сказал, вытирая губы:

— Благодать!.. Будто заново на свет родился.

У Халим-бобо лицо расплылось в горделивой улыбке.

— Я вот уже пятьдесят лет в жару пью джугару-гужу. Потому, верно, и не выгляжу стариком, а?.. Ну, а теперь скажи: зачем тебе все-таки понадобилась моя любимица?

— Лола? Понимаете, Халим-бобо, при МТС открываются курсы трактористов. От нашего колхоза надо направить туда трех комсомольцев. Мы уже обсудили с другими членами бюро подходящие кандидатуры, теперь я хочу и с Лолой посоветоваться.

Керим вдруг вскинул голову, прислушался... Откуда-то издали донесся отчаянный девичий голос:

— Халим-бобо!.. Халим-бобо!..

Старик и Керим одновременно поднялись, выбежали из-под навеса. Оба с минуту вглядывались из-под ладоней в знойное марево, окутавшее все вокруг, но в поле в это полуденное время не было видно ни души.

— Может, показалось? — с сомнением произнес Керим.

Халим-бобо возразил:

— Нет, это Лола кричала. Я ее голос сразу узнал.

Словно в подтверждение его слов, крик, совсем слабый, повторился:

— Эй, люди!.. Халим-бобо!.. Сюда!.. Скорее сюда!..

И тут же они заметили на дальнем холмике, за которым пролегал Янгаксайский арык, маленькую женскую фигурку.

Они бросились бежать туда прямо через поле, вдоль рядков совсем уже созревшего хлопчатника; на полпути Керим, спохватившись, подумал, что надо было сесть на коня, но возвращаться было поздно, он через плечо глянул на Халим-бобо, предупредил:

— Я побыстрее припущусь. А уж вы как можете, ладно?

Старик махнул рукой: беги, не задерживайся. Но сам ни на шаг не отставал от Керима.

Лола на холме уже не было, ее ярко-оранжевое платье язычком пламени металось вдоль дамбы, которая в этом месте отгораживала арык от хлопкового поля.

Увидев приближавшихся к ней Халим-бобо и Керима, Лола кинулась им навстречу:

— Скорее сюда!.. В дамбе промоина!

Но им и самим уже было ясно, какая стряслась беда. Вода, туго наполнившая арык, прорыла себе лазейку в дамбе, которая на этом участке плохо, видно, была утрамбована, и мутным фонтаном хлестала из промоины, все более расширяя ее и затопляя ближайшие рядки хлопчатника. Хлопковые кусты, залитые водой, смятые, поваленные навзничь, словно молили о помощи, трепеща еще не затонувшими листочками.

Лола, плача и вытирая глаза мокрыми руками, торопливо объясняла:

— Я уж и камней, и земли, и травы тут навалила, а вода все расшвыряла. Что же теперь будет, Халим-бобо, Керим?..

— Без паники, дочка, без паники, — думая о чем-то, бормотал Халим-бобо. — И сырость не надо разводить, ее тут и так хватает. Мы вот что сделаем... Наберите побольше дерна и бурьяна и тащите сюда.

Керим помчался к чайла за кетменем, а Лола побежала вдоль арыка. На бегу она разулась, босые пятки звучно шлепали по воде.

Халим-бобо меж тем опустился перед промоиной на колени, так что они оказались в воде, и не засучивая, а лишь подпернув рукава рубашки, которые тут же сползли обратно, сунул руку в промоину, стараясь определить, насколько она велика.

Вскоре Керим положил возле старика тяжелый пласт дерна.

— Вот... принес...

— Ну-ка, давай его сюда... Посмотрим, сладит ли с ним водица...

Взяв дерн, старик попытался заткнуть им промоину, но струя воды оттолкнула назад и дерн и самого Халим-бобо. Он покачнулся, испуганно воскликнул:

— Вай, вай!.. Ну и сила!

Поднявшись на ноги, он оглянулся. Вода заливала все новые и новые рядки хлопчатника. Старик хрипло закричал:

— Лола! Керим! Зовите людей на помощь! Одним нам не управиться!

Но те его не слышали. Лола была далеко, вязала в пучки бурьян. Керим, правда, находился поближе, оп кетменем нарезал новые куски дерна, но слова Халим-бобо заглушал шум воды.

Старик в полной растерянности, ощущая собственное бессилие, наблюдал за тем, как крутилась, шипела вода в черной воронке, у основания дамбы. Если бы было здесь человек десять, то они быстро ликвидировали бы опасность.

Но он тут один, нет пока рядом даже Керима и Лолы. Что же делать?

Халим-бобо упрямо нахмурился: ну, нет, он не даст в обиду хлопок — первый хлопок в колхозе! Он найдет управу на этот поток воды, которая из блага сделалась злом!..

Надо закрыть промоину с той стороны дамбы. Правда, там глубоко, арык несет быстрые волны почти на уровне дамбы. Но неужто же он, Халим-бобо, так немощен, что не сладит с проклятым потоком?

Кряхтя, старик взобрался на дамбу и, держась руками за ее гребень, стал осторожно спускаться вниз, в воду. Сопrotивляясь течению, он нащупал ногами скользкое дно, встал спиной к дамбе — в том месте, где, по его предположению, вода должна была входить в промоину.

Напор волн прижал его к дамбе.

Старик напряг слух... Вроде бы с наружной стороны дамбы больше уже не доносился плеск фонтана, еще недавно вырывавшегося из промоины.

Хватаясь за земляную насыпь, погруженный в воду почти по плечи, Халим-бобо шептал с удовлетворением и каким-то злорадным торжеством:

— Что, милая водица, не одолеть тебе старика? Ну, ну, не кипятись, ты меня не спибешь, я старик еще крепкий, да, крепкий!

К нему подоспели Керим и Лола. Девушка, увидев старого садовода в арыке, ахнула и чуть не заплакала от жалости к нему, а Керим сам собрался лезть в арык, чтобы заменить Халим-бобо, но тот был непреклонен.

— Куда?.. Мне и на минуту нельзя отойти. Вода только и ждет, чтоб снова хлынуть в промоину, а я ее не пускаю. Слава богу, не стар еще, продержусь. Да и не все одним

молодым бросаться грудью на вражки доты. Как там с вашей-то стороны, вода сочится?

— Еле-еле.

— Вот! — гордо воскликнул старик. И припнулся командовать: — А ну, взбирайтесь на дамбу. Видите, земля просела над промоиной? Кладите туда дерн, бурьян и поплотней утрамбовывайте. Не жалейте силепок-то! И землицы подкиньте. Трамбуйте, трамбуйте!.. Земля, глядишь, забьет промоину, и ни одна капля не проникнет на поле. Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, дети мои! Я все-таки не каменный!..

Халим-бобо начал уже и уставать и мерзнуть.

Лишь через полчаса, наглухо затрамбовав промоину, убедившись, что хлопку больше не грозит опасность, все вернулись в чайла Халим-бобо.

Лола проворно разожгла очаг, сложенный из двух кирпичей, вскипятила воду в черном чугунном кумгане. Керим от чая отказался. Поговорив с Лолой, ускакал на коне в кишлак.

Халим-бобо, накинув на плечи теплый халат, сидел на циновке, против обыкновения невеселый, понурый, молчаливый. Лола угощала его чаем, но старик отхлебывал из пиалы медленно, словно с неохотой.

— Пейте, пейте, Халим-бобо, — уговаривала Лола, с тревогой вглядываясь в осунувшееся, бледное лицо садовода. — Вам надо согреться, вы ведь, наверно, сильно промерзли, да? Вот отогреетесь и пойдете домой. Там в постель ляжете. Вам необходим отдых. А то недолго и заболеть.

— Ты, дочка, не беспокойся, я крепкий, меня никакая хвороба не возьмет.

Старик бодрился, но голос у него был слабый, потухший.

Незаметно он задремал, уронив голову на грудь. Лола смотрела на него с состраданием, не зная, что ей делать: то ли разбудить старика и уложить поудобнее, чтобы он смог как следует выспаться, то ли уж не трогать его, дать немного отдохнуть?..

Издали, от Янгахсайского арыка, послышался ровный, спокойный рокот трактора. Сердце ее дрогнуло радостно и встревоженно. Там ведь работает Погодин!.. И это его трактор гудит всегда так солидно, уверенно.

Некоторое время Лола на цыпочках кружила вокруг спящего Халим-бобо, не решаясь ни обеспокоить его, ни оставить в шалаше одного. А ей обязательно надо было повидаться с Иваном Борисовичем. Ради Халим-бобо. Ведь ясно же, что старик захворал. Долго ли простудиться, простояв около часа без движения в холодной воде?.. И она, Лола, должна позвать сюда Ивана-ака, чтобы тот отвел упряма домой, раз уж он не слушается свою ученицу.

Уже не колеблясь, Лола выскочила из чайла и со всех ног понеслась меж зеленых рядков на гул трактора. Но на полпути резко остановилась, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Лицо ее залила краска стыда. Вай, в каком виде она предстанет перед Погодиным: ноги босые, платье мокрое, грязное. Надо переодеться. Ведь у нее в ветвях тополя, стоящего возле шалаша, припрятан заветный узелок с желтыми, как у Айкиз, новенькими сапожками, шелковой жакеткой-безрукавкой и небольшим зеркальцем. Каждый раз, когда Лола шла работать в сад, она не забывала брать с собой этот сверток — так, на всякий случай.

Вернувшись к шалашу, Лола сперва умылась в арыке, потом, подойдя к тополи и привстав на цыпочки, достала свой узелок и, укрывшись за толстым стволом дерева, принялась приводить себя в порядок: обулась в сапожки, надела поверх платья нарядную жакетку, аккуратней уложила косы, поправила на голове красивую вышитую тубетейку, чуть подсурьмила брови.

Поглядевшись в зеркальце, Лола решила, что в таком виде она вполне может показаться Погодину, и вновь устремилась по направлению к Янгаксайскому арыку.

Трактор, скрытый от глаз Лолы дамбой, все рокотал, монотонно, упрямо, но внезапно рокот прервался.

Лола замедлила шаги. Над полем повисла тишина — плотная, звенящая. Лишь впереди, за дамбой, плескалась, шелестела струившаяся по арыку вода.

Замерев на месте, Лола прислушалась: не загудит ли снова трактор? Нет, ни звука... Видно, он встал из-за какой-то поломки. И выходит, она зря мчалась сюда сломя голову: на тракторе работал кто-то другой, а не Погодин. У Ивана Борисовича тракторы не ломаются и не простаивают. Он мастер, каких мало!..

Настроение у Лолы упало, она хотела было повернуть обратно, но потом решила, что раз уж она здесь, а отсюда недалеко до промоины, то просто грешно не проверить, надежно ли она заделана, не просочилась ли снова вода.

Она медленно двинулась вдоль дамбы, вялая, поскучневшая, и вдруг вздрогнула, услышав за спиной громкий знакомый голос:

— Лола!..

Вспыхнув от смущения и радости, она обернулась и увидела нагонявшего ее Погодина. Через минуту он шел уже рядом с ней и неуклюже извинялся:

— Я напугал вас?.. Вы уж простите меня, медведя. Хотел тихо окликнуть, а заорал, как оглашенный. Вы не сердитесь?..

Лола улыбнулась про себя: как она могла сердиться, если Иван Борисович был возле нее!.. Слушая Погодина, она все смотрела на его лицо. То ли от жары, то ли от напряжения, с каким Погодин выдавливал из себя слова, стесняясь своей неуклюжести, оно все было в крупных каплях пота. И Лола не вытерпела: достав из рукава белоснежный, легкий, как пушинка, платочек, протянула его Погодину:

— Вот, возьмите. Вам ведь жарко...

От этих слов пот еще сильнее выступил на лбу и висках Ивана Борисовича. Совсем смешавшись, он принялся торопливо шарить по карманам брюк, потерянно бормоча:

— Что вы, Лолахон... Ваш платок не про меня. Да у меня свой есть. Черт, где же он?.. Вот незадача, должно быть, я его в кожанке оставил.

Он боялся поднять глаза на девушку, а она все тинула к нему руку с платком:

— Возьмите, Иван Борисыч. Ну, что вы стесняетесь? Право, он у меня не последний...

Видя, что с каждой минутой Погодин чувствует себя все более неловко, Лола, еле сдерживая улыбку, приказала:

— Погодите, Иван Борисыч. Да стойте же!.. Вот так... И не шевелитесь!

И она сама осторожно вытерла ему лицо. Он в это время боялся не то что пошевелиться, а даже вздохнуть.

Когда они зашагали дальше, Лола спросила:

— А как вы здесь оказались, Иван Борисыч? Вы ведь работали по ту сторону арыка, да?

— Да, мы проводим культивацию на участке Бекбуты. Мимо Керим проходил, от него я и узнал, что у вас тут стряслось. Ну, остановил трактор, прошел по мостыку сюда; дай, думаю, погляжу на эту злополучную промоину. Потом хотел Халим-бобо проведать. Мы теперь промоину вместе осмотрим, вы ведь, судя по всему, тоже туда путь держали?.. Эту часть дамбы придется, видно, укреплять...

— Я шла к вам, Иван Борисыч! — тихо сказала Лола. — Боюсь я за Халим-бобо. Как бы он не заболел... Выглядит совсем плохо. Сидя уснул. Такого с ним никогда еще не бывало.

Погодин нахмурился:

— Так что же мы теряем время? Промоину можно и после обследовать. Пошли к Халим-бобо!

Круто повернувшись, он размашистым шагом направился к видневшемуся вдалеке тополю. Лола еле поспевала за ним.

Каково же было их изумление, когда, приблизившись к чайла, они не обнаружили там Халим-бобо!.. Лола не верила своим глазам.

— Нет, вы посмотрите, наш больной исчез!.. Куда он мог деться?

Погодин улыбнулся:

— Вот непоседа...

— Это верно, он старик беспокойный. Прямо ртуть! — с гордостью сказала Лола. И вздохнула. — Только не знаю, радоваться этому или нет. Если он лучше себя почувствовал и пошел в старый сад или на бахчу, тогда все в порядке. А как ему хуже стало и он домой один отправился? — Она огляделась вокруг. — Да нет, он должен быть где-то рядом. Старик не терпит беспорядка, и когда уходит домой, то убирает и дастархан, и чайник, и кумган. А все осталось на месте, видите? Пойдемте поищем его в саду.

Она повернулась, чтобы выйти из чайла, и увидела Халим-бобо, который приближался со стороны старого сада. Обими руками он поддерживал за края тяжело отвисшую полу своего ватного халата. От удивления Лола застыла на месте, а когда старик, перешагнув арык, вступил в чайла, весело защебетала:

— Ой, Халим-бобо, где ж это вы пропадали? Мы с Иваном Борисычем прямо изволновались... А что это у вас в халате?

Вместо ответа Халим-бобо чуть приоткрыл полу халата, и Лола всплеснула руками:

— Вот чудо-то!.. Арбуз!.. Откуда он взялся?..

Продолжая хранить молчание, старик показал арбуз, оттягивавший полу, и Погодину. Тот только покачал головой:

— Действительно, чудеса!.. У вас, выходит, и бахчевые созрели?

— Возьми его, сынок, — сказал Халим-бобо. — Не стесняйся, бери. Это первый арбуз, выращенный на земле, которую ты вспахал этой весной. Пересадил я его туда, правда, из теплицы. Но все равно он «целинный»! И ты первый должен его отведать.

— Что ж... спасибо, отец.

Погодин ухватил за гладкие бока большой, в темно-зеленых полосах арбуз и осторожно опустил на циновку.

Лола благодарно посмотрела на Халим-бобо:

— Какой вы все-таки славный, бобо!.. Будто знали, что к вам гость пожалует.

— Знал, знал, доченька. Я Ивана Борисыча еще издалека приметил. Ну, а нам, садоводам, не пристало встречать дорогих гостей с пустыми руками.

Приглядываясь к Халим-бобо, Лола заботливо спросила:

— А как вы себя чувствуете? Согрелись немного?

— Согрелся, согрелся. Ведь не зима сейчас... Только вот какие-то черные мошки мельтешат перед глазами. Я уж их отгонял, отгонял, а они все прыгают. Стало быть, мерещатся они мне...

Лола посерьезнела:

— Вам надо домой. Хотите, мы вас проводим?

— Да что ты заладила: «домой», «домой». Вот угостим Ивана Борисыча, а там видно будет.

Халим-бобо, не снимая халата, как-то грузно, без обычной ловкости, опустил на циновку, плотно запахнул колени широкими полами. Он сам хотел разрезать арбуз, но, взяв его в руки, чуть не выронил и поспешил передать Погодину.

— Разрежь, сынок. Сперва напополам...

Когда арбуз с треском развалился надвое, все трое ахнули от восхищения. Мякоть оказалась сочной и такой сахаристой, словно была покрыта легкой изморозью.

— Иван Борисыч,— сказала Лола,— половина арбуза ваша, она вам принадлежит по праву. Берите любую.

Погодин отрицательно мотнул головой:

— Нет, Лола, па этот арбуз не меньшее право имеют и девушки-садоводы, и аксакалы-мичурипцы. Ведь арбуз — плод вашего труда. Поэтому, уж позвольте, я разделю его на всех...

Лола насупила брови, недовольная его решением: отдавая половину арбуза Погодину, она, видно, что-то про себя загадала... Покосившись на свою любимицу, Халим-бобо проговорил:

— Не делись, сынок, своим счастьем. Бери его себе целиком.

Лола согласно закивала, улыбаясь и не сводя глаз с Ивана Борисовича. А он с замирающим сердцем подумал, что у него одно счастье — Лола, и ему вдруг захотелось поднять ее на руки и унести далеко-далеко...

Он вздохнул, удивив этим и Лолу и старика, и, спохватившись, как можно рассудительней произнес:

— Спасибо за то, что вы от души желаете мне счастья. Но счастливый человек — это всегда щедрый человек. И он становится еще более счастливым, когда отдает что-то другим. Так что прошу — примите от меня ваш же подарок.

С этими словами он поднес на кончике ножа яркий ломоть арбуза Халим-бобо, потом другой ломоть Лоле.

Арбуз был сладкий-сладкий. Лишь старому садоводу почудилась в нем горечь... «Наверно, я все-таки захворал», — подумал он с испугом и, стараясь скрыть свое состояние от Лолы и Погодина, принялся уплетать арбуз с преувеличенным аппетитом, чмокая губами и приговаривая:

— А славный арбуз, дети, верно, славный?

Есть ему вообще ничего не хотелось.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Около двух недель пролежал Халим-бобо дома, в постели, борясь с недугом.

Его поединок с бедой, которая чуть не обрушилась на хлопковое поле, кончился сильнейшей простудой.

У старика ломило кости, болезнь словно выворачивала суставы, особенно в плечах и коленях. А когда он

ночью или днем смыкал глаза, то его начинало мучить ощущение, будто что-то тяжелое давит ему на веки. Они словно наливались свинцом, и он не мог их поднять. Об этом Халим-бобо никому не говорил, мужественно терпел странную, давящую боль, а про себя думал: «Это сама смерть силится закрыть мне глаза. Только я не поддамся, нет, не поддамся, я еще крепкий старик!»

То ли лечение дало свои плоды, то ли победила воля Халим-бобо к жизни, но однажды утром он проснулся, чувствуя легкость во всем теле. Озноба, ломоты, тяжести в веках как не бывало.

Обрадованный, он попробовал слезть с постели, но тут же осел на пол и с трудом взобрался обратно на кровать. За время болезни он так ослаб, что не мог стоять на ногах.

Слабость держалась в нем куда дольше, чем сама хворь. Это удручало старика: ему не терпелось побывать в садах, виноградниках, на бахче, а он не в силах был дойти даже до порога. Выздоровев, он все еще оставался прикованным к постели, и это было обидней всего.

Но, верный своему нраву, он с веселым видом встречал гостей, от которых не было отбоя, и шутил:

— Болезнь-то, видать, вошла в меня через большую промоину, а выбирается сквозь игольное ушко.

Чаще всех навещали старого садовода Умурзак-ата и Лола. Они подробно докладывали ему, что делается на целинных участках, где хлопчатник уже раскрывал коробочки, в садах, на бахчах. Халим-бобо внимательно их выслушивал, а потом засыпал вопросами: поспевают ли «белый налив», не слишком ли обильный урожай дали яблоневые деревья, не отвязалась ли красная тряпочка от черешенки, над которой он проводит важный опыт?.. Лола получала от него строгие наказания: яблоня, чересчур отягощенная плодами, надо обтрясти, ранний виноград весь снять, а саженцы ни на минуту не оставлять без ухода...

Нетрудно понять, с каким нетерпением Халим-бобо дожидался прихода Лолы и Умурзака-ата.

С Умурзаком-ата он говорил не только о делах, но и просто отводил душу, любил вспомнить молодость.

— Ох, Умурзак, тяжело нам тогда жилось, ой-бой, как тяжело, а духом мы не падали и болеть не болели. Помнишь Азимбая, сына ишана Кабулходжи?.. Вай, какой был урод. Ноги кривые, голова как арбуз на топ-



ком, хилом черенке. А лицо все в прыщах. И чего они к нему привязались? Ведь питался по-хански, каждый день в доме белые лепешки, кумыс, плов на курдючном сале, с перешелами. А поди ж ты, осыпали его эти прыщи, и никак он не мог от них избавиться. Может, потому и был такой злющий? А мы с тобой пробавлялись одними ячменными лепешками, а всякие недуги обходили нас стороной. Не то что нынче... Да, молодость, молодость...

Умурзак-ата только вздыхал. А Халим-бобо продолжал:

— А помнишь, каким ты был бесстрашным, лихим наездником? А как мы с басмачами дрались?.. Жаль, ушел у нас из-под самого носа проклятый Кабулходжа. Несправедливо это, а?

Умурзак-ата мрачно кивал: да, жаль, да, несправедливо...

О чем только не переговори́ли старики за время болезни Халим-бобо, что только не вспомнили!..

Когда речь заходила о новой жизни, о создании колхоза, о том, как боролись они все вместе за счастье и достаток, то поневоле всплывало имя Кадырова. И старики сокрушались: что же с ним случилось, ведь прежде он был энергичным, умелым организатором, рачительным хозяином, а нынче его просто не узнать: зазнался, занесся, гордыня его обуяла, прислушивается только к своим словам, считается лишь со своим мнением, с аксакалами совсем перестал советоваться, и чуть что не по нему — он на дыбы.

Как-то, когда разговор опять коснулся Кадырова, Халим-бобо сказал:

— А наверно, мы сами проглядели, как наш председатель сошел с прямой дороги на обочину... Не враз же гнильца-то в нем завелась. Я вон, если о каком дереве хоть месяц не позабочусь, и то его червь начинает точить. А мы долгие годы раиса только похваливали.

— Да, — согласился Умурзак-ата. — Сказать по чести, есть тут и наша вина.

Правду говорит пословица, что человек бывает легок на помине. Не успел Умурзак-ата закончить фразу, как в дверях появился сам Кадыров.

Старики смотрели на него с хмуроватым недоумением — ведь он впервые пришел проведать Халим-бобо. Каким же ветром его сюда занесло, что привело в дом старого садовода? Уж, во всяком случае, не беспокойство о его здоровье, не то бы давно уж пожаловал...

Но, как молвится, гость всегда украшение дома.

Халим-бобо, опомнившись, радушно поздоровался с ним, пригласил войти. Кадыров на цыпочках прошагал к его постели, поставил возле нее стеклянную четверть, наполненную чем-то белым.

— Вот. Кумыс. Совсем свежий. Я сам раздобыл его в горах, специально для больного.

Хмыкнув, он замолчал. Старики переглянулись, не зная, о чем говорить с Кадыровым. Пауза затягивалась... Умурзак-ата и Халим-бобо терпеливо ждали, когда Кадыров сам объявит, с чем он сюда явился. И тот наконец бухнул:

— Хотел я, на прощанье, покаяться перед Халим-бобо.

Халим-бобо приподнялся на постели.

— Это почему же — на прощанье?

— Видать, скоро уеду я от вас, аксакалы. Насовсем уеду.

— Уедешь? Далеко ли?

— Думаю податься в Мирзачуль, в Голодную степь.

— Что же ты там не видел?

— Там люди с опытом — на вес золота. И их умеют ценить.

— А у нас не умеют? — В голосе Халим-бобо звучали и насмешка и горечь.

— Почему? И у нас ценят. Только не всех.

— Тебя, значит, не оценили?

Кадыров набычился.

— Я тут теперь последняя спица в колесе. Можно меня грязью закидывать, топтать ногами...

— Ай-яй, раис,— Халим-бобо с притворным сочувствием покачал головой.— А мы и ведать не ведали, что ты такой несчастный. Ну, а в Мирзачуле, думаешь, тебя тоже председателем выберут?

— Может, и выберут. Там опытные руководители вот так нужны! — Кадыров провел ребром ладони по горлу.— Уж без работы не останусь.

Опять воцарилось тягостное молчание. Его нарушил Умурзак-ата:

— И не жалко тебе, раис?

— Кого жалко?

— Я хочу сказать: не жаль тебе покидать родные места? Ведь с Алтынсаем у тебя вся жизнь связана.

Кадыров мрачно вздохнул:

— Верно. Всю жизнь я отдал Алтынсаю...— У него затуманились глаза.— Эти дни бродил я по полям — и хлопковым и пшеничным, в горы съездил... Ведь тут каждая травинка, каждый камень мне знакомы... Прошелся и по вашим садам, Халим-бобо. Красотища какая... И каждое деревце вроде как родное. Каюсь, недооценивал я ваш труд, Халим-бобо. Да, недооценивал. Вот я и решил навестить вас и сказать, что неправ я был тогда... помните, когда я к вам в сад заезжал, а вы мне насчет саженцев что-то говорили... Я и слушал-то краем уха. Так что, отец, вы уж простите меня. Не хочу я уезжать с камнем на сердце...

Речь Кадырова повергла стариков в крайнее изум-

ление. Халим-бобо вообще не нашелся, что ответить райсу, а Умурзак-ата, помедлив, сказал:

— За последнее время, председатель, я впервые от тебя такое услышал. Сказать по чести, удивил ты нас, удивил. Мы думали, что ты уже не способен признавать свои ошибки и всегда считаешь себя правым.

— Хм... Я же живой человек. Не ошибаются-то только памятники.

— Нам по душе твои слова, председатель, — продолжал Умурзак-ата. — Вот всегда бы ты, сидя на верблюде, глядел вдаль, а не поглядывал свысока на других. Как знать, может, и ошибок-то было бы меньше. И с людьми во всем советоваться — тоже дело благое, полезное. Ты ведь знаешь поговорку, что пастух даже у своего посоха спрашивает совета.

— Верно, аксакалы. Хм... Верно.

— А ты, председатель, по-моему, о многом поразмыслил на досуге, а? — лукаво спросил Халим-бобо. — Что ж, за ум взятыя никогда не поздно. Ох, обидно, дорогой, что ты уезжаешь...

— А может, и не стоит тебе уезжать? — вставил Умурзак-ата. — Ты тут всех знаешь, тебя знают. Ведь какой путь вместе проделали...

Слова стариков приятно щекотали самолюбие Кадырова, но на всякий случай он важно надулся, с достоинством произнес:

— Верно, аксакалы, вы меня знаете. И вам известно, что я человек решительный и упрямый. Если уж что подумал... Хм... Но вы правы — с отъездом, наверно, спешить не следует. Я еще потолкую насчет этого в райкоме партии. А вам спасибо на добром слове.

Когда он ушел, Халим-бобо сказал:

— А председатель наш, гляжу, еще не потерянный человек, как ты полагаешь, Умурзак?

Тот пожал плечами:

— Кто его разберет! Скотина, говорят, пестра снаружи, а люди — изнутри. Но, думаю, мы с ним еще поработаем. Сказать по чести, не чужой ведь он нам.

К огорчению старого садовода, на следующий день Умурзак-ата не пришел его проведать.

Он заявился лишь спустя еще день, к вечеру. Выглядел он свежо, празднично и казался помолодевшим —

то ли оттого, что его распирала радость, то ли потому, что вырядился во все новое: на нем был новый яхтак, подпоясанный двумя бельбогами, до блеска начищенные сапоги, новая синяя бархатная тюбетейка.

Халим-бобо хотел было накинуться на друга с упреками, но его сбил с толку необычный наряд и торжественный вид Умурзака-ата, он упустил время для укоров, а гость, подсев к нему, торопливо заговорил:

— Ты извини, что я к тебе не заглядывал. Мы с дочкой и Алимджаном в районный центр ездили, кое-какие покупки надо было сделать. Молодые-то сразу в универмаг ринулись, а я зашел в детский магазин за игрушками. Часа два, должно быть, там проторчал. С продавцом переругался. Вай, что за лошадой они на полках держат? И где только берут таких уродцев? Ну, скажи на милость, говорю я продавцу, разве нельзя сделать так, чтобы лошадь была похожа на лошадь? Вспомни-ка, говорю, на каких конях воевали Чапаев, Миршарапов, Буденный? Да и нас мчали на басмачей красавцы кони! А вы, говорю, что нам подсовываете? Сказать по чести, на это чучело ребенок и сесть постыдится. Так я разозлился, что и не купил ничего.

— Постой-ка, — с подозрением глянул на него Халим-бобо. — А зачем тебе игрушки понадобились?

— Как зачем? Где свадьба, там и новая семья, а где семья, там дети. Правда, молодые просили меня не торопиться...

Халим-бобо, еще больше забеспокоившись, перебил друга:

— Погоди, погоди. Значит, свадьба уже назначена? Что же ты мне-то ничего не говорил?

— А я и пришел затем, чтобы пригласить тебя на свадебный той, который состоится послезавтра, — чуть ли не официальным тоном произнес Умурзак-ата. — Надеюсь, ради такого события ты поднимешься со своей постели. — И добавил уже иронически: — Или привык бездельничать целыми днями, проводить время в неге да праздности?

— Я на этот той не приду — прибегу! — пообещал Халим-бобо. — Слава аллаху, дождался светлого дня. Уж как твоя дочь и Алимджан тянули с этой свадьбой.

— Сказать по чести, и я уж начал терять терпение. Помнишь, когда еще наш секретарь райкома Айкиз

за Алимджана засватал? А они все откладывали да откладывали свадебное торжество. То жара напала и оба целыми сутками в полях пропадали. То вот ты приболел, а какая без тебя свадьба? Ну, теперь все позади, к тою все готово, сам товарищ Джурабаев сказал, что обязательно на нем будет. Ждем и тебя, почтенный.

— Приду, приду. Не уговаривай.

— Ты прости, я должен тебя покинуть. Столько людей надо еще позвать...

Умурзак-ата, простившись с другом, направился к двери бодрым, молодым шагом.

А Халим-бобо долго лежал с открытыми глазами, думал, вспоминал... Как быстро течет время, словно вода в арыке. Кажется, еще недавно Айкиз была совсем девчонкой, а вот, гляди ж ты, замуж выходит. За достойного джигита, Алимджана, которого он, Халим-бобо, тоже знал зеленым сорванцом... И Лола, хохотушка Лола, уже вступила в пору цветения. И думает, что Халим-бобо не замечает, как она поглядывает на Ивана Борисовича!..

А он, Халим-бобо, уже старик...

Но река времени и полноводна. Вон сколько сделано за весну и лето! Алтынсайцы осваивают целинный массив, продолжают возводить плотину. Скоро они будут убирать первый свой хлопок... А в Алтынсайском ущелье в будущем году засверкает озерная гладь водохранилища, а потом вырастет электростанция.

И на долю Халим-бобо хватит еще дел. Надо заботиться и о старых и о целинных садах колхоза, и закладывать новые, и разбить побольше бахчей и огородов, чтобы родной «Кызыл юлдуз» все уверенней шел в гору. Нет, рано Халим-бобо предаваться грустным мыслям, и болеть недосуг.

Халим-бобо не ощущал старости. Он еще крепок, он еще молод душой! Жизнь кипит вокруг, и ему и его землякам столько еще предстоит трудных и отрадных свершений!..

А это и есть молодость и счастье.

1949—1953, 1965—1969

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Айван* — открытая длинная веранда.
Ака — вежливое или ласковое обращение к старшему мужчине, приставка к имени; буквально: старший брат.
Ата — почтительное обращение к пожилому мужчине, приставка к имени; буквально: отец.
Атаджан — ласковое обращение к пожилому человеку.
Арча — древовидный можжевельник.
Аския — шутка, острота.
Ашички — игра в кости, вроде русских бабок.

- Баракалла* — возглас одобрения.
Бельбог — поясной платок.
Бешик — деревянная колыбель, люлька.
Бобо — дедушка, старик, обычно приставка к собственному имени.
Бор булинг — «живите», «здравствуйте»; употребляется чаще всего как ответ на приветствие «хорманг».

- Гармиль* — горячий ветер из пустыни, суховей.
Гребеничик — тамариск.

- Дастархан* — скатерть или стол с угощением.
Дезканин — крестьянин.
Джида — дикая маслина.
Джугара — кормовой злак.
Дувал — глиняная ограда.

- Зира* — тмин, приправа к плову.

- Ишан* — духовное лицо у мусульман.

- Камча* — плетка.
Карнай — духовой музыкальный инструмент, на нем играют, как и на сурнас, чаще всего на торжествах.
Каса — миска.
Кетмень — сельскохозяйственное орудие, которым вскапывают, рыхлят землю.
Кумган — медный кувшин с узким горлом; чайник.

Курбаши — предводитель басмачей.
Курпача — узкое ватное одеяло для сидения.
Курут — высушенное кислое молоко в шариках.

Лаучи — начальник каравана.

Мастава — рисовый суп с мясом, заправленный кислым молоком.
Мираб — распределитель воды.
Мусаллас — сорт вина.

Насвай — жевательный табак.

Ок-арык — отводной арык для полива хлопкового поля.
Омач — соха с чугунным наконечником.

Палван — богатырь.
Парварда — сорт конфет.

Раис — председатель.

Сай — горная речка, ручей.
Сандак — низенький столик, покрытый одеялами и установленный над углублением в земле, куда кладут горячие угли.
Самса — треугольный пирожок, обычно с мясом.
Сель — грязевой поток с гор.
Сипаи — треножки из бревен, скрепленные проволокой и служащие для устройства плотин и запруд.
Сури — широкая деревянная кровать, деревянный настил для сидения.
Сурнай — духовой музыкальный инструмент, род флейты.
Суюнчи — подарок за радостную весть.
Суна — прямоугольное глиняное возвышение, на котором спят, проводят часы отдыха, обедают.

Табиб — лекарь.
Тандыр — глиняная печь для приготовления лепешек.
Тельпак — головной убор, защищающий от солнца.
Товба — междометие, выражающее удивление.

Усьма — краска для бровей.

Хантажта — столик на низких ножках.
Хасип — колбаски из бараньих кишок, начиненных мясным фаршем и рисом.
Хауз — искусственный водоем.
Хашар — коллективная работа, взаимопомощь соседей.
Хирман — место, где складывают убранный урожай.
Хорманз, гормангляр — традиционное приветствие, обращенное к работающим: «Не уставать вам!»
Худжра — маленькая комната, келья.
Хурджуи — переметная сума.

Шурпа — суп из баранины.

Яхтак — легкий халат,

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>В. Озеров. Живые токи народной жизни</i>	5
Победители. Роман. Авторизованный перевод <i>Ю. Карасева и А. Удалова</i>	23
<i>Пояснительный словарь</i>	350

РАШИДОВ ШАРАФ РАШИДОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 5-ти ТОМАХ

Том 1

Редактор

С. Князева

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Л. Ковяцкая

Корректор

М. Пастер

ИБ № 1285

Сдано в набор 15.09.78. Подписано в печать 25.01.79. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 18,48+1 вкл.=18,534 усл. печ. л. 19,467+1 вкл.=19,51 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ 3269. Цена 1 р. 50 к. Издательство «Художественная литература». Москва 107882. Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Воровая, 28